

Алексей
Решетов.
**Материалы
к биографии**

Алексей Решетов
Материалы к биографии

Екатеринбург
Издательский дом «Союз писателей»
2008

ББК Ш 5(2-6)6-335
Р471

*Составители выражают признательность
Министерству культуры Свердловской области
за финансовую поддержку издания*

С о с т а в и т е л и :

Т. П. Катаева, Ю. В. Казарин, Е. В. Шаронова

П о д г о т о в к а ф о т о м а т е р и а л о в

В. В. Осипов

Алексей Решетов: Материалы к биографии. — Екатеринбург:
Р471 ИД «Союз писателей», 2008. — 322 с.
ISBN 978-5-91273-010-8

Эта книга посвящена памяти выдающегося русского поэта Алексея Решетова и включает в себя материалы к его биографии: хронику трудов и дней поэта; документы и фотографии, находящиеся в архиве Т. П. Катаевой и подготовленные ею к печати; воспоминания родных и друзей; а также тексты, характеризующие творчество поэта. Кроме того, в книгу вошли рецензии, написанные в разные годы А. Л. Решетовым, и его стихи, без которых сегодня невозможно представить более или менее полную картину поэтосферы отечественной литературы и культуры.

ББК Ш 5(2-6)6-335

ISBN 978-5-91273-010-8

© Т. П. Катаева, Ю. В. Казарин, Е. В. Шаронова, составление, 2008
© Издательский дом «Союз писателей», 2008

Предисловие

Имя и стихи Алексея Решетова хорошо известны всем, кто живет в азиатской части России, от Уральских гор до Дальневосточного побережья Тихого океана. Знают поэзию Решетова и в Москве, и на Русском Севере. Правда, у литературной Москвы память короткая, особенно в эти первые годы третьего тысячелетия: кто не в тусовке, тот — за порогом столичного восприятия и оценки своих опусов. Алексей Решетов — поэт российской глубинки, русской глубины мысли, чувства и воображения, поэт — выразитель русского национального отношения к себе, к людям, к миру, ко всему живому и мертвому, к боли, к счастью, к трагедии, к настоящему, прошлому и будущему, к Богу и к душе. А Решетов — поэт национальный, т. е. не рациональный по-европейски, а стихийный по-русски: его стихи — это нравственно-эстетическая модель русского зрения и говорения, русского менталитета, в основе которого всегда болит и дышит горестное счастье бытия.

«Серебряный голос России», — так определяет поэтическое своеобразие А. Решетова другой, не менее крупный, светлый и трагический поэт, живущий на Урале, — Майя Никулина.

А. Решетов — не певец: он не щебечет и не играет голосовыми связками, звуком, смыслом, интонацией. Решетов — словесник. Поэт-словесник.

Герману Иванову

Зачем, поэт, словарь толковый
Такой большой тебе иметь?
Нужны всего четыре слова —
Земля и небо, жизнь и смерть.

Основа его поэтического мышления и говорения — слово. И поэтому для него такие слова, как *Мать, Отец, Россия, Бог, Небо, Жизнь, Любовь* и *Смерть*, — это не поэтические междометия, насыщенные риторикой и дидактикой: для Решетова эти слова — суть выразители громадных, глобальных эмоций жизни, смерти и любви. Стихи Решетова больны счастьем существования и исчезновения, они светлы и пронзительны горькой радостью жизни. Это рябиновые стихи. Даже поэтический язык Решетова визуален и вполне представим — он весь как куст лесной, дикой рябины: отчетливая строфика и синтаксис ствола, веток; непритязательная, но чистая, если не чистейшая, фонетика и рифмы парных резных листочков и, наконец, редкие, но нестерпимо яркие гроздья слов, в которых кровь и смысл — едины.

Настали дни суровые,
И спрятаться спешат
Под шали под пуховые
Сережки на ушах.

В лесу озябла клюквинка,
Меж кочек лед блестит,
И пар идет из клювика,
Когда снегирь свистит.

Русское слово — как и слово любого другого языка — перенасыщено тайным знанием, историко-культурной и национально-этической семантикой. Решетов как истинный русский поэт не мешает слову освободить потрясающую красоту и смысловую энергию в стихе, в ритме, в укрупненном контексте, когда текст, история, судьба, жизнь, трагедия и надежда-любовь соединяются в живой и живительный сгусток прекрасного, смертного, бессмертного, сильного, слабого, а главное — мудрого. Алексей Леонидович Решетов — поэт-мудрец: мудрец-ребенок, мудрец-мужик, мудрец-старец, мудрец-народ. Он чувствует и выражает природу, мир и саму душу жизни — как животное, как птица, как воздух, как огонь и вода. Вот почему его стихи — это стихи-спасители данного места, данного времени, в которых обитает душа. Стихи А. Решетова — непереводимы на другой язык, поэтому и международное признание ему не грозило. Естественно, как, например, И. Бродский, А. Решетов мог и смог бы сочинять стихи переводимые, скажем, на английский или какой-нибудь другой индоевропейский язык. Но не стал. Потому что человек Решетов не позволил бы поэту Решетову сделаться стихописателем. Человек Решетов вообще помогал поэту Решетову — и своей горькой (а порою и страшной) судьбой, и своей феноменальной скромностью и добротой, и своим добровольным отречением от обывательского, теплого, комфортного и бездумного обихода и уклада жизни большинства нечитающей части населения планеты. Поэт Решетов помог человеку Решетову выжить. Уцелеть после долгой и сплошной череды трагедий. Трагедия поэта — множественна: гибель репрессированного отца, незаконное репрессирование матери, сталинские лагеря, ссылка, трагическая кончина любимого брата Бетала, клеймо сына врага народа, тяжелейший труд на шахте, рвущая душу разобщенность близких людей, любовные драмы и катастрофы, повторяющиеся и учащающиеся разлуки, предчувствие своей, персональной, главной разлуки... Всё это — Решетов. Решетов — поэт и человек.

Заколочены дачи.
Облетели леса.
Дорогая, не плачьте,
Не калечьте глаза.
Все на свете не вечно —
И любовь, и весна.
Только смерть бесконечна,
Тем она и страшна.

А. Решетов — поэт монографический: всю жизнь он будто бы писал одно стихотворение, да и вся его поэзия, все написанное им — это одно бесконечное стихотворение. Стихотворение-взгляд, стихотворение-мысль, стихотворение-

образ, стихотворение-боль, стихотворение-смерть, стихотворение-любовь, стихотворение-душа.

Убитым хочется дышать.
Я был убит однажды горем
И не забыл, как спазмы в горле
Дыханью начали мешать.
Убитым хочется дышать.
Лежат бойцы в земле глубоко,
И тяжело им ощущать
Утрату выдоха и вдоха.
Глоточек воздуха бы им
На все их роты, все их части,
Они бы плакали над ним,
Они бы умерли от счастья!

Решетов обладал абсолютным слухом и зрением, а еще совершенным чувством оптимального объема стихотворения. Тематически его стихи монолитны («Земля и небо, жизнь и смерть»), поэтому обозримое литературное наследие А. Л. Решетова не являет дифференцированных так называемых периодов творчества. Решетов вообще представляется мне птицей, вдруг заговорившей по-русски и в рифму. Как Пушкин и Мандельштам, Решетов создает свою поэтическую судьбу, не летопись ее, а плоть и кровь поэзии, языка и культуры. У него каждое стихотворение — это духовный, нравственно-эстетический поступок поэта, гражданина, мужика. Решетов был равнодушен к поиску и оценке своего места в истории литературы. Он — интуитивно — находит и определяет свое место в общенациональной трагедии («Я сын врага народа») и в литературе («Тень стихотворца / Тенью кружки / Пьет участь горькую свою»).

После смерти поэта вышел в свет ряд изданий, посвященных памяти А. Л. Решетова, издано собрание сочинений поэта в трех томах.

Эта книга появилась благодаря Т. П. Катаевой, вдове поэта, и включает в себя материалы к биографии А. Л. Решетова: документы, фотографии, воспоминания родных и друзей, а также тексты, характеризующие творчество поэта. Кроме того, в книгу вошли рецензии, написанные А. Л. Решетовым, и его стихи, без которых сегодня невозможно представить более или менее полную картину поэтосферы отечественной литературы и культуры.

Ю. Казарин

I

**Хроника жизни и творчества
Алексея Решетова**

**Тамара Катаева.
Мы расстаемся навсегда...**

Родился 3 апреля 1937 г. в Хабаровске в семье журналистов Леонида Сергеевича Решетова и Нины Вадимовны Павчинской.

Хроника жизни и творчества Алексея Решетова

1937 г.



Л. С. Решетов
(отец). 1936



Н. В. Павчинская
(мать). 1934

В двадцатом, беспощадном веке,
Кто думал, разве только Бог,
О беззащитном человеке.
Но что один Он сделать мог?

9 октября 1937 г. арест Л. С. Решетова за участие в антисоветской правотроцкистской организации (якобы существовавшей в редакции газеты «Тихоокеанская звезда»).

*Когда отца в тридцать седьмом
Оклеветали и забрали,
Все наши книги под окном
Свалили, место подобрали.*

*И рыжий дворник подпитой,
При всех арестах понятой,
Сонеты Данте и Петрарки
Рвал на вонючие сигарки.*

*Осколок солнца догорал,
Из труб печных летела сажка,
И снова Пушкин умирал.
И Натали шептала: — Саша...*

1937 г.

В бережно хранимой Алексеем Леонидовичем небольшой картонной коробке, кроме книжечек его отца – Леонида Сергеевича, дяди – Вадима Вадимовича Павчинского, мамы – Нины Вадимовны, их публикаций и публикаций о них, есть и сохранившиеся чудом старые письма и документы.*

Ответ ГЛАВНОЙ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ СССР от 29 августа 1940 г. на просьбу Татьяны Степановны Решетовой, матери Леонида Сергеевича Решетова, проживавшей в Москве, сообщить о судьбе осужденного сына.

**ПРОКУРАТУРА
Союза Советских
Социалистических Республик**

**ГЛАВНАЯ
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА**

гр. Решетовой Т. С.
Москва, Малые кочки,
дом 7, кв. 27.

Москва, Пушкинская ул.,
15-а
Телефон № 4-56-18

По Вашей жалобе сообщаю, что для пересмотра дела Вашего сына оснований нет, а потому жалоба оставлена без удовлетворения.

и. о. ПРОКУРОРА ГВП Гравина.

* Здесь и далее комментарии к перепечатанным и сохранным ею архивным документам – Т. П. Катаевой.

13 апреля 1938 г. Закрытое заседание выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР приговаривает Решетова Л. С. к высшей мере наказания.

1938 г.

**МИНИСТЕРСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**

Гор. Москва

**СПРАВКА № 1460
О СНЯТИИ СУДИМОСТИ**

ПАВЧИНСКАЯ-РЕШЕТОВА

Нина Владимировна*

1914 года рождения, уроженка города Владивостока, была осуждена 31-го июля 1938 года по ст. как член семьи изменника Родине к заключению в ИТЛ сроком на ПЯТЬ лет.

По постановлению Особого совещания при министре Государственной безопасности Союза ССР от «16» февраля 1949 г. указанная судимость, вместе со всеми связанными с ней ограничениями, с ПАВЧИНСКОЙ-РЕШЕТОВОЙ Н. В. снята.

Зам. Начальника Отдела «А»

МГБ Союза ССР /подпись/

Начальник отделения /подпись/

26 февраля 1949 г.

** Неправильное обращение. Ошибки в документах, с которыми долго пришлось разбираться. Правильные фамилия и отчество – Нина Владимовна Павчинская, а не Нина Владимировна Павчинская-Решетова. Во всех последующих документах ошибочные отчество и фамилия повторяются вплоть до 1956 г. Сохранилось несколько заявлений о восстановлении верных данных для получения паспорта (первое из них датировано 2 февраля 1955 г.). Сначала было письменное обращение Нины Владимовны к начальнику адресного бюро УМ МВД Хабаровского края Хомяковой, которая сообщила о необходимости обратиться с этим вопросом по месту жительства с подробным заявлением.*

Десятки лет прошел я вспять.
И вот увидел я опять
И дом со сломанным крыльцом,
И мать с заплаканным лицом.
Но не зашел я в отчий дом,
А лишь сказал: — Вернусь потом.
Я обязательно вернусь,
Забудем боль, оставим грусть.
Я дни и ночи без конца
Ищу погибшего отца
На Кольме, и в Соловках,
И на земле, и в облаках.

Но Млечный Путь,
но Чуйский тракт
Не говорят, где отчий прах.
— Отец, отец! — кричу ему,
Но Вега прячется во тьму.
Но исчезает без следа
Во мгле Полярная звезда.
И вдруг из вечной мерзлоты
Чуть слышный шепот:
— Это ты?
Зачем твой крик, зачем твой стон? —
Ты не для слабости рожден.
Прошло полвека, не полдня,
Пора отвыкнуть от меня.

1938 г.

**НАЧАЛЬНИКУ ПАСПОРТНОГО ОТДЕЛА
БЕРЕЗНИКОВСКОГО
ГОР. ОТДЕЛА МВД**

От Павчинской-Решетовой
Нины Владимировны

ЗАЯВЛЕНИЕ

В июле 1954 г. мною был сдан в Ваш отдел пятигодичный паспорт для обмена, в связи с окончанием его срока.

В виду того, что в моем паспорте стояла двойная фамилия, а именно: Павчинская-Решетова, мне было выдано временное удостоверение на полгода для того, чтобы впоследствии установить мне одну фамилию для постоянного паспорта.

Привожу объяснение моей второй фамилии.

Всю жизнь я носила свою девичью фамилию — Павчинская. Решетовым был мой муж, с которым я не была зарегистрирована.

10 октября 1937 г. мой муж был арестован по 58 ст. и в 1938 г. я была взята за него, как член семьи — по ст. ЧСИР.

Так как собственной статьи у меня не было и я числилась только как жена по его

делу, то мне сразу же при аресте в г. Хабаровске присвоили вторую фамилию и я стала Павчинской-Решетовой.

Как мне тогда объяснили — это было необходимо для наведения справок при ведении дела.

17 июля 1943 г., при освобождении в пос. Боровск, Соликамского района, мне была выдана справка об освобождении на эти же две фамилии и так она и осталась в паспорте (справка об освобождении была впоследствии сдана мной в Молотовское обл. МВД по его запросу, для снятия судимости).

Кроме того, не знаю по чьей вине — то ли Хабаровского НКВД при заполнении моей анкеты, то ли по вине работников лагеря пос. Боровск — в справке было указано отчество ВЛАДИМИРОВНА. Мое же фактическое отчество ВАДИМОВНА (прилагаю копию свидетельства о рождении).

В 1949 г. судимость с меня была снята и я получила чистый паспорт. Однако двойная фамилия и искаженное отчество остались вновь.

Если по положению человеку нельзя носить двойную фамилию — прошу Вас навести соответствующие справки и выдать

*Не так уж давно мы узнали,
Живя по кремлевским часам,
Что дьяволу продал нас Сталин
И дьяволу продался сам.
А правды глубокой криницу,
Работая ночью и днем,
Нам выкопал наш Солженицын
Своим арестантским кайлом.*

13 апреля 1938 г. в Хабаровске расстрелян
Л. С. Решетов, отец поэта.

1938 г.

мне паспорт (бессрочный) на мою действительную фамилию – Павчинская, которую я никогда не меняла и снять с меня навязанную вторую фамилию – моего мужа Решетова, а также исправить мое отчество с ВЛАДИМИРОВНЫ на ВАДИМОВНУ.

Доказательством того, что я носила свою фамилию, могут служить свидетельства о рождении моих сыновей, в которых было ясно сказано: мать – Павчинская, отец – Решетов. (Свидетельство младшего сына было выдано за 5 месяцев до ареста мужа.)

Кроме того, я считаю, что, если бы я даже и была зарегистрирована с моим мужем, то 18 лет его отсутствия, без единого сведения о нём, дало бы мне право снять его фамилию.

На основании изложенного убедительно прошу Вас разобрать мое заявление и выдать мне бессрочный паспорт, т. к. я уже 2-й год получаю только временные удостоверения.

Приложение:

1. Копия моего свидетельства о рождении.
2. Копия о рождении моего сына – Решетова Бетала.
3. То же, сына Решетова Алексея.
4. Копия свидетельства о снятии судимости.

/Павчинская/
18 ноября 1955 г.

В связи с тем, что нотариус отказался заверить копию свидетельства о снятии судимости — к настоящему заявлению приложен подлинник удостоверения о снятии судимости.

Принял начальник паспортного
стола Березниковского ГО МВД
/Иванов/
19 июля 1956 г.

ПРОКУРАТУРА СОЮЗА ССР

**ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ
ПРОКУРАТУРА**

Москва, центр, ул. Кирова, 41
16 июня 1956 г. № 9р27827 40

Гр. Павчинской-Решетовой
Нине Владимировне
Адрес: г. Березники, Молотовской обл.,
пр. Сталина, д. 9, № 8

Ваша жалоба от 22 мая 1956 г., адресованная Генеральному прокурору СССР по делу Вашему и делу Решетова Л. С., поступила в Главную военную прокуратуру и проверяется.

О результатах Вам будет сообщено.

*Мне снится сон: отец приходит,
В снегу колымском с плеч до ног,
И говорит:
— Я — враг народа,
Хочу побыть с тобой, сынок.
— Отец, ужели повторится
На ком-нибудь судьба моя? —
И мать мне в дочери годится,
И ты годишься в сыновья.*

1988

1938 г.

*Военный прокурор
Отдела Главной военной прокуратуры
полковник юстиции /нрзб./*

Определением Военной комиссии Верховного суда СССР от 26 мая 1956 г. Решетов Леонид Сергеевич полностью реабилитирован.

Подпись полковника юстиции
(неразборчиво)

**КОМИТЕТУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
СССР**

тов. СЕРОВУ

от Павчинской-Решетовой
Нины Владимировны,
проживающей в г. Березники,
Молотовской области,
пр. Сталина, дом № 8, кв. 4

ЗАЯВЛЕНИЕ

10 октября 1937 г. мой муж РЕШЕТОВ Леонид Сергеевич был арестован в г. Хабаровске /ДВК/ Хабаровским НКВД и заочно осужден Особым совещанием г. Москвы по ст. «Изменник Родины», срок на 10 лет.

Заявлением от 22 мая 1956 г. я обращалась к Вам с просьбой сообщить мне его местонахождение или же (если его нет в

*Отец мой стал полярною землей,
Одной из многих, золотой крупинкой.
А я хотел бы, в мир уйдя иной,
Вернуться к вам зеленою осинкой.
Пусть в гости к ней приходят грибники,
И целый день звенит в листве пичуга.
А эти вот надежные суки —
Для тех, кто предал правду или друга.*

живых) выслать мне справку о его смерти. Ответа от Вас я до сих пор не получила.

Одновременно я писала Генеральному прокурору СССР о пересмотре его дела.

В настоящее время я получила справку из Главной военной прокуратуры за № Ур-27827-40 от 16 июня 1956 г. о том, что определением Военной коллегии Верховного суда СССР от 26 мая 1956 г. мой муж — Решетов Леонид Сергеевич полностью реабилитирован. Однако из этой справки не видно — жив он или же реабилитирован посмертно.

На основании этого еще раз убедительно прошу Вас сообщить мне его местонахождение, чтобы я имела возможность его разыскать.

В случае если его нет в живых — прошу выслать мне справку о его смерти, чтобы я могла хлопотать о посмертном восстановлении его в партии и пр. правах.

Ответ прошу прислать по адресу:
г. Березники, Молотовской обл.,
пр. Сталина, дом № 8, кв. 4
Павчинской-Решетовой Н. В.

/подпись/
25 июня 1956 г.

Ниже — заверенная копия справки о прекращении дела в отношении Решетова Л. С.

17 июля 1938 г. Арест матери А. Решетова — Н. В. Павчинской-Решетовой в г. Хабаровске Хабаровским НКВД в связи с арестом ее мужа Решетова Л. С.

*Пропади она пропадом, жизнь,
Вот такая, какая досталась.
Лучше сразу в могилу ложись,
Чтоб твоя колыбель не качалась.*

*О, не верьте мне, люди, я лгу —
Я устал от земного вращения,
Но и самому злему врагу
Я желаю любви и прощенья.*

1938 г.

Военная коллегия
Верховного суда
Союза ССР

30 июня 1956 г.
№ ; Н-05388/56

Москва, ул. Воровского, д. 13.

Форма № 30

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР
тов. РУДЕНКО

от ПАВЧИНСКОЙ-РЕШЕТОВОЙ
Нины Владимировны, проживающей
в г. Березниках, Молотовской области,
пр. Сталина, дом 8, кв. 4

ЗАЯВЛЕНИЕ

СПРАВКА

Дело по обвинению РЕШЕТОВА Леонида Сергеевича пересмотрено Военной коллегией Верховного суда СССР 26 мая 1956 года.

Приговор Военной коллегии от 13 апреля 1938 года в отношении РЕШЕТОВА Л. С. по вновь открывшимся обстоятельствам отменен и дело за отсутствием состава преступления прекращено.

Председательствующий судебного состава
Военной коллегии Верховного суда СССР

полковник юстиции /П. Лихачев/

Я, ПАВЧИНСКАЯ-РЕШЕТОВА Нина Владимировна, 17 июля 1938 г. была арестована в г. Хабаровске (ДВК) Хабаровским НКВД — в связи с арестом моего мужа РЕШЕТОВА Леонида Сергеевича.

Никакого следствия и очного суда у меня не было.

Осуждена я была Особым совещанием г. Москвы от 31 июля 1938 г. сроком на 5 лет ИТЛ, по ст. ЧСИР.

О том, что я осуждена и о своем сроке, я узнала только по прибытии в лагерь.

На мои заявления о пересмотре дела Московское МГБ ответило, что мое дело пересмотру не подлежит из-за отсутствия на меня материала. Таким образом, я полностью отбыла в лагере все 5 лет и была освобождена 17 июля 1943 г.

В настоящее время я получила справку из Главной военной прокуратуры от 16 июня 1956 г. за № Ур-27827-40 о том,

31 июля 1938 г. Особым совещанием г. Москвы Н. В. Павчинская-Решетова осуждена сроком на 5 лет ИТЛ по статье ЧСИР (члены семьи изменника родины).



Н. В. Павчинская.
Березники.
Конец 1960-х

1938 г.

что определением Военной коллегии Верховного суда СССР от 26 мая 1956 года мой муж – РЕШЕТОВ Леонид Сергеевич полностью реабилитирован.

В связи с этим убедительно прошу Вас рассмотреть вопрос о моей реабилитации, чтобы я могла хоть под старость избавиться от этого позорного пятна и полностью восстановиться в своих гражданских правах.

Кроме того, из полученной мной справки о муже неизвестно, жив он или же реабилитирован посмертно – поэтому еще раз прошу Вас сообщить мне его местонахождение, чтобы я имела возможность его разыскать.

В случае если его нет в живых – прошу выслать мне справку о его смерти, чтобы я могла хлопотать о посмертном восстановлении его в партии и пр. правах.

Ответ прошу прислать по адресу:
г. Березники, Молотовской обл., пр. Сталина, дом № 8, кв. 4

Павчинской-Решетовой Н. В.

*/Павчинская/
25 июня 1956 г.*

ПРОКУРАТУРА
Союза Советских
Социалистических Республик

ГЛАВНАЯ
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА
«25» августа 1956 г.

Москва, центр, ул. Кирова, 41

гр. ПАВЧИНСКОЙ-РЕШЕТОВОЙ
Нине Владимировне
Молотовская обл., г. Березники,
проспект Сталина, дом 8, кв. 4.

Сообщаю, что Ваше дело «24» августа 1956 года направлено в Военный трибунал Дальневосточного военного округа на предмет отмены постановления Особого совещания при НКВД СССР от 31 июля 1938 года в отношении Вас.

Ваше заявление с просьбой сообщить сведения о судьбе РЕШЕТОВА Л. С. 21 июня с. г. передано в Военную коллегию Верховного суда СССР, которая должна выслать Вам ответ.

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР ОТДЕЛА ГВП
ПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ —
А. ВИТИЕВСКИЙ

/Витиевский/

*Счастливая мама просила сынка:
— Взгляни, как по небу плывут облака.
Вот это — твой дедушка, старый, седой,
С его шевелюрой, с его бородой.
Вот это — твой в белой рубашке отец
Куда-то направился, видишь, малец?
А это вот — бедная мама твоя,
С лицом утомленным, блее белья...
Закрой свои глазки, в себя загляни —
Там добрые сказки и страшные сны.*

17 июля 1943 г. Н. В. Павчинская-Решетова, полностью отбыв срок, освобождена без права проживания в крупных городах СССР и без права выезда из г. Боровска (место ссылки — недалеко от Соликам-ска).



Н. В. Павчинская.
Березники.
Начало 1970-х

1943 г.

**ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ВОЕННОГО ОКРУГА**

«19» сентября 1956 г.
№ 30/6-2100 с.п.

ПАВЧИНСКОЙ-РЕШЕТОВОЙ
Нине Владимировне
Молотовская обл., г. Березники,
проспект Сталина, № 3, кв. 4

Сообщаем, что определением Военного трибунала ДВО от 14 сентября 1956 г. за № 4/1052 Вы реабилитированы. Справку об этом получите из Военного трибунала.

Пом. военного прокурора ДВО
майор юстиции — /нрзб./

**ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ВОЕННОГО ОКРУГА**

15 сентября 1956 г.
№ 4/1075/470
г. Хабаровск

СПРАВКА

Дело по обвинению гр. Павчинской-Решетовой Нины Владимировны пересмотрено Военным трибуналом Дальневосточного военного округа 14 сентября 1956 г. Постановление от 31 июля 1938 г. и постановление от 16 февраля 1949 г. в отношении Павчинской-Решетовой отменено и дело производством прекращено.

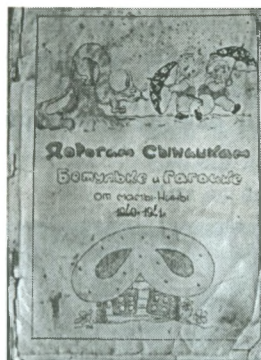
Председатель Военного трибунала
Дальневосточного военного округа
полковник юстиции — Красин

/Красин/

Исп. Барыбин



О. А. Павчинская с внуками. Хабаровск.
Около 1940



Книга со стихами и рисунками Н. В. Павчинской, сделанная ею в ссылке для Алексея и Бетала

*Нас с детских лет благословляли
На жизнь затравленных зверей:
Отцов в подвалах расстреляли,
Пересажали матерей.*

1943 г.

**ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ВОЕННОГО ОКРУГА**

«12» октября 1956 г.
№ 6/655
город Хабаровск

ПАВЧИНСКОЙ-РЕШЕТОВОЙ
Нине Владимировне
Молотовская обл., г. Березники,
проспект Сталина № 3, кв. 4

На Ваше заявление от 3 октября 1956 года сообщаю, что справка о реабилитации Вам выслана 15 сентября 1956 года за № 40/1075-/470 через гор. отдел милиции г. Березники, Молотовской области, куда Вам и надлежит обращаться.

**ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ВОЕННОГО ОКРУГА**
ПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ

/ЯРИН/

**ХАБАРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РОССТАТИЗДАТА**

16 мая 1957 г.

СПРАВКА

Выдана настоящая тов. Павчинской Н. В. в том, что она с марта 1938 г. по 17 июля 1938 г. работала в бывшем Хабаровском отделении Бланкоиздательства (ныне Госстатиздат) в качестве технического редактора, уволена в связи с арестом, что и удостоверяется.

Управляющий отделением Госстатиздатом —
Потрепалов / Потрепалов /

Осень 1945 г. Переезд Алексея и Бетала Решетовых с бабушкой Ольгой Александровной Павчинской из Хабаровска в Боровск Соликамского района к матери Нине Вадимовне.



Н. В. Павчинская с сыновьями
Беталом и Алексеем Решетовыми. Березники.
Около 1946

*Во Владивостоке вы бывали? Там,
Около помойки, умер Мандельштам.
И в далекой дали, где не правил Ус,
Слезы заблестали на глазах у Муз.*

1945 г.

Ксерокопия последнего документа о судьбе Л. С. Решетова, присланная Решетовым в Березники женой Вадима Вадимовича Павчинского Анной Романовной.

**Комитет государственной
безопасности**

**УПРАВЛЕНИЕ
по Хабаровскому краю**

г. Хабаровск
19.02-90 № 232/1-312

Уважаемая Анна Романовна!

Нам удалось разыскать архивно-следственное дело Вашего родственника Решетова Леонида Сергеевича, 15 февраля 1910 г. рождения, уроженца г. Москвы, ра-

ботавшего очеркистом в газете «ТОЗ» и проживавшего в г. Хабаровске по ул. Шевченко, 26, кв. 1.

Из материалов дела следует, что Решетов Л. С. был арестован 9 октября 1937 года в г. Хабаровске за участие в антисоветской правотроцкистской организации, якобы существовавшей в редакции газеты «ТОЗ» и ставившей своей целью свержение Советской власти.

Все обвинения против него носили неконкретный характер и не были подтверждены в процессе следствия никакими фактическими данными. Сам Решетов до самого последнего момента категорически отрицал нелепые обвинения следователей в причастности к антисоветской и вредительской контрреволюционной деятельности.

С материалами следственного дела в отношении Решетова работали три следо-

1947 г. Переезд из Боровска в Березники.

*Вот пустой дом.
Кто-то жил в нем.
Вот глухой сад,
Словно вход в ад.
Там на дне гнезд
Соль от слез звезд.
Вот кривой крест —
Сколь таких мест!*



Н. В. Павчинская с сыном Алешей Решетовым. Березники. 1946–1947

1947 г.

вателя УНКВД по ДВК. В 1940 году двое из них были осуждены и расстреляны за фальсификацию уголовных дел и применение мер физического воздействия к подследственным, один уволен из органов НКВД.

Несмотря на то, что следователями не были получены материалы и доказательства, компрометирующие Решетова Л. С., 13 апреля 1938 года он был приговорен на закрытом заседании выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР к высшей мере наказания. Приговор был приведен в исполнение в г. Хабаровске в этот же день, т. е. 13 апреля 1938 года.

Нам удалось установить, что расстрелянных в этот период в Хабаровске хоронили на городском кладбище в братских могилах. К сожалению, выяснить, в какой могиле погребен Решетов Л. С., не представляется возможным, так как никаких

документов по существующему в те годы порядку не составлялось. Предположительно он был захоронен в одном из секторов кладбища №№ 3, 4, 5.

Смерть Решетова Л. С. зарегистрирована нами в ЗАГСе Центрального района г. Хабаровска, откуда Вам будет направлено свидетельство о смерти.

Дополнительно сообщаем Вам, что в сентябре 1955 года архивно-следственное дело на Решетова Л. С., в связи с заявлением его матери Решетовой Т. С., адресованное в Совет министров СССР, было направлено на дополнительное расследование.

В процессе следствия, проведенного по Хабаровскому краю, необоснованность обвинений, предъявленных Леониду Сергеевичу, нашла полное подтверждение. На основании вновь полученных материалов, а также по заключению Главного прокуро-

1952 г. Окончание А. Решетовым школы-семилетки и поступление в Березниковский горно-химический техникум. Появление первых стихотворений и рассказов.

С середины 50-х гг. Работает внештатным корреспондентом (очеркистом) газеты «Березниковский рабочий», а также посещает литературное объединение в г. Березняки.

1954 г. В газете «Молодая гвардия» (Пермь) публикация рассказа «Штанга».

1955 г. В газете «Березниковский рабочий» первые публикации стихов.

26 мая 1956 г. Военная коллегия Верховного суда СССР отменяет приговор от 13 апреля 1938 г. в отношении Решетова Л. С. и прекращает дело на основании п. 5 ст. 4 УПК РСФСР.

*Ни черных «марусь» у подъездов,
Ни ихних дружков «воронков».
Не ищут «убойного места»
На эзках винтовки стрелков.
Исчезли дозорные вышки,
Забор, окружавший страну.
И даже лихие мальчишки
Друг друга не держат в плену.
Живите себе беспечно,
Взирайте, как жизнь хороша.
Но, как соловецкая чайка,
По-прежнему плачет душа.*

1952–1956 гг.

ра Военная коллегия Верховного суда СССР определила: (№ 4Н – 05388/56 от 26 мая 1956 г.) приговор от 13 апреля 1938 года в отношении Решетова Леонида Сергеевича отменить, дело о нем на основании п. 5 ст. 4 УПК РСФСР прекратить.

Таким образом, честное имя Леонида Сергеевича восстановлено, хотя и не может компенсировать трагической и ничем не оправданной его гибели. Примите наши искренние соболезнования и сочувствие.

Начальник подразделения УКГБ
СССР по Хабаровскому краю

/ Бирюков Г. К./

1956 г. Публикация рассказа «Мостик» в пермской газете «Молодая гвардия».

Осень 1956 г. Окончание горно-химического техникума и начало работы на шахте (Калийный комбинат).

1958 г. Публикация стихотворений в альманахе «Прикамье».

1959 г. Публикация стихотворений в альманахе «Прикамье».

1956–1959 гг.



Нина Вадимовна, баба Оля,
Алексей, Бетал. Середина 50-х

«Земля в заботе постоянно...»; «На траве золотистые блики...»; «Блокнот полистал, пролетел над костром...» // Прикамье: Альманах (Пермь). 1958. № 24.

Звездопад; Огни; «Хоть бы час привольной неги...» // Прикамье: Альманах (Пермь). 1959. № 26.

15 февраля 1960 г. Единственный брат
Бетал кончает жизнь самоубийством.

Конец 1950-х–1960 гг.



Бетал. Москва.
Конец 1950-х

Мой брат

*Мой брат,
Твой адрес — кладбище, бурьян,
Земля сырая, мир потусторонний.
Когда тебе из наших дальних стран
Снесут письмо усталые вороны?
Когда расскажут липы на ветру,
Что ни одна звезда не почернела,
И теплый хлеб нас будит поутру,
И нет у жизни края и предела?
Мой милый брат,
Ты — дома, я в гостях,
Мне здесь, в гостях, то весело, то грустно.
Когда же я тебе о новостях
Поведаю не письменно, а устно?*



Бетал (сидит слева) среди студентов.
Москва. Около 1958

*Ночь. Пятнадцатое февраля.
Вьюги пьяные вензеля.
Перемерзшие тополя.
Вой соседского кобеля.*

*Мать вздыхает, постель стеля:
— Как там братец твой без жилья?
Как без теплого он белья?
Нищих выращу — знала ль я?
Там, в столице, любая тля
Хочет кутаться в соболя.
Что им проку от бобыля
Без пристанища, без рубля?
Нет у Сталина у руля,
А убавилось ли жулья?
В сладкогласной игре Кремля
Мы — последняя нота «ля»...
Снилось давеча: издала
Вижу будто бы журавля.
У барачков из горбыля.
Жду его, а в руке — земля.
Наша, лагерная земля,
Я-то думала — конопля...*

*— Ладно, мама, кончай «ля-ля»,
Почитай своего Золя.
Завтра мне на работу, бя —
Удобрения ждут поля.
Буду в шахте, шуры сверля,
В них заганивать капсуля.
И от взрыва бежать, моля:
Пусть придавит, но опосля.*

*...Я сижу у огня, дремля,
И ко мне не придет мысль,
Что не балуясь, не шая,
Брат промолвит: финита ля —
И — на шею его — петля.
Ночь. Пятнадцатое февраля.*

18 февраля 1960 г. Рождение Ольги, дочери Бетала, племянницы поэта.

1960 г. Выход в свет первой поэтической книги «Нежность» (Пермь).

1960 г.



Ольга Антипова (Решетова), племянница А. Решетова, дочь Бетала (стоит слева); Фаина Александровна Катаева, мать Т. Катаевой, теща А. Решетова (сидит в центре); стоят справа: Т. Катаева и ее племянница Валерия. Начало 90-х



Пермь: Кн. изд-во. 54 с.: ил.
Тираж 3 тыс. экз.

Начало 1960-х гг. Начало дружбы с поэтом Виктором Мартыновичем Болотовым и его женой Верой Нестеровой.

1961 г. Публикация стихотворения «Стеклышки» в сборнике стихов пермских поэтов «Одно стихотворение»; первая публикация стихотворений в журнале «Урал» (Свердловск-Екатеринбург).

1960-е гг.



Вера Болотова
(Нестерова).
1970-е



Виктор Болотов.
1970-е

1963 г. Выход в свет отдельным изданием повести о военном детстве «Зернышки спелых яблок» (второе издание — 1968 г.).

1964 г. Выход в свет книги стихотворений «Белый лист» (второе издание — 1968 г.).

1960-е гг.



Пермь: Кн. изд-во. Ил. В. Петрова. 88 с. Тираж 30 тыс. экз.



Пермь: Кн. изд-во. Ил. В. Петрова. 79 с. Тираж 10 тыс. экз.



2-е изд. Пермь: Кн. изд-во. Ил. В. Петрова. 77 с. Тираж 15 тыс. экз.

1965 г. Поэт становится членом Союза писателей СССР.

1960-е гг. Публикации подборок стихотворений в журнале «Урал» (1963. № 1; 1966. № 1; 1967. № 12; 1969. № 10).

1960-е гг.



Внештатный корреспондент газеты «Березниковский рабочий». Березники. Конец 1950-х



Пермь. 1970-е



Алексей Решетов. 1970-е

1970-е гг. Публикации подборок стихотворений в журнале «Урал» (1971. № 12; 1972. № 12; 1973. № 7; 1975. № 8; 1976. № 9; 1977. № 6; 1978. № 9; 1979. № 1, 11).

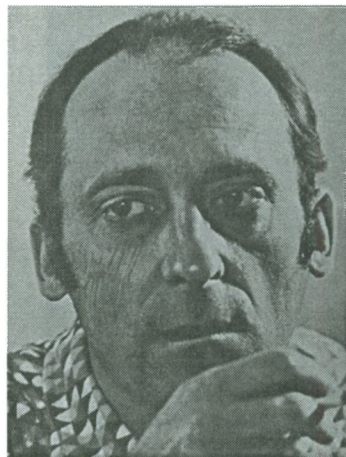
1970-е гг.

Березники.
Начало
1970-х



Березники. У ручья. 1970-е

В Березниках.
1970-е



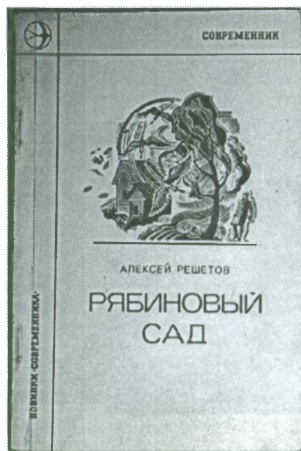
1973–1974 гг. Знакомство с Тамарой Павловой Катаевой, преподавателем музыкального училища г. Березники.

1975 г. Выход в свет книги стихотворений «Рябиновый сад» (Москва).

1973–75 гг.



Тамара Катаева.
Около 1970
(любимая
фотография
А. Решетова)



М.: Современник. Ил. В. Товстоногова. 77 с.
(Новинки Современника). Тираж 10 тыс. экз.



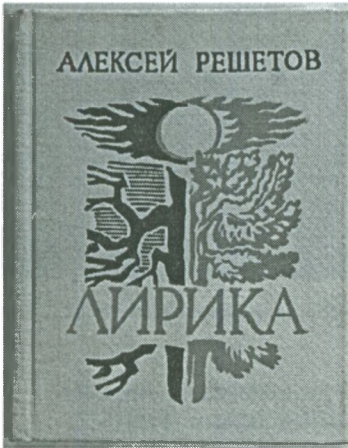
Березники.
1970-е

После издания книги в Березниках был разбит рябиновый сквер напротив Дворца металлургов при содействии академика Д. С. Лихачева и пермского журналиста В. М. Михайлюка.

1976 г. Выход в свет книги избранных стихотворений «Лирика».

1979 г. Публикация подборки стихотворений в центральной газете «Литературная Россия» (9 февр.). Стихотворения: Пехота; «Любимая, стой, не клянись...»; «Увези-ка меня, электричка...»; Русская песня.

1976–1979 гг.



Пермь: Кн. изд-во, 1976. 113 с.
Тираж 10 тыс. экз.

В Березниках.
1970-е



Березники.
Конец 1970-х



В Березниках.
1970-е



1980-е гг. Публикации подборок стихотворений в журнале «Урал» (1980. № 2; 1981. № 5; 1982. № 7; 1983. № 1; 1984. № 4, 10; 1987. № 6, 11; 1989. № 4).

Публикация стихотворений в газете «Литературная Россия» (1981. 9 янв.; 1986. 7 февр.; 1988. 18 марта).

1980-е гг.



Пермь. 1982



С Юрием Марковым. Березники. 1982



В Березниках. С шахтером
К. Шестаковым. 1981(82?)



Пермь. 1983

1981 г. Публикация стихотворений в «Литературной газете» (4 февр.).

29 апреля 1981 г. Умирает Ольга Александровна Павчинская, бабушка поэта.

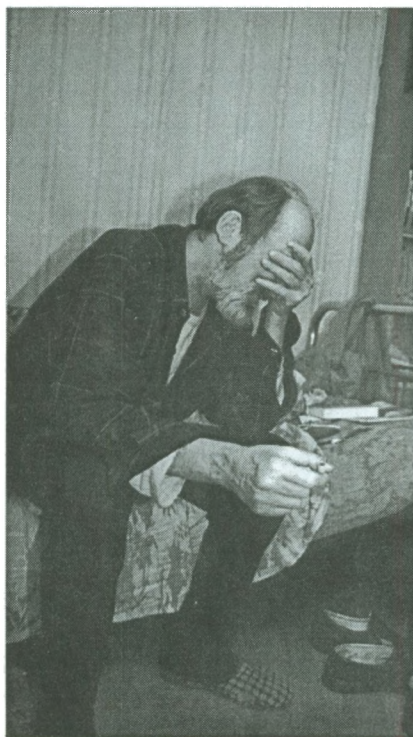
1980-е гг.

Тексты, помещенные в «Литературной газете»: «Золотые врата, мелодично звеня...»; «Седому, как лунь, человеку...»; «Нет, в бор, снегами осветленный...»



Ольга Александровна Павчинская. 1970-е

В Перми.
1999



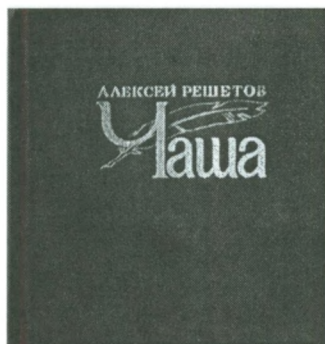
В Перми.
Начало 1980-х



1981 г. Выход в свет книги стихотворений «Чаша» (Пермь).

1982 г. Переезд семьи Решетовых (Алексея, Нины Вадимовны и племянницы Ольги) из Березников в Пермь.

1981—1982 гг.



Пермь:
Кн. изд-во.
Ил. М. Куру-
шина. 225 с.
Тираж
20 тыс. экз.



Прощание
с Березниками.
А. Решетов с со-
бакой Милордом.
1982



С актрисой Жанной Прохоренко. 1981



Из Березников —
в Пермь. 1982



Прощание с Березниками. 1982

1982 г. Работа литературным консультантом в Пермском отделении Союза писателей СССР.

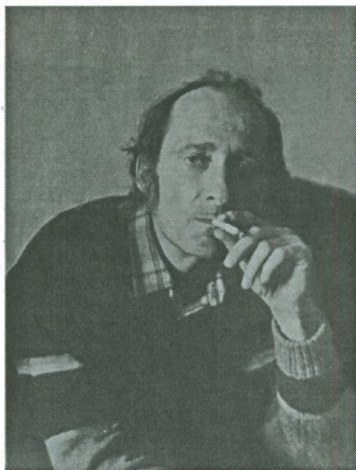
Август 1982 г. Переезд Т. П. Катаевой в Свердловск.

1982 г.

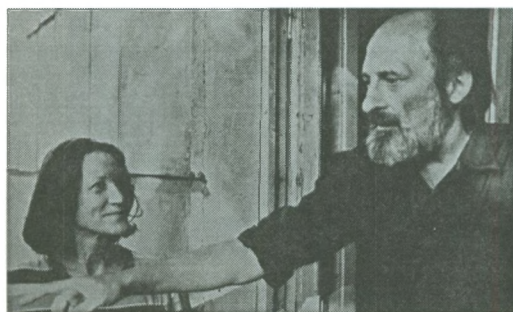
Пермь. 1982



Пермь.
1982



Березники. 1982



С женой Тamarой. Пермь. 1990-е

1983 г. Впервые после 60-х гг. – приезд поэта в Свердловск.

1984 г. В Москве в издательстве «Молодая гвардия» выходит в свет книга стихотворений «Лирика».

1983–1984 гг.



М.: Мол. гвардия. Ил. В. Воробьева.
63 с. Тираж 20 тыс. экз.

Пермь. 1983

1985 г. Выход в свет книги стихотворений «Жду осени» (Пермь).

1987 г. Поэт награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

1987 г. Становится лауреатом литературной премии им. А. П. Гайдара (Пермская обл.).

1985–1987 гг.



Пермь: Кн. изд-во. Ил. М. Тарасова.
185 с. Тираж 10 тыс. экз.



Пермь. 1985

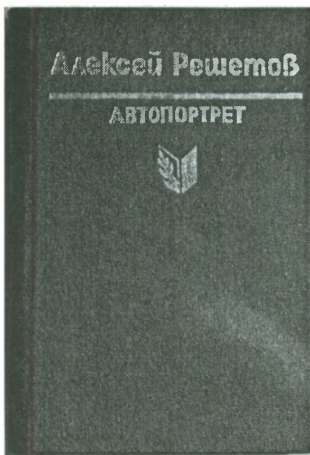


С Тамарой Катаевой. 1987

1987 г. Выход в свет книги «Автопортрет» (стихотворения и повесть).

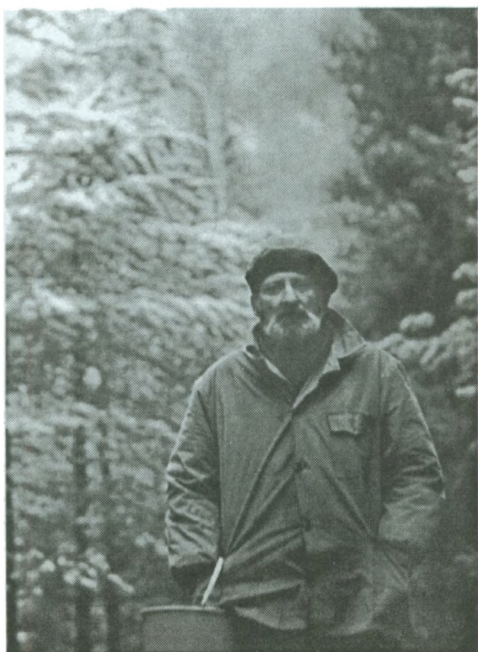
1989 г. Публикация подборки стихотворений в журнале «Юность» (1989. № 9).

1980-е гг.



Тексты, помещенные в журнале «Юность»: «Собрать бы последние силы...»; «Когда отца в тридцать седьмом...»; Женщина у Светлова; «Уж если думать откровенно...»; «Все равно, в каком аду...»; «Белая лебедь над нашим предместьем...»; «Я люблю тебя, а ты...»; «Мы с тобою живем по соседству...»; «Ты опять ко мне пришла...»; «Пропади она пропадом, жизнь...».

Пермь: Кн. изд-во. Ил. А. Амирханова.
256 с. Тираж 15 тыс. экз.

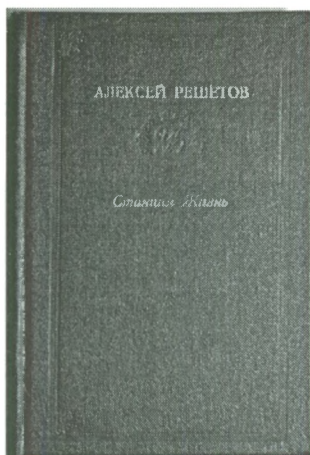


Пермь. 1990-е

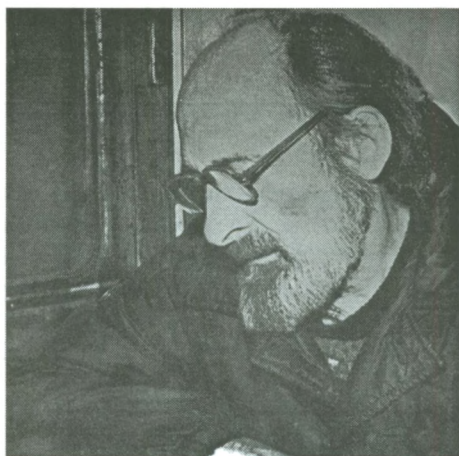
1990 г. Выход в свет в серии «Уральская библиотека» книги избранных стихотворений «Станция Жизнь» (Свердловск).

12 мая 1991 г. Умирает мать поэта Н. В. Павчинская.

1990–1991 гг.

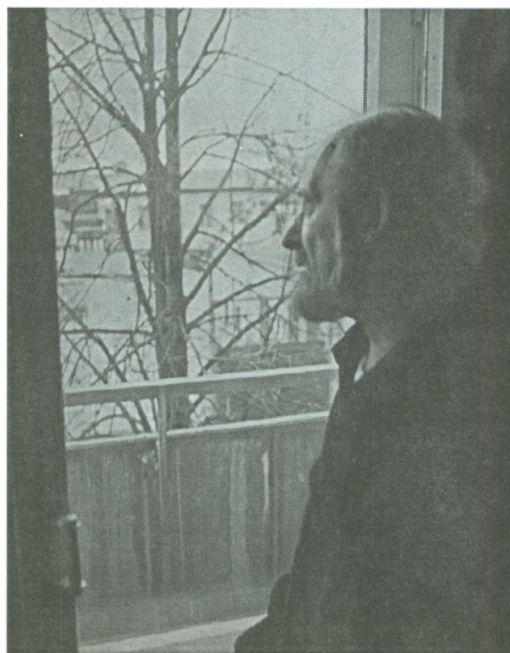


Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во.
Вступ. ст. С. А. Иоффе. 285 с.: ил.
(Урал. б-ка; Вып. 2). Тираж 25 тыс. экз.



В поезде «Пермь — Екатеринбург».
1990-е

Пермь. 1990-е



1991 г. Публикация подборки стихотворений в журнале «Москва».

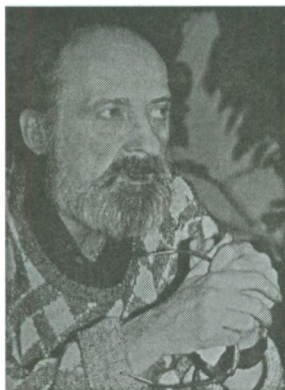
1990-е гг. Публикации подборок стихотворений в журналах «Звезда» (Пермь), «Уральский следопыт», «Урал» (Екатеринбург), в газетах «Литературная Россия», «Литературная газета» (Москва) и др.

11 февраля 1994 г. Регистрация брака А. Л. Решетова и Т. П. Катаевой в Кировском ЗАГСе г. Перми.

13 февраля 1994 г. Венчание поэта и Тамары Катаевой в храме Петра и Павла в г. Перми.

1990-е гг.

«Дайте луковку и хлеба»; «Когда остается немного...»; «Ах, золотые одуванчики...»; «Что же дальняя дорога...»; «Друзей и любимых оставить?...»; «Гляжу на речку темно-серую...»; «Что мне делать? Я не верил в Бога...» // Москва. 1991. № 8.



В Перми.
1990-е



Екатеринбург. С женой Тamarой. 1997



Алтарь в храме Петра и Павла. Пермь

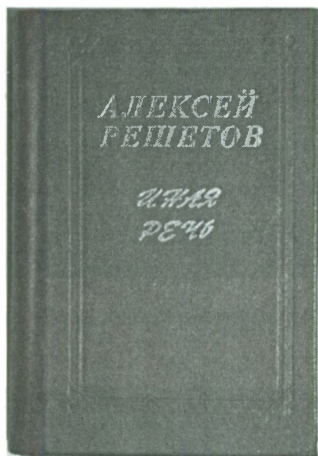
1994 г. Выход в свет книги стихотворений «Иная речь» (Пермь).

1994 г. Поэт удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры».

1994 г. Становится лауреатом премии губернатора Пермской области в сфере культуры и искусства (за книгу стихотворений «Иная речь»).

1994 г. Умирает друг поэта Виктор Бологов.

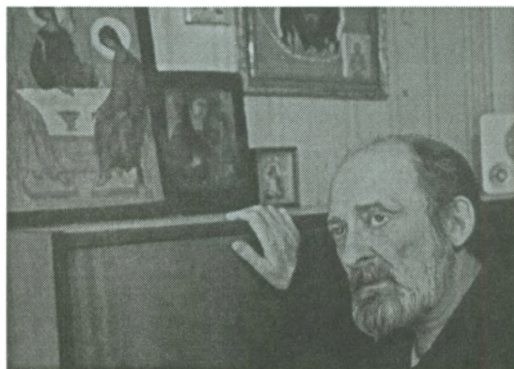
1994 г.



Пермь: Кн. изд-во. 396 с.:
портр. Тираж 2 тыс. экз.



На открытии памятника
А. С. Пушкину в Перми

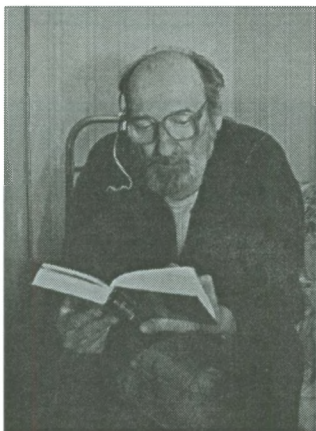


Прощание с Пермью. 1999

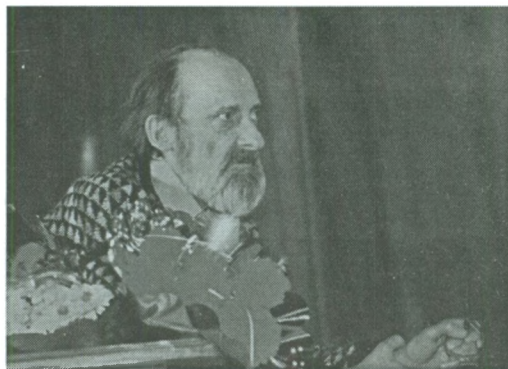
1995 г. Переезд в Екатеринбург.

1997 г. Поэту присвоено звание «Почетный гражданин г. Березники». За многолетний труд в рудоуправлении № 1 г. Березники поэт награжден знаком почета «Шахтерская слава» III степени.

1995–1997 гг.



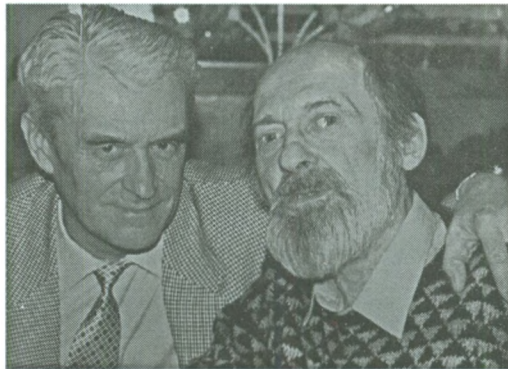
А. Л. Решетов.
Конец 1990-х



Березники. Юбилей А. Л. Решетова. 1997



Пермь. Дом, где жил поэт



С И. А. Неверовым. Березники. 1997.
Исключительно благодаря помощи
И. Неверова увидела свет книга «Иная речь»

2 октября 1999 г. Умирает теща поэта Фаина Александровна Катаева.

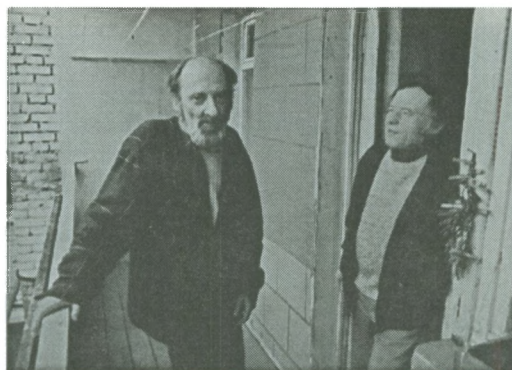
1999 г. Поэт получает прописку в г. Екатеринбурге.

1999 г.

1999 г. Проведение первого фестиваля «Решетовские встречи» в г. Березники.

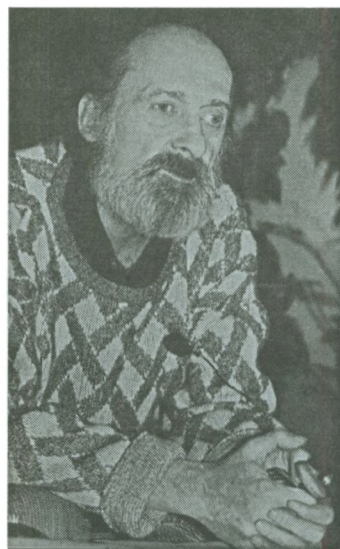


В Перми с Тamarой Катаевой. 1999



С поэтом Федором Востриковым.
Пермь. 1999

В Перми.
1990-е

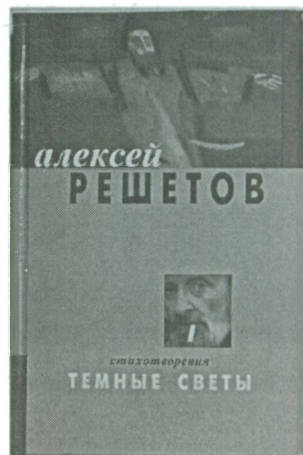
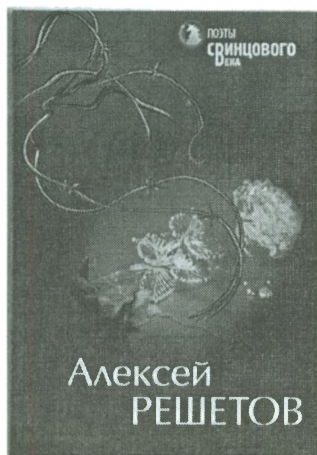


1999 г. Выходит в свет книга стихотворений «Не плачьте обо мне» (Красноярск, предисловие В. П. Астафьева).

2001 г. Выход в свет книги стихотворений «Темные светы» (Екатеринбург).

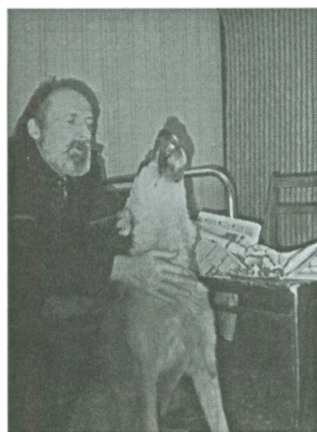
Декабрь 2001 г. Курс лечения в больнице г. Березники.

1999–2001 гг.



«Не плачьте обо мне». Красноярск: Платина. 129 с.: портр. (Поэты свинцового века; Вып. 6). Тираж 5 тыс. экз.

Екатеринбург: Банк культ. информ. Ил. Ю. Филоненко. 320 с. (Б-ка поэзии Каменного Пояса). Тираж 5 тыс. экз.



С Милордом П.
Пермь. 1990-е

Март 2002 г. Обострение болезни легких.

Май 2002 г. Поэт удостоен премии губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в области литературы и искусства».

Сентябрь 2002 г. Алексей и Тамара начинают работу над составлением собрания сочинений в трех томах.

25–29 сентября 2002 г. Поэт находится в больнице в отделении пульмонологии.

2002 г.

С пермскими литераторами
и друзьями. 2002



Встреча в г. Березники.
В центре — А. Л. Решетов;
крайняя справа — Т. П. Катаева.
2002



16.30, 29 сентября 2002 г. Умирает Алексей Леонидович Решетов.

Декабрь 2002 г. В г. Березники площади, прилегающей к рудоуправлению № 1, присвоено имя поэта Алексея Решетова.

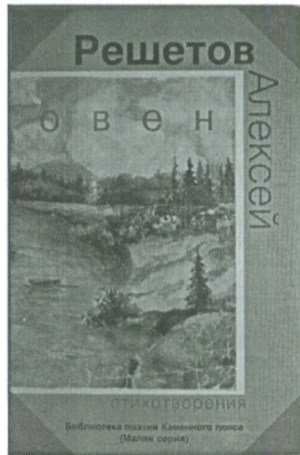
2003 г. Выход в свет книги «Овен», в которую вошли не публиковавшиеся при жизни поэта стихи.

29 сентября 2003 г., в годовщину смерти поэта, устанавливается мемориальная доска на здании Березниковского калийного рудоуправления № 1.

2002–2003 гг.



Памятник А. Л. Решетову в Березниках. 2005



Екатеринбург: Банк культ. информ. Сост. Т. Катаева, А. Комлев. 96 с. (Б-ка поэзии Каменного Пояса; малая сер.). Тираж 500 экз. На обложке — акварель А. Л. Решетова



Тамара Катаева. Екатеринбург. 2003

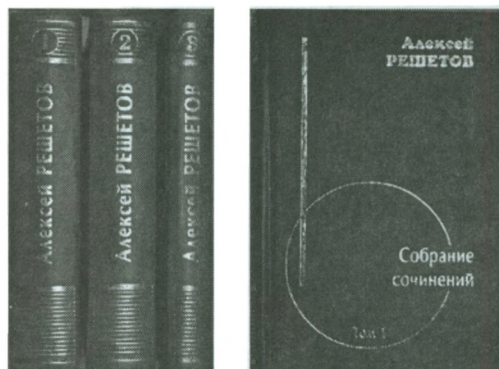
29 сентября 2003 г., в годовщину смерти А. Л. Решетова, в Екатеринбурге на доме, в котором жил поэт, устанавливается памятная доска.

2004 г. Выход в свет собрания сочинений А. Л. Решетова в трех томах.

2003–2004 гг.



Екатеринбург. 2003



Екатеринбург: Банк культ. информ.
Сост.: Т. П. Катаева, А. П. Комлев.
Тираж 5 тыс. экз.



Открытие мемориальной доски
в Екатеринбурге



Презентация трехтомного собрания
сочинений А. Л. Решетова. 2004

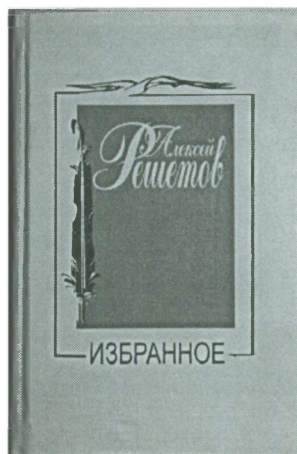
25 июня 2004 г. в г. Березники на доме, в котором жил поэт, устанавливается мемориальная доска.

2005 г. А. Л. Решетову посмертно присуждается Всероссийская литературная премия им. Д. Н. Мамина-Сибиряка.

2005 г. Выход в свет книги стихотворений «Избранное».

3 апреля 2005 г. В г. Березники открыт памятник поэту.

2004–2005 гг.



Пермь:
Кн. изд-во. 290 с.
Тираж 5 тыс. экз.



Дом поэта в Березниках. В 2007 г. дом на ул. Ленина приготовлен к сносу

Мы расстанемся навсегда...

Мы расстанемся навсегда.
Меж нами бурая вода,
Меж нами камни-валуны
И города чужой страны.
Но дебри нашей седины
Неразлучимо сплетены.
Но кожа к коже приросла,
Покуда ты моей была.
Ее раззять и разделить —
Еще живую кровь пролить.

Алексей Решетов

Сначала я хотела писать о нашем с Алексеем официальном замужестве. Именно об этом посоветовали мне написать для 3-го выпуска «Камы»¹, посвященного его памяти. Но в то время мне было не до того. Тогда я успела подготовить и отправить в Пермь только записанные незадолго до смерти Нины Вадимовны ее воспоминания и подборку из найденных и ранее не печатавшихся стихов Алеши. Да и теперь, по прошествии трех лет, не могу свыкнуться с мыслью, что Алексея нет, с тем, что «Вот ты умер. Вот ты стих. Вот ты чем-то странным стал...», а потому писать о нем в прошедшем времени мне и теперь трудно.

И все же я попытаюсь, используя оставшийся архив, выстроить хронологическую линию жизни Алексея, показать ее основные этапы. Кроме того, постараюсь вспомнить то, о чем он упоминал когда-то, а также опишу лишь некоторые, наиболее значимые для меня события из нашей общей с ним жизни.

В тяжелое время после кончины Алексея меня спасала мысль о продолжении начатой нами вместе и незаконченной работы по составлению предполагаемого собрания его сочинений. Приводя в порядок лежащие на виду исписанные им листы бумаги, пролистывая блокноты, я с радостью, как неожиданную весточку от него, как новое откровение, как подарок, воспринимала каждый найденный незнакомый стих. Затем я стала просматривать то небольшое, что можно назвать архивом. Все это создавало иллюзию его присутствия и не оставляло в моей голове мыслей ни о какой-то создаваемой комиссии по творческому наследию, ни о необходимости срочных публикаций, ни о неизвестных мне тонкостях издательских дел. Но, желая сделать для него все, что в моих силах, я постоянно ощущаю ответственность перед Алексеем за все, что печатается из его наследия, и болезненно воспринимаю любые оплошности, ошибки и неточности, возникающие из-за спешки в активной и оперативной деятельности по скорейшему изданию того или иного материала, связанного с ним.

¹ Пермский литературный альманах, ежегодное издание. — Здесь и далее прим. автора.

Взять хотя бы выпущенное Пермским издательством «Избранное»: порой мне кажется, лучше бы его совсем не было! Не о таком издании «Избранного», сделанном авантюрным образом, мечтал Алеша. Я готова была оказать помощь в составлении этой книги, подобрала стихи, которые одобрил бы сам Алексей, и хотела посоветоваться с его постоянным редактором и другом Надеждой Гашевой, прекрасно знающей его творчество. Но, к сожалению, несмотря на обещания редактора «Избранного», совместной работы не получилось. Не были даже исправлены ошибки в тексте на привезенной мною из Екатеринбурга черновой дискеты со стихами, печатавшимися поспешно для будущего трехтомника. Теперь видно, что и с посмертной книгой «Овен», и с изданием трехтомника, куда вошли стихи, не печатавшиеся прежде, возможно, тоже поспешили, так как до последнего времени я обнаруживала в самых неожиданных местах стихи Алексея, достойные, на мой взгляд, публикации. Думаю также, что собрание его сочинений, подготовленное и вышедшее в неправдоподобно короткий срок (меньше чем за полгода), не может быть полным без этих не публиковавшихся ранее его стихов. Туда же могли бы быть включены и письма Алеши. Возможно, что какие-то из них сохранились, но на получение хотя бы их копий нужно время и желание адресатов их предоставить. По поводу дополнения трехтомника его перепиской высказал свое мнение и Семен Ваксман в «Звезде». Он пишет, что «Алеша как чувствовал это» и подтверждает сказанное его же стихами:

Вернись, уменьь письма создавать!
 Замолкли их чарующие звуки.
 И том последний будет тосковать
 По этой удивительной науке.

Сделано, — за что огромная благодарность всем, принимавшим участие в деле по сохранению памяти об Алексее, — много и в основном, конечно же, из благих побуждений, но как-то уж неправдоподобно быстро. И я не знаю, как бы сам Алеша, при его скромности, воспринял и выдержал все свалившиеся на него после кончины почести (многочисленные публикации, памятные доски в трех городах, памятник). Я хорошо помню, как он болезненно отнесся к открытию в Березниках в 1999 году ежегодного фестиваля «Решетовские встречи». Но уж если что-то делать для сохранения памяти о человеке, то делать это нужно, мне кажется, хотя бы соблюдая достоверность. А потому, столкнувшись с не всегда верными описаниями тех или иных событий из жизни Алексея и перепутанными датами в ряде публикаций, я решила для большей ясности продолжить работу с архивом. Особенно меня расстроила одна из солидных публикаций, где сказано, что отца Алексея расстреляли в 1933 году (вместо 1938), что родился Алеша в 1938, а не в 1937 году, как было на самом деле. Из-за такого несоответствия в датах внимательный читатель может подумать: чей же сын Алексей, если его родного отца не стало за пять лет до его рождения? Здесь же искажена и конечная дата жизни Алексея — «умер в 2003 году» вместо 2002 года. Есть и другие неточности, перекочевавшие из «Камы», истолкованные на свой манер и связан-

ные, возможно, с тем, что до своего «нутра», своей личной жизни, Алексей мало кого допускал. Естественно, со временем что-то из слышанного забывается, но все же жаль, что жизнь любимого человека постепенно обрастает, чем дальше, тем больше, небылицами. Мне нередко доводилось слышать, как Алеша досадовал по этому поводу, говоря не без некоторого раздражения примерно так: «Уж если кто-то захочет больше узнать обо мне, пусть читает мои книги — в них весь я и вся моя жизнь».

Среди писем семьи Решетовых есть и сохранившиеся чудом старые письма с Дальнего Востока Леонида Сергеевича, отца Алексея, к матери Татьяне Степановне в Москву, письма дяди Вадима, а после его кончины — письма его жены Анны Романовны из Хабаровска; письма отыскавшегося в начале 50-х годов двоюродного дяди Алеши, Валентина Фохта, из Томска в Березники. Здесь же и воспоминания Нины Вадимовны Павчинской и ее письма к старшему сыну Беталу, учившемуся в Москве, а также письма и записные книжки ближайшего друга Алексея, пермского поэта Виктора Болотова.

Разумеется, Алексей не раз упоминал в разговоре со мной и об отце, и о дяде Вадиме, и о других родственниках, показывал оба издания книги Вадима Вадимовича «Орлиное Гнездо», с особой гордостью добавляя, что он, к тому же, был мастером парашютного спорта. Но письма, как от него, так и от отца и других близких людей, сложенные по адресатам и годам и обвязанные веревочками, я впервые с трепетом прочитала лишь после кончины Алеши. И вся жизнь его, благодаря этим письмам, снова прошла передо мной уже в более полном виде.

Из писем дяди Вадима и Анны Романовны видно, что им удалось установить связь с другими родственниками Павчинскими, также имевшими непосредственное отношение к литературе, живописи и музыке. К сожалению, не было в архиве писем обратных, от Нины Вадимовны и Алексея, которые он писал в Хабаровск дяде в свои школьные годы и в период своего взросления и становления как поэта. Мне очень хотелось найти оставшихся родственников и получить через них хотя бы копии тех писем. Но ни материальных возможностей, ни физических сил съездить в Хабаровск, Владивосток и Москву после кончины Алеши не было. И все же мысль найти связующую нить с оставшимися родственниками не оставляет меня и сейчас, и есть надежда сделать кое-что для этого в ближайшем будущем.

Раз уж речь пошла о родных, то надо сказать следующее. Баба Оля (Ольга Александровна Павчинская, дочь русского офицера Петрова и грузинской княгини Александры Георгиевны Нижарадзе) была наполовину грузинкой и наполовину русской. Ее муж, с которым она рано развелась, Павчинский, — поляк. У ее дочери, Нины Вадимовны Павчинской, муж — Решетов Леонид Сергеевич — русский. То есть в Алексее текла как русская, так и грузинская и польская кровь. Вот как написано об этом у него самого: «Мать — наполовину русская, на четверть грузинка и на четверть поляк». Если копать глубже, прабабушка Нины Вадимовны, Нина Церетели, была грузинской княгиней, владелицей марганцевых рудников, а прадед, Георгий Нижарадзе, — предводитель дворянства в г. Кутаиси.

Из-за этой смеси кровей, отразившейся на внешности Алексея, его как-то в 80-х годах побили, приняв за еврея. Алексей не стал оспаривать своей национальности, защищая, таким образом, всех, кто вызывал у него евреев неприязнь, и не только евреев. Этот случай вспомнился мне, так как он в немалой степени характеризует Алексея, всегда протестовавшего против любого насилия и несправедливости и поддерживавшего сторону слабого.

Среди обнаруженных мною исписанных Алешей листов, помеченных 2 февраля 1990 г., видно, что он намеревался документально проследить и понять жизнь и поведение своих родных через трагические события, происходившие тогда и так или иначе исковеркавшие судьбы многих людей. Исследуя свои родовые корни, он пытался осмыслить и свою жизнь, свое предназначение. И, как мне кажется, неким отзвуком того времени является стихотворение, найденное среди его черновиков:

Счастливая мама просила сынка:
— Взгляни, как по небу плывут облака.
Вот это — твой дедушка старый, седой,
С его шевелюрой, с его бородой.
Вот это — твой в белой рубашке отец
Куда-то направился, видишь, малец?
А это вот — бедная мама твоя,
С лицом утомленным, белее белья...
Закрой свои глазки, в себя загляни —
Там добрые сказки и страшные сны.

Мысли об отце, его трагическом конце, о произволе над судьбами ни в чем не повинных людей не оставляли Алексея всю жизнь. (Годы жизни Леонида Сергеевича, известного в свое время не только на Дальнем Востоке журналиста: 15/2–1910 г. — 13/4–1938 г.).

У Алеши среди упомянутых записей есть такая: «...Я люблю своего отца больше, чем живого. Но не идут из головы жуткие строчки Юрия Кузнецова: — Отец! — кричу / — Ты не принес нам счастья!.. / — Мать в ужасе мне закрывает рот». Генетическое сходство Алексея с отцом в характере, поведении проступает, на мой взгляд, во всех переписанных им со своими пометками письмах отца. А потому, опираясь на документы, а также на разрозненные записи Алеши, позволю себе привести здесь некоторые из этих писем, а также фрагменты из писем родных, добавляя к ним то, что хорошо помню из рассказов Алексея.

Начну с того, что известно об его отце, с того, что сказано о нем в письмах его родственников, так как письма эти не раз перечитывались Алешей.

В письме от 11.02.1990 его двоюродная сестра Л. А. Еремина из Москвы пишет о детских увлечениях отца Алеши, о встречах с ним в Крыму, когда Леониду было 14 лет.

...С тех пор, как стали публиковаться воспоминания репрессированных (да и раньше) я часто вспоминаю Леню. Ведь он для нас с Верой был не двоюродным, а родным братом, он у нас подолгу жил в Чембаре, в Ялте. Вот только фото нет, я все отдала бабе Тане...

Очень яркое воспоминание (той поры): в день моего 10-летия Леня принес мне розу в горшочке, она жила несколько лет. Потом помню, как однажды он по либретто «Евгения Онегина» пел всю оперу на разные голоса. Помню, как вместе катались на лыжах. Помню, как по приказу комсомола пошел работать на паровоз и что-то случилось, в результате чуть не лишился глаза, шрам остался. Помню, как собирались в Перове (в 1923 г., до Крыма) все мы: Леня, Вера, я, Зина и ее брат Виктор. Возни было! Мы у родителей Зины (отец — брат нашей мамы) жили полгода, приехав из Чембара и до отъезда в Крым в июне 1923 г. Жили, наверное, бедновато, но мы, дети, этого и не подозревали. А вот радости было много.

Помню, как Леня один приехал к нам в Ялту, худющий и страшно голодный, моя мама плакала, увидев его таким, а мы были безумно рады его приезду...

Из того же письма обращение к Нине Вадимовне (за год до ее кончины), после просьбы написать о требующихся лекарствах и продуктах (время талонов):

Ниночка, почему бы тебе и не стать соавтором Хабаровского писателя? (А. Сутурин писал книгу о Леониде Сергеевиче. — Т. К.). Наверно, он и приехать может. Вот только писать трудно, конечно. А ворошить прошлое, хотя и тяжело, но, может быть, написав, освободишься от "груза"? Подумай...

А вот письмо самого Леонида его маме Татьяне Степановне в Москву о том его самостоятельном путешествии в Ялту, в те места, которые он, подростком, исходил пешком.

Ялта, 7 июля 1924 г.

Здравствуй, милая мамочка!

Пишу третье письмо, а от тебя все нет ответа. Теперь, конечно, не пиши — уезжать надо.

Мама, если бы ты знала, как не хочется мне уезжать из Крыма, но как вспомню, что в Москве меня ожидает отряд, школа, — так смиряешься.

Не того я ожидал от этой поездки. Я думал, что основательно осмотрю южный берег Крыма, а вышло, что не смог осмотреть даже Ай-Петри и Ореанду, хотя последняя не более 6-ти верст от Ялты. Что я говорю «Ореанду», я и парк Эрлангера-то не мог осмотреть! Как мне хотелось пойти в новый Мисхор к моему товарищу Жоржу (Мисхор в 12-ти верстах от Ялты) и с ним вместе отправиться в Форос, но меня отговорили или, вернее, не пустили, говоря: — Куда ты пойдешь? Денег нет!

Мама, ты, наверное, получила письмо, где я писал, что потерял все деньги (20 руб.), а у Жоржа тоже дела плохи — получает его мать 30 руб. жалованья, и его им на троих не хватает. Я думаю как-нибудь сходить в Мисхор (12 верст), Алупку или Форос (51 верста). Ты, наверное, думаешь, зачем это он хочет тащиться в Форос 51 версту, да притом он ведь в Форосе был? Но, мама, потому что мне хочется повидаваться со старыми товарищами, еще раз посмотреть уже виденные места.

Мамочка! К этому письму я прилагаю еще другое, написанное на пароходе; там

я пишу, как мне пришлось положить зубы на полку во время обратной езды на пароходе — теперь этого не будет, потому что мы едем втроем: я, Андроний Сергеевич и Наум Самуилович (Роммель). Выедем, наверно, или завтра, или послезавтра, смотря по тому, когда будет пароход.

А мы-то думали, что я дождусь тебя здесь, ан и это не удалось. Мама! Ереминых (родня по материнской линии. — Т. К.) я нашел случайно. Сперва обошел всю улицу, везде спрашивал, но ничего не нашел, потом пошел в справочный стол, но тот уже был закрыт. Тогда я пошел к Роммелям (у которых останавливались в прошлый раз), спустился ниже — глянь, Вера выходит из ворот. Вот случайность-то!

Итак, мама, в пятницу, часов в 5, жди меня, а Андроний Сергеевич придет раньше, потому что выедет со скорым поездом.

Мама, когда ты получишь это письмо, мы уже будем недалеко от Москвы. Может быть, это письмо мне не удастся послать, потому что у меня нет денег, а просить у них не хочу.

Ну, мамочка, пока до свидания, через несколько дней увидимся. Ты, может быть, встречать меня выйдешь, если, конечно, будет свободное время?

Вчера Л. С. получила твое письмо, но ничего не говорила, что ты пишешь. Я не знаю теперь, где, в какой квартире ты живешь. Леня.

Это письмо, а также два следующих в числе остальных были переданы Нине Вадимовне после смерти в Москве (3 сентября 1960 г.) матери Леонида и бабушки Алексея, Татьяны Степановны Решетовой. (Леониду здесь 18 лет).

Москва, 10 сентября 1928 г., понедельник

Здравствуй, дорогая мама!

Получил твое третье письмо и сейчас дам отчет, почему не писал.

Дело простое. В этот день, как мы получили второе письмо, хотели тут же написать ответ. Но ты спрашиваешь о Любе и Анюте, а мы о них ничего не знали, поэтому отложили. На завтра бабушка ушла к Ереминым, а на третий день я работал. Потом приехала Анюта, и Георгий с бабушкой и уехали к ним.

До сих пор о бабушке ничего не знаю, сходить некогда, да и думаю: вот придет. А письмо писать и умолчать о том, что она 4–5 дней отсутствует, было нельзя — ты бы стала беспокоиться.

Сегодня Вера сходит к Анюте, узнает, что с бабушкой, и это письмо я пошлю с определенным ответом. Только и всего!

Теперь относительно новостей. Вера сдала в техникум, теперь занимается. Петрушка Пичугин с Дальнего Востока — я его еще не видел. Люба все еще там. Нас погонят из помощников 15-го сего месяца. В депо или на котелки центрального отопления.

Керосинка не взорвалась, в крушение не попадал. Жив-здоров, почти ежедневно купаюсь. Денег израсходовал больше, чем ты предполагала. Запись расходов провалилась. Молоком не бедствую. Обедаю.

Мама! То, что ты написала на 4-ой странице, безусловно, ерунда (о неприязни). Особых причин нет. Думаю, что и характер будет совершенствоваться. Вот!

Того же дня — 1.30.

Ну вот, пришла бабушка из гостей. Твое письмо Анюта получила, поэтому бабушка и загостилась. Ты ведь писала: «Пусть бабушка погостит немного у Анюты».

Бабушкины очки стоят 1 р. 90 к.

Анюта придет 10-го.

Пока что все.

Снимемся на днях и пришлем карточку. Поправляйся и приезжай. Леня, бабушка.

Из того немногого, что сохранилось, известно, что дедушка Алексея (отец Леонида Сергеевича) до революции был типографским работником в Москве. Втянутый в революционную деятельность, он с женой и сыном скитался по ссылкам. Вскоре, оставив семью, он создал новую, но связь с сыном Леонидом поддерживал. Судя по единственному сохранившемуся письму Леонида Сергеевича отцу, занимался он и писательским делом. Приведу его полностью:

Саратов, 1931 г.

Дорогой отец!

Недавно читали твою книгу с друзьями и вот захотелось написать тебе. Я ее перечитываю, кажется, в 4-й раз. Простота изложения, бесхитростность повествования подкупают.

И вот что мне кажется странным: почему, написав прекрасную книгу, ты замолчал? Разве нет тем в нашей жизни, разве она не может увлечь художника? «Времени нет», — пожалуй, ответишь ты. А вот этому, прости, я никогда не поверю. Я в сутолоке своей комсомольской жизни написал здесь, в Саратове, две брошюры. Правда, они меня не удовлетворяют, правда, сухонький язык и, может быть, «мелкая тема»... Я и сам вижу, что далеко мне до «большого искусства большевизма», но я и не гнался за этим. Мне просто казалось странным, что писатели-интеллигенты прошли мимо интереснейшего факта избиения негра на тракторном в Сталинграде, и я написал.

Помнишь, ты рассказывал о желании написать книгу об интеллигентстве, но потом-де «помешал» Шахтинский процесс? Неверно это. Процесс прошел, о нем забыли, в среде интеллигентства много нового. Вот показать, что новое в интеллигентстве, новое в борьбе со старым — большая, трудная задача, и тебе по плечу. Я никак не могу смириться с твоим молчанием. В чем причина? Жизненные переипетии не могут служить основанием бездействия большевика. Мы, молодежь, тебе прости не можем. И вместе с благодарностью за прекрасную книгу о прошлом выдвигаем «социальный заказ»: дать хорошую, сочную книгу о «сегодня».

Несколько слов о себе.

Я работаю секретарем заводского комитета КСМ Саратовского комбайнстроя. В нашей организации (заводской) 2 000 человек комсомольцев — это солидная организация, не так ли? Времени на работу уходит много, около 12–14 часов ежедневно. И все же я делаю записи, собираю материал, пишу в газету. Я тебе пришла свои брошюры для критического разбора или разгрома. И то и другое я приму как должное.

Мне очень хочется засесть за работу над повестью о днях комсомольской жизни. Небольшая жизнь моя изобилует ярчайшими, интереснейшими моментами. Немного есть среди нас комсомольцев, которые знают, что такое ссылка, не по книгам, а я это помню неплохо. Потом фабзавуч, работа в депо, на паровозе. Колхоз. Строительство завода-гиганта. Это прекрасная школа для молодого большевика. В 32-м году я сажусь за повесть. Кстати сказать, рассчитываю на твою помощь — советы, материалы о моем детстве, о тебе... Ведь смешно, но я не знаю, с какого ты

года в партии, сколько раз сидел, ссылался, были ли побегу? Когда материалы будут, ты должен будешь просмотреть план повести, прокорректировать и потом пораспливать меня, подправлять. Согласен ли ты на это? Думаю, что да!

Несколько попутных вопросов.

Я редко бываю в Москве и лишь возможности покупать все книги, которые мне хочется. У меня здесь нет классиков, за исключением Толстого, очень мало французов (современники, кроме Маяковского, Роллана, Горького, меня не интересуют). Так вот, нет ли этой возможности у тебя: достать кое-что для меня?

В материальном отношении дело обстоит хорошо — я богатый человек, относительно. (Получаю 200 руб. + газетная работа. Не пью. В театры хожу бесплатно. Барахла не покупаю. Деньги есть, но книг нет!)

Вот примерно, что мне нужно:

1. [нрзб.] 2. Сервантес. 3. Дефо «Робинзон» (Академия). 4. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (Академия). 5. Маяковский — 8 том (Гиз). 6. Бабель «Рассказы». 7. Л. Андреев. 8. Есенин — стихи. 9. Гончаров «Обломов». 10. нрзб. — Очерки. 11. Щедрин «Сказки». 12. «1001 ночь» 1 и 3 тома (2 есть) — Академия. 13. Чернышевский «Что делать». 14. Светлов — стихи.

Кроме того:

Энгельс — Фейербах. Маркс «К критике политэкономии». Плеханов «К развитию мистического взгляда на историю».

Мой адрес: г. Саратов, ул. Республики, центральная гостиница, № 3-а. Л. Решетов.

PS. Говорят, что я заядлый библиофил, но что правда — я не люблю книг в плохом издании.

Саратов, 19 февраля 1931 г.

Посылаю обе брошюры. Очень прошу, чтобы ты написал обстоятельное мнение; хотя они обе для меня — пройденный этап.

К просьбе о книгах. Нужно, кроме всего, о чем пишу в первом письме: Стендаль «Арманс», «Пармская обитель», «О любви», новеллы и хроника.

(нрзб.) «Один в поле не воин». Пруст «В поисках утраченного времени», «Под сенью девушек в цвету».

В Москве, как я узнал, дорогой, есть закрытый книжный распределитель. Вот там-то, видимо, можно достать кое-что. Попробуй отыскать его (кажется, на Тверской).

Пока жизнь моя без изменений. До января буду на заводе. Привет О. А.

Л. Решетов.

PS.

Так как в первом письме я затронул некоторые вопросы, я тебе его посылаю. Из книг очень бы хотелось в первую очередь Рабле и Стендаля. Леня.

Что касается книг, отношение к ним у Алексея было двойственным. В обстановке, в которой проходило детство Алеши, о хороших книгах не приходилось и мечтать. Семья Решетовых, оказавшаяся в числе изгоев общества и заброшенная волей судьбы под Соликамск, всегда трепетно относившаяся к книгам, к чте-

нию, долгое время просто не имела возможности их покупать и читать. С годами, хотя и с трудом, хорошие книги все же приобретались. С одной стороны, Алексей очень сожалел о своевременно не прочитанном. То, что доступно всем сейчас, да и чего не лишены были другие в детские и юношеские годы, к нему пришло, как он считал, поздно. А с другой стороны, он считал, что человек сам должен искать ответы на свои вопросы, размышлять, познавать мир, иметь свой взгляд на жизнь, да и на главные вопросы в книгах ответа не найдешь. Из разговоров и из книг можно получить какие-то знания, факты, подтверждения своим размышлениям или опровержения их. Естественно, интересна и игра мысли у талантливо пишущего человека. Впрочем, не вдаваясь в тонкости этого вопроса, упомяну здесь, что среди многочисленных любимых поэтов и прозаиков он особенно выделял Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Кафку, Гофмана, Гете и Данте.

Кое-какие сведения об отце Леонида, Сергее Решетове, сообщил Нине Вадимовне в письме в 1950 году ее брат Вадим Вадимович Павчинский:

...Пишет ли тебе Костин? (Владимир Иванович — московский художник, друг Леонида. — Т. К.) Я обязательно ему напишу, хоть и с годовым опозданием, но напишу. По-моему, муж Татьяны Степановны работает в Великих Луках председателем облисполкома — я читал его речь на сессии Верховного Совета РСФСР (он депутат). Владимир Иванович, наверное, лучше знает — спроси его...

Небольшое попутное отступление, касающееся Нины Вадимовны, из этого же письма, где Вадим обращается к сестре, сетуя на то, что она не использует свои рано проявившиеся литературные способности:

...А теперь хочу тебя крепко отругать. И вот за что. У тебя всегда были прекрасные литературные способности. Даже твои письма говорят о твоей незаурядности. Почему же ты, в таком случае, до сих пор ничего не написала? Я предчувствую, я, наконец, твердо уверен, что ты должна стать литератором, что ты создашь интересные литературные произведения — ведь я помню твои дневники и твои опыты в этом направлении еще в наши юные годы. Пиши, пиши, пиши! Ты зря скромничаешь. Я все эти годы ждал, что вот появится в списках книжных новинок твоя книжка. Ведь ты что-то писала о детской книжице? Подумай об этом — сколько новых людей, хорошо знающих жизнь и умеющих рассказать много интересного, сколько талантливых людей пришло в литературу. А ты — не из бесталанных, уж я-то знаю тебя лучше, чем кто-нибудь другой! Ты находишься в самой гуще жизни, среди интересных людей, среди интересных дел. Какая прекрасная возможность для литературного творчества. Давно уже с твоими «писучими» свойствами роман об уральцах надо бы накропать.

Я жду от тебя серьезного и неуклончивого ответа на этот вопрос. Не скрывай ничего, поделись своими соображениями — здесь я кое-чем могу тебе помочь (советом, консультацией и т. д.). Все-таки я много лет помогал в этих делах многим, и кое-кто уже вышел в люди...

Добавлю к этому, что Нина Вадимовна писала детские стихи, которые в 50-х годах печатались в литературном сборнике для детей «Боевые ребята», издававшемся в Свердловске, рисовала открытки. Кроме того, ей каким-то чудом удалось сделать для своих детей книжку своих стихов и оформить ее своими же рисунками с такой надписью: «Дорогим сынишкам Бетульке и Гагочке от мамы Нины. 1940–1941 г.». Встретилась она с ними только в 1945-м.

Дальше, в 1932 году, должны были произойти изменения в жизни Леонида, что видно из письма дяди Кости (наверное, брата отца).

Москва, 18 января 1932 г.

Здравствуй, Леонид!

Письмо твое получил. Тов. Птухе написал 19/1. Думаю, что он тебе поможет выкарабкаться из создавшегося положения.

Однако, независимо от исхода, нервничать тебе и приходиться в отчаяние нет никакого основания. А нервничаешь ты основательно и чрезмерно.

Ты пишешь: «...Неужели я, выросший в обстановке ссылок, сын подпольщика и т. д. не имею права учиться?» Далее продолжение: «...Разве не найдутся охотники увидеть в отзыве с учебы факт недоверия мне возможности учиться в ЦКИ. К тому же, в следующем году — армия и пр.»

Словом, катастрофа, провал, паника. Таков тон твоего письма.

Поверь, Леня, ничего страшного не случится, если даже тебя отзовут с учебы. Конечно, это неприятное дело, но катастрофы нет и не может быть. И снятие, вернее, отзыв с учебы, и предстоящая армия для юноши 20 лет — жизненные эпизоды, ни в коем случае не могущие повлиять в худшую сторону в твоей жизни. Коммунист при любых обстоятельствах и положениях должен, прежде всего, помнить, что он коммунист и не поддаваться настроениям минуты, дня. Настроения, в особенности личного свойства, касающиеся самого себя, мимолетны и, бесспорно, преходящи. На настроениях далеко не уйдешь и не уедешь. Факт бесспорный.

На эту тему есть хорошая украинская поговорка: «Сэрдцем города нэ возмэшь». <...> Словом, дорогой Леонид, никогда не падай духом, крепишь при любых обстоятельствах. А главное, никогда не теряйся, частное подчиняй общему. Все остальное прилагается.

Пишу это письмо на заседании, поэтому мысли отрывочные, но главное я, мне кажется, написал.

Будь здоров. Твой дядя Костя.

Следующие по хронологии письма Леонида к матери в Москву помечены уже 1934 годом. Они из Михайловки Уссурийской, где Леонид работал главным редактором газеты «Вызов». Затем, начиная с 1935 года, он пишет из Владивостока, где познакомился с будущей женой Ниной, а затем из Хабаровска, где стал работать в газете «Тихоокеанская звезда».

Здесь приведу фрагменты последних писем Леонида к матери, начиная с письма, где говорится об ожидаемом рождении Алеши и связанными с этим хлопотами.

Хабаровск — Москва, 22 февраля 1937 г.

Дорогая мама! Теперь мы хотим сообщить тебе еще одну большую для тебя новость: у нас скоро будет еще один Бетька. И, скорее всего — сестренка Бетулькина, какая-нибудь Лялька. Это очень хорошо для Бетульки, а то ему одному скучно — он все время один со взрослыми... Через недели полторы Нина уже пойдет в отпуск, а в мае у тебя будет еще внучонок или внучка.

Вот сейчас мы пишем тебе письмо, а Бетулька бегает по комнате с огромным медвежонком, которого мы ему недавно купили. У Бети есть кроватка с пружинным матрацем — чистенькая, беленькая, с сеточкой.

Бетька растет страшным хулиганом. Все время убегает, нельзя оставить на минуту одного. Залезает под стол, под кровать, если увидит ведро с водой или кастрюлю, обязательно влезет ручонкой. Любит музыку — вот сейчас, например, передают «Евгения Онегина» из Москвы. Слышно очень хорошо. Бетька обычно передразнивает радио, бормочет что-то ему одному понятное. С утра, как проснется, требует, чтобы включили радио. Он говорит «папа» («мама» — не говорит, хотя ее больше всех любит), еще «баба», «тетя», «тютю» (нету), «кака» и свои собственные слова — «ауки», «утю». Поднимает ручонку вверх и «стреляет» — паф-паф. Очень смешно представляет, передразнивая, лошадь и собаку. Он знает почти все предметы, которые есть в комнате, — картинки на стенах, портреты Ленина, Сталина, коврик с грибочками и все свои игрушки. А их у него много: лошадь, корова, мячик, автомобиль, куклы, книжки, резиновые звери и большой мишка. Но больше всего он любит играть со стулом, чайником и потрошить мои книги.

Теперь пойдут наши просьбы. Значит, первое — это ботиночки и туфельки (мерку прилагаем), носочки белые и цветные (размер 2–3), пар шесть, — здесь их никогда не бывает. Насчет шерсти — нужно 0,5 кг белой, 400 гр. черной, 100 гр. голубой. Шерсть для вязания — Лялюлке надо связать шапочку и туфельки. Еще нам надо два байковых одеяльца (или одно большое, но лучше два байковых готовых), они стоят 20–30 рублей, цвет лучше голубой и розовый, если нет — какой будет. Если останутся деньги (посылаем 200), то купи еще белый вязанный пуховый платок — Бетулке и Лялюлке он очень нужен.

Ну, дорогая мама, всего наилучшего. Целуем. Привет от Бетульки. Леша, Нина.

Мама, т. к. письмо получилось очень большое, вырезку не посылаю, а то не войдет. Леша.

Добавлю от себя то, о чем слышала от Алексея и Нины Вадимовны: Леонид был хорошим семьянином и хотел иметь много детей. Нина Вадимовна, оставшись вдовой в 24 года, вплоть до получения окончательного документа о его смерти надеялась, что Леонид жив и вернется...

Запись Алексея о своем рождении, сделанная им со слов Нины Вадимовны:

1 апреля 1937 г. отец улетал в командировку. Мать — именинница — с утра искупалась. Появился жарок. «За мной придет машина, завезет тебя в больницу, — решил отец. — Если что-то серьезное, я не полечу».

Гинеколог сказал: «Рожать будете ровно через месяц. А жар от простуды — ничего страшного». И отец улетел.

А мать свалилась дома с температурой 40 гр. К бабушке пришли гости 2-го, а 3-го маме стало так плохо, что пять раз вызывали «скорую». Кажется, на седьмой раз завопила сама врачаха — скорей в машину. А машины были тогда не приспособленные, обыкновенные эмки. Только накинула тужурку. Боялась родить в машине.

Привезли в гинекологическое отделение. А там: «Не к нам, у нас тут оборудования нет, несите в родильное». И там: «Не к нам, у нее какая-то зараза, она тут всех перезаразит, несите в инфекционное». Санитарки поволокли. В инфекционном замахали руками: «У нас тут заразные, мы же ребенка заразим! Несите обратно!» — Мы тут бросим! — взревели санитарки, но все-таки доволокли по этажам опять до гинекологии. Опустили носилки у дверей, в коридоре. — Не смейте заносить! Я сейчас наведу порядок! — бросилась куда-то врачаха.

И пока она бегала, я родился. В коридоре. У матери оказался тиф.

Сейчас, перебирая в памяти свою жизнь, усмехаюсь иногда: ну чего я так торопился? В этот прекрасный мир?

Сам Леонид Сергеевич о рождении Алеши пишет своей матери спустя некоторое время уже в щадящем виде.

Хабаровск — Москва, 24 апреля 1937 г.

Здравствуй, дорогая мама!

Получила ли нашу телеграмму? Если нет, то знай, что ты уже дважды бабушка и у тебя два внучонка. Второй родился 3 апреля. Случилось это не совсем благополучно и в мое отсутствие. Нина сильно заболела и в связи с высокой температурой родила преждевременно — недели на две. Первое время у нее не было молока, и положение маленького было критическое. Кормила его грудным молоком из родильного дома. Я был в командировке во Владивостоке, а когда приехал, Нина уже начала поправляться. Был у нее паратиф, температура доходила до 40 градусов. Бедняжке досталось крепко!

Малышка выглядит вполне нормально, только очень маленький. Похож на Бетьку. Ведет себя удивительно хорошо: все время спит, кушает регулярно, кричит совсем мало — только тогда, когда задерживают с едой или мокрый. Первую ночь, когда Нина возвратилась, малыш что-то хныкал. Бетька просыпался каждый раз, как подымался малыш, и начинал голосить (из солидарности, наверно). Теперь он привык и не просыпается, если малыш начинает пищать, что, впрочем, повторяю, бывает редко.

Имя малышу мы еще не придумали, а зовем Гага — так назвал его Бетька. Он, между прочим, чувствует, что это что-то родное: гладит ручонкой, ластится к нему.

У нас долгое время стояла холодная погода, и только теперь стало тепло. Ходим гулять с Бетькой, одеваем его в голубенький твой костюмчик. Он очень хорош ему, и все заглядываются на Бетьку. А он — страшный хулиган и сорванец: хватает с земли камни и палки, пристаёт к маленьким ребятишкам, отнимает у них игрушки и т. д. ...

В последних двух письмах от 2 мая и 7 июня 1937 года Леонид Сергеевич договаривается о переезде всей семьи в Москву к матери. Интересно, как бы сложилась жизнь Алеши, случись это тогда? Вот отрывок из предпоследнего письма:

Хабаровск, 2 мая 1937 г.

Вчера встречали Май. Позавчера получили телеграмму — большое спасибо. Мы тоже хотели послать, но я никак не мог вырваться на телеграф. Я был на параде, должен писать отчет для газеты. Нина и Бетя, к сожалению, не были. Бетю не с кем было пустить, а Нина не могла уйти от Гаги.

Теперь о главном. Редактор обещал-таки отпустить меня учиться (Курсы красной профессуры. — Т. К.). Он, правда, не очень авторитетен в крайкоме и с его просьбой могут не согласиться. Но я все же крепко надеюсь. В связи с этим хотелось бы знать: как ты думаешь нам лучше устроить жизнь в Москве. Как с жильем — вместе или раздельно. Как с твоей работой — будешь работать или нет? Словом, хотелось бы знать твои соображения на этот счет, чтобы соответственно подготовиться — и тебе, и нам. Только будь, пожалуйста, искренна, а то будет гораздо хуже, если потом выяснится, что ты думала не о такой жизни.

Мы с Ниной не раз беседовали обо всем этом и пришли к выводу, что как бы ни было, а тебе будет трудно с нами, ведь ребята требуют постоянного напряжения и не дают ни минуты покоя днем и заставляют поминутно вскакивать ночью.

С другой стороны, всем вместе жить приятней и удобней. Пожалуйста, напиши, как ты об этом думаешь. Напиши также, где бы мы могли остановиться на первое время по приезде. Ведь сразу-то мне не дадут комнату, а жить где-то надо. Если нет никакой возможности, то мы, может быть, приедем не все вместе, хотя последнее очень тяжело для Нины, и я бы этого не хотел. Может быть, как раз тебе удастся приурочить отпуск, и ты будешь где-нибудь отдыхать, а мы воспользуемся этим (август, сентябрь). Во всяком случае, у тебя остановиться (если ты там будешь) невозможно — ведь нас четверо! Мы даже вповалку на полу не уляжемся!

Из вещей мы возьмем с собой только Бетулькину кровать и книги. Все остальное бросим здесь. Если бы была уверенность, что хорошую детскую кровать можно купить там, то мы бы и кровать не стали везти.

Вот видишь, дорогая мама, мы уже серьезно подумываем о переезде. Потом и ты нам напиши подробно свои советы и соображения.

Посылку твою получили, большое спасибо. Очень пригодились одеяльца. Ботиночки мы уже достали здесь, а те, что ты прислала, пойдут на запас. Грибы прекрасны.

Я выписал тебе на год нашу газету («Тихоокеанская звезда». — Т. К.), напиши, получаешь ли? Слушаешь ли радио, «Последние известия»? Там иногда бывают мои заметки с Дальнего Востока.

Ну, дорогая мама, всего хорошего. Скоро увидимся.

Привет всем. Леша².

Новых снимков пока нет, как будут — пришлю. Л.

² Лешей иногда называли Леонида Сергеевича родные.

Последнее письмо отца Алексея.

Хабаровск, 7 июня 1937 г.

Дорогая мама!

С нетерпением ждем твоего письма, думая найти в нем ответы на целый ряд вопросов, которые мы тебе поставили. Но, оказывается, ты нашего письма не получила. Как жаль! Но было большое письмо, которое мы писали вместе с Ниной — там было о ребятах, и о своих перспективах, и о многом другом. Послали мы его 3 мая с попутчицей, а она, значит, его не опустила в ящик. Мы страшно возмущены!

Сейчас очень поздно — час ночи, за день устал, писать подробно не могу.

Коротко: ребята здоровы. Младшего сына зовут Алексей, но продолжаем звать его Гага. Меня обещают отпустить на учебу осенью. Волнует вопрос о квартире, хотя бы на первое время. Что ты думаешь на этот счет? Как ты вообще мыслишь дальнейшую жизнь — будем жить все вместе или рядом? Если вместе, то будешь ли ты работать, не будут ли тебя беспокоить ребята — ведь ты не ответила. <...>

У нас все время стоит холодная погода, идут дожди. Ребятам очень мало удается гулять, а это сказывается на их самочувствии и здоровье. Я последний месяц езжу, а потом, если вопрос в крайкоме решится положительно, засяду за подготовку.

Встретил на днях на краевой партконференции Миренскую и Скотникова. Он — в политотделе Амурской железной дороги, она — в политуправлении. Сообщила пренеприятную весть — об аресте Митьки Власова, как троцкиста.

Да, дела!..

Ну, привет. Ждем ответ. Леня.

Дальше жизнь всей его семьи круто изменилась, и все планы на будущее, жизнь, которая могла продолжиться в Москве, рухнули. 9 октября 1937 года его арестовали (Алеше было полгода) за участие в антисоветской правотроцкистской организации, а 13 апреля 1938 года, в возрасте 28 лет, после мучительных допросов с пристрастием, расстреляли. Бумага из Хабаровска, последняя и самая точная в отношении его кончины, об его стойкости во время допросов пришла в то время, когда я в очередной раз приезжала к Алексею. Помню, как плакали Нина Вадимовна и Алеша и как он в то же время гордился тем, что отец никого не оклеветал и не признал предъявленную ему вину.

Еще добавление к образу или, лучше сказать, портрету Леонида Сергеевича.

Из письма жены дяди Вадима, Анны Романовны Павчинской, от 11 марта 1989 года:

...Посылаю вырезку из «Тихоокеанской Звезды». Сутурин объясняет, что это только наброски книги³. Этими «событиями» он буквально заболел; торопится и в результате допускает неточности... Обещал все исправить и написать, как все было на самом деле.

...Сутурин рассказывал, что все, видевшие Леонида, поражались необыкновенной глубиной его взгляда. А оно так и есть. В нем какая-то трагическая непредсказуемость. Будь прокляты люди, вершившие все это!

³ О Леониде Сергеевиче Решетове.

Частично обо всех перипетиях после ареста мужа Нина Вадимовна написала в своих поздних воспоминаниях.

Когда-то давно на мой вопрос, каким был Алеша в младенчестве, Нина Вадимовна, как бы вернувшись в то время, ответила улыбаясь: «Жуткий обжора и соня — с трудом отрывала его от груди. Он как чувствовал, что нас разлучат, наедался впрок. И когда за мной пришли, мне, кормящей его тогда, пришлось обвязать грудь вафельным полотенцем, чтобы не было грудницы. Так и ушла, оставив двух малышей аж на 8 лет...» Частично, насколько можно было в то время, о своем раннем детстве в Хабаровске, после ареста мамы, Алеша рассказал в повести «Зернышки спелых яблок».

Затем, после войны, была долгая дорога из Хабаровска в Березники, где после Казахстана и Соликамска его мама доотбывала свой срок. Этого периода своей жизни — детства и юности в Березниках — Алексей коснулся в своих набросках к повести «Ждановские поля».

Вряд ли многие из его собратьев по перу могли бы позавидовать его детству и вообще его жизни. И все же в те трагические времена такие качества, как доброта, бескорыстие, правдивость, совесть и открытость характера, еще не были утрачены у многих людей и не воспринимались как человеческие слабости, как недостатки. Понимание и бескорыстная доброта посторонних людей, сочувствующих чужому горю и переживаниям, думается, многим в то время помогли выстоять.

От рождения Алеша был наделен слабым здоровьем и чуткой, нежной душой (все это сохранилось в нем до конца). В годы его детства в той атмосфере выживания многим его сверстникам вряд ли были понятны его восторженное восприятие окружающего, его трогательное отношение к цветам, ко всем живым существам, которые часто оказывались беззащитными перед жестокими проделками барачных мальчишек. Его внимание привлекало и восхищало то, что мало занимало других.

В частности, его как-то по-особенному притягивала вода. Так, по приезде с бабой Олей и Беталом к матери в Боровск из Хабаровска он рванулся бежать вперед через лес, интуитивно почувствовав воду. Там действительно оказалась большая река — Кама. И позже, когда мы приходили на набережную в Перми, глядя на Каму, он всегда вспоминал Амур. Обожал в Березниках, почти исчернувшую потом, речку Зырянку и очень жалел, что никогда не видел моря. Когда, уже в Екатеринбурге, мы ходили с ним вдоль Исети, он надолго задерживался у водосброса около моста. И в Перми, и в Екатеринбурге, гуляя, мы всегда оказывались у воды — на озере Шарташ в лесопарке, в дендрарии, во время любимых наших походов на электричках за грибами.

Часто во время наших прогулок по Перми или Екатеринбургу, заглядевшись на какое-нибудь дерево, цветочек, травку, бабочку и т. д., он удивлялся и сокрушался: вот, мол, где бесплатная красота и богатство, и любой человек может всем этим любоваться, наслаждаться, радоваться, думать! И что еще нужно человеку в этой жизни, в которой все созданные людьми материальные богатства

не стоят даже какого-то неприглядного создания природы, не говоря уж о венце творения — человеке? И с неприязнью смотрел на однообразные здания — создания рук человеческих, на неразумное уничтожение творений природы ради сиюминутных своих потребностей — на деяния, не достойные человека.

Что касается детства Алеши, он пытался соответствовать окружению, быть таким же смелым и независимым, как и его сверстники. Подражание это сводилось больше к внешней стороне поведения — с восьми лет начал курить, сбегал с уроков и т. д. Как-то Алексей рассказал мне такой эпизод из детства. Часто он с друзьями бегал на рынок, где можно было им, вечно голодным, чем-то незаметно для других поживиться. Как говорил мне Алеша, он не мог украсть что-либо с прилавка. Но однажды он увидел у одного из продавцов маленькие круглые зеркала с именами на обратной стороне. Когда среди них он нашел зеркальце с именем Лены, как звали его отца, то схватил его и побежал. Продавец бросился за ним, и когда он почти настиг его, Алеша испугался и бросил зеркальце.

Он рано научился прятать от всех свои истинные чувства и привязанности, уходя постепенно в себя, и ему долгое время не давал покоя вопрос: такой ли я, как все, или вдруг, не дай бог, — не такой, как остальные. Возможно, это свойственно многим в детстве. Что-то похожее, помню, было и со мной. Все люди казались мне очень значительными, умными, уверенными в себе, знающими, как и для чего живут и что делают, и еще что-то такое, чего мне не дано знать. Любой просчет еще более усугублял неуверенность в себе. Да и вопросы задавать я, например, робела — семья большая (пятеро детей), время трудное — забот у всех и без меня хватало. И долго мучил вопрос: то ли и так ли видят и слышат окружающие?

Поводов для возникновения различных комплексов тогда у всех хватало. Устранением же их, разрешением всевозможных вопросов предоставленных себе малолеток мало кто в то время занимался как в школе, так и дома. К тому же Алексей с детства был изгоем — сыном врагов народа. Развитию одного из его комплексов — запирается в себе — способствовало и его детское косоглазие, устранением которого никто, естественно, не занимался. Пытаясь скрыть этот свой недостаток при общении с кем-либо, он старался не смотреть на собеседника. Предметом насмешек было и его детское имя Гага, которое дал ему не умеющий еще говорить старший брат Бетал. Да и здоровьем крепким Алеша не отличался. Помню, как-то он после одного из возобновившихся в 1980 году приступов эпилепсии сказал, что впервые, по словам бабушки Оли, приступ с ним случился, когда ему было годика четыре. Часто болел ангиной и аллергией. А в одном из писем матери Беталу говорилось о том, что в 17 лет Алексей лежал в больнице по поводу больного сердца. Бетал, который был лишь на год старше его, — крепкий, спортивный, бойкий, красивый, умный, уверенный в себе — всегда был его гордостью и защитником.

Алеша, с детства непохожий на большинство своих сверстников, нередко попадал, часто не по своей воле, в нелепые ситуации. Вспоминая давнишнее, он весьма выразительно изображал, как в подобных случаях темпераментная баба

Оля его «наказывала» (хотя любила и жалела его больше брата). В запальчивости она стучала костяшкой среднего пальца по его голове и приговаривала: «Тетеря, тихая сапа, урод косоглазый...» Кстати, он очень артистично, с метким, но мягким юмором умел изображать других. Думаю, из него мог бы получиться прекрасный актер, если бы не боязнь оказываться перед посторонними взглядами, в чем и сам признавался: «Бредем ли мы по наледи, / Идем ли по коврам, / Всегда тревожно на люди / Показываться нам. / И лишь от неба звездного / Не прячем мы лица — / Больные дети поздние / Любимого Отца». Он говорил, что даже когда они ставили дома — для своих — «Отелло», его трясло от волнения. И все же среди близких ему людей в хорошем расположении духа он часто куражился, изображая кого-либо. Что-то потаенно схожее можно было уловить, глядя на него в такие моменты, то с Евстигнеевым, то с Джигарханяном, то с Мягковым, то с Гафтом и даже со Смоктуновским. Он любил смотреть старые киноленты, особенно с Чарли Чаплином, обожал Мартинсона, Раневскую, Вицина, Маркова, Грибова и многих других наших и зарубежных актеров и актрис. А вообще, характером, манерами, обаянием он очень напоминал мне некоторых героев фильмов, сыгранных Марчелло Мastroяни.

К музыке относился благоговейно, понимал ее и ставил выше поэзии. Превозносил музыку и хороших исполнителей за то, что они, по его словам, могут лучше передать неуловимые для словесного выражения чувства. То, что он понимал музыку, я, наблюдая за ним, видела по тому, как он слушал и реагировал на нее. Алексей знал много песен и романсов, самозабвенно пел, хотя голос и не всегда подчинялся ему (он знал об этом, а потому не пел при чужих). У меня была книжка «В нашу гавань заходили корабли». Когда мы ее читали или смотрели телепередачу с таким же названием, он подпевал и вспоминал другие подобные песни. Обожал Вертинского, знал все его «арии» и очень похоже изображал его манеру исполнения. Любил Вадима Козина, Изабеллу Юрьеву, Аллу Баянову, Клавдию Шульженко. О Шаляпине, Лемешеве и говорить не приходится — это были его кумиры. Очень внимательно слушал Вивальди и Моцарта, Шопена, Шнитке, вообще классическую музыку. Иногда, слушая мою игру (я тогда, при нем, часто импровизировала), он подходил к пианино и порой напевал некоторые из своих стихов, я пыталась ему подыгрывать. Мы понимали друг друга, и это было здорово!

Помню, он очень хотел встретиться с Окуджавой (знал его песни, вслух читал отрывки из его прозы), когда тот был в Свердловске. Он очень сожалел, что Яша Андреев, имея возможность, не пригласил его — пусть не поговорить с поэтом, но хотя бы послушать его «вживую». Встречу с Окуджавой в студии, где был и Яша, мы потом смотрели по телевизору. Яша был в Свердловске самым близким нашим товарищем, мы, как говорится, дружили домами с первых приездов Алеши ко мне. Навещали его, когда он дважды лежал в кардиологии, и присутствовали на его похоронах, когда он неожиданно скончался от гриппа. Детство свое Алеша всегда считал самой милой и доброй порой, часто рассказывал разные грустно-смешные случаи из прошлого, о людях, окружавших тог-

да его. Подтверждением тому служит множество его стихов о детстве, когда он принимал жизнь такой, какой она была. Эта детскость восприятия окружающего мира сохранилась в нем, ставшим мудрецом, до конца.

Было время, когда говорить открыто обо всем, что на душе, было небезопасно. Потому и писал он больше для себя, выговаривая на бумаге наболевшее, и вряд ли надеясь на то, что написанное им будет прочитано, а тем более напечатано. Знаю, что многие свои стихи он уничтожал. Или просто не отдавал в печать стихов. Например, такие:

Какими были мы в начале
Своей неведомой судьбы?
Мы ничего не замечали,
Окромe маминой груди.

Потом отец ржаные крошки
Стал добавлять в мои глотки.
А там по сталинской дорожке
Носиться стали «воронки».

Теперь иные есть машины:
«Продукты», «Мебель», «Молоко»,
И только днем шуршат их шины,
А жить, как прежде, нелегко.

Нас навсегда оклеветали.
Нас запугали до конца —
И горькой маминой печалью,
И тайной гибелью отца.

В нас появилось озлобленье,
И сила воли, и упрек,
И для грядущих поколений
Святой, бесхитростный урок.

Как известно, в то время многие «теряли себя». К сожалению, и теперь это происходит с людьми, только предмет устремлений в наше время у большинства изменился... С Алешей этого, к счастью, не случилось. Он сумел выжить, не сломаться; сохранить и не побояться открыть миру свой богатейший внутренний мир, свои метания, переживания и раздумья, то, что, собственно, свойственно всем размышляющим людям. И в жизни, и в стихах своей душе, своим устремлениям и сложившимся принципам он никогда не изменял. В той «барачной» среде, где подрастал Алеша, употребление так называемой бражки было неизбежным и обычным явлением. Помню, как позже Нина Вадимовна сокрушалась, рассказывая следующее. Когда еще был жив Бетал, во время застолий Алеша заражал всех своим весельем и остроумием. Но гибель любимого старшего брата пагубно сказалась на его судьбе и привычках. Слава Богу, Алеша оказался не таким слабаком, как о нем некоторые думали, и до последнего мига своей жизни

оставался в ясном уме и рассудка и совести не потерял. О том, что мешало, а что помогало ему держаться и выстоять, можно писать очень и очень долго. Главным же для себя он считал то, что в нем как бы заложено продолжение жизни отца, брата, осуществление их надежд и чаяний.

Был еще один дорогой для него человек из семьи — это дядя Вадим (брат матери — Павчинский Вадим Вадимович). Он занимал не последнее место в судьбе Алеши и немало влиял на формирование его личности. Это он, под своим же именем, явился прообразом художника дяди Вадима в повести «Зернышки спелых яблок». Нина Вадимовна как-то говорила мне, что внешне Алексей очень походил на отца, Леонида (есть нечто странное в том, что близкие его называли Лешей, а Алексея часто, чему и я не раз была свидетелем, — Леней или Леонидом Алексеевичем), а по характеру — «вылитый Вадим». Глядя на фотографии, мне кажется, что в Алексее порой можно найти сходство то с матерью, то с отцом.

Опять же жаль, что нет обратных писем Нины Вадимовны, где, судя по письмам дяди Вадима, она рассказывала об их тогдашней жизни в Березниках, охватывающей 20-летний период (1950–1971), начиная со времени, когда Алеше было 13 лет. Но, не имея возможности привести здесь письма Нины Вадимовны, а позднее и Алеши, по письмам Вадима Вадимовича все же можно проследить основные вехи жизни Алексея, увлечения, а также творчества, мнения о котором, советы, напутствия и поддержку он получал от своего дяди. Коротко о нем.

Вадим Павчинский (1912–1971) — известный на Дальнем Востоке человек. Личность его, генетическая схожесть его характера с характером Алексея прослеживаются не только в его письмах, но и в творческой манере его рисунков, в сохранившихся статьях и заметках о нем в дальневосточной и столичной прессе.

Вот что о нем вспоминал А. Ивенский в статье «Художник. Журналист. Писатель» в «Тихоокеанской звезде» в 1972 году, написанной через год после смерти Вадима Вадимовича, к 60-летию со дня его рождения (приводится в сокращении):

В середине 30-х годов в Хабаровском ДКА (Доме Красной Армии) было создано одно из первых собраний дальневосточных литераторов...

Слева от трибуны сидел молодой человек в коричневом джемпере. На его голове красовалась целая шапка черных волнистых волос. Он ровными, четкими мазками заносил в свой альбом шаржированные портреты участников собрания. Это был художник и журналист Вадим Павчинский. Он, словно фотограф-моменталист, делал десятки остроумных молниеносных зарисовок, отражающих суть проходивших перед ним характеров и творческих особенностей выступающих... Его рисунки поразили меня своей лаконичностью и убийственной меткостью.

После войны, когда я вернулся в редакцию из армии, мне довелось ближе узнать Павчинского и познакомиться с его творчеством. Он работал в отделе культуры и быта «Тихоокеанской звезды». Писал веселые, полные сарказма и убийственной сатиры фельетоны на тему дня. В них крепко доставалось бюрократам и зажимщи-

кам критики, летунам и разгильдяям, расхитителям общественной собственности и всем тем, кто мешал нашей жизни. Вадим работал также над рецензиями на театральные спектакли, которые во многом помогали артистам в их творческой деятельности.

В годы Великой Отечественной войны Вадим Вадимович принимал самое активное участие в сатирических окнах «Удар по врагу». Он нарисовал десятки карикатур, высмеивающих фашистское воинство. В «Тихоокеанской звезде» не раз появлялись его замечательные по своей обличительной сатире рисунки, многие подписи к которым сделал лауреат Государственной премии поэт Петр Комаров. <...>

Здоровье Вадима Вадимовича, и без того слабое, резко ухудшалось, и он был вынужден уйти из редакции. В последние годы своей жизни он целиком отдался литературной работе, результатом которой явился роман «Орлиное Гнездо» о Владивостоке, где проходило его детство и рабочая юность.

Художник. Журналист. Писатель. Веселый, остроумный человек. Добрый друг, всегда готовый прийти в трудном случае на помощь товарищу, отзывчивый и сердечный...

Алешу я тоже часто видела веселым, остроумным. А примеров тому, что он был отзывчив и сердечен и всегда был готов прийти на помощь в трудную минуту, я тоже знаю немало. О том, что эти черты были присущи ему с детства, рассказывала мне, когда я еще не знала Алешу, директор березниковского музучилища Эрна Андреевна Тибелиус, наша с Алексеем общая знакомая. Она когда-то в школе, где учился Алеша, преподавала немецкий язык. И ей запомнилось, что в то голодное время Алеша, сам тощий и голодный, отдавал выдаваемые в перерыве между уроками кусочки сахара другим, более слабым детям. Еще помню, как в начале 80-х годов (я в это время была у него) ему позвонил в Пермь один из березниковских друзей. Он умолял Алексея помочь достать для своей больной раком жены авиационный спирт. В Перми найти спирт Алеше не удалось, и он, приехав ко мне в Свердловск, достал его через «всесильного» Яшу Андреева. Еще помню, как по приезде в Березники на его фестиваль, он не забыл о просьбе екатеринбургского поэта Сергея Кабакова достать какой-то аккумулятор. Помог ему в этом друг, с которым вместе Алексей когда-то работал, Костя Шестаков. И таких случаев множество.

Доброта его была естественной, не нарочитой, она присутствовала в нем изначально. Он мог отдать кому-либо из гостей любую понравившуюся тому вещь или книгу. В доме Решетовых всегда были животные — черепаха, кошка, попугай, подобранные на улице собаки. Одну из трех бывших в одно время в его доме собак, Джулю, Нина Вадимовна отдала мне. В 1984 году умер мой папа, и она сказала, что собачка будет мне и маме утешением. Джуля прожила у нас очень долго и была нашей общей любимицей. Хоронили мы ее уже с Алешей. Вообще, историй с жившими у него собаками было много. Кормить же бездомных собак и птиц было у нас в порядке вещей. А уж то, что он не брал назад даваемые кому-либо в долг деньги, я сама видела не раз. Даже перед своей кончиной, в больнице, узнав о бедственном положении одного своего старого знакомого, он попросил отослать ему в Соликамск деньги. Об ответ-

ной благодарности, о которой тот написал в письме, Алексей так и не узнал, да он и не ждал ее.

О дяде как о художнике-карикатуристе писали в московских «Известиях» 30.05.1952 в заметке «Выставка карикатур “Преступники бактериологической войны”»:

Хабаровск. В кинотеатре «Совкино» открыта выставка работ талантливого карикатуриста, художника-графика В. Павчинского на тему «Преступники бактериологической войны». <...>

Тов. Павчинский присутствовал на Хабаровском процессе по делу японских военных преступников. Там он сделал много портретных зарисовок палачей в японских генеральских мундирах, готовивших бактериологическую войну в Азии.

Выставку карикатур посетили тысячи зрителей. В ближайшее время она будет демонстрироваться в других городах Дальнего Востока.

Подробнее о Вадиме Павчинском как об опытном и значительном художнике, о его творческом письме в том же 1952 году пишет И. Рогаль. Из приводимого ниже отрывка его статьи можно заметить у Вадима то же стремление к лаконичности, емкости, выразительности, к бережному отношению к слову, что и в стихах Алексея.

Рогаль так характеризует работы Вадима Павчинского, представленные на дальневосточной выставке художников-графиков:

...Многие плакаты и рисунки В. Павчинского, в т. ч. «Хирохито», «Ямадо Отозоо», «К ответу!», были на Всесоюзной выставке советской сатиры в Москве...

О возросшем мастерстве В. Павчинского говорят его умение использовать незначительные, казалось бы, детали, чтобы подчеркнуть характерное для изображаемого персонажа. Вот предатель Ли Сын Манн, изогнувшийся на ребре окровавленного американского штыка — это единственная его опора. Марионеточный характер лисынмановского режима подчеркнут с предельной выразительностью. Другая такая же марионетка император Бао Дай изображен со скрещенным знаком доллара руками, протянутыми за очередной американской подачкой. Чан Кайши представлен уцепившимся обеими руками за кольцо, как попугай. Мы видим алчное, злобное лицо, орден, болтающийся пониже шеи, а далее... нет ничего, одна рубашка, завязанная узлом...

Однообразный, казалось бы, желтоватый фон, одни и те же серые и черные краски (цвет крыс), которыми пользуется художник для изображения зловещих фигур палачей корейского, малайского народов, организаторов преступной бактериологической войны, продажных марионеток, являются в данном случае хорошо найденным приемом. Выбранная художником цветовая гамма усиливает впечатление, указывает сразу на то, что на рисунках изображено явление, совершенно чуждое, враждебное нормальному человеческому существованию, и подлежит безжалостному уничтожению...

Но Алексей больше гордился не этими творческими успехами дяди Вадима, о которых он, будучи мальчишкой, узнавал из писем и посылаемых вырезок,

а тем, что в молодости тот был мастером и тренером по парашютному спорту, сам спускался на парашюте. Приведу фрагменты из довольно большой статьи «Мы свято верили», напечатанной в «Тихоокеанской звезде» 11.01.1977 к 50-летию ДОСААФ. Вся эта статья посвящена Вадиму Вадимовичу. Кстати, написана она тем же журналистом, Александром Сутуриным, который собирал материалы и об отце Алеши.

Вадим Вадимович Павчинский. Не хочется верить, что его нет с нами. Кажется, вот-вот откроется дверь, и появится он. Мягко улыбнувшись, скажет «Здравствуйте!» и поведет увлекательный рассказ о времени, о товарищах, своих задумках. Говорил он образно. Его память хранила множество эпизодов, фамилий из далекого, но близкого времени 30-х годов.

В нем счастливо сочетался талант журналиста, художника, писателя. Раскрыться граням таланта, по признанию Вадима Вадимовича, помогла рабочая закалка. А получил он ее в коллективе «Дальзавода», где в юношеские годы работал судосборщиком и электросварщиком.

Павчинский был членом Союза художников СССР и членом Союза писателей. Его плакаты на международные темы, сатирические карикатуры печатались в центральных изданиях. На десятках всесоюзных, республиканских и краевых выставок демонстрировались работы художника и получили высокую оценку. Высокую оценку получил и роман «Орлиное Гнездо».

В своих заметках я не ставлю цель подробно рассказать о Павчинском — журналисте, художнике, писателе. Думаю, что творческая биография, колоритная личность этого талантливого человека ждет исследователя. Я же попытаюсь поведать об одной, мало известной страсти Павчинского — парашютном спорте. В предвоенные годы, работая в «Тихоокеанской звезде», он увлекался парашютизмом. Свою любовь к спорту смелых он привил многим юношам и девушкам. По вечерам Павчинский руководил кружками парашютистов в рабочих коллективах, школах, педагогическом и медицинском институтах.

— Учителем Вадим Вадимович, — вспоминает хабаровчанка врач А. Е. Акимова, — был превосходным. Мы с интересом слушали его увлекательные беседы об авиации и парашютном спорте. После его рассказов хотелось побыстрее подняться в небо. Очень многие благодарны за его науку.

Заметка, опубликованная в газете «Тихоокеанский комсомолец» (сейчас «Молодой дальневосточник») в 1937 году, так и называлась «Ученики Вадима». Привожу ее с некоторыми сокращениями:

«Первый парашютный прыжок он совершил удачно, он дал ему уверенность в дальнейших победах. В жизни Вадима это было самым радостным событием. С этого дня он стал упорно осваивать технику воздушной культуры. Занятый на производстве, он регулярно посещал Хабаровский аэроклуб, прыгал с парашютом, учился сам и помогал другим. Парашютным спортом он овладел в совершенстве и стал инструктором-общественником. Чувство ответственности за жизни людей, которые через несколько месяцев развернут в небе упругие купола парашютов, научило Павчинского глубокому, проникновенному подходу к курсантам...

За хорошую работу общественник-инструктор парашютного спорта Вадим Павчинский премирован именной винтовкой и полевым биноклем...

Около тысячи воспитанников Вадима Вадимовича мужественно сражались на

фронтах Великой Отечественной войны. Ему же не пришлось быть с ними вместе: один из прыжков окончился для него трагически — он оказался на многие годы прикованным к постели (к этому добавился туберкулез. — Т. К.). Но он воевал с врагом, воевал оружием сатиры как художник-карикатурист.

До последнего дня своей жизни Вадим Вадимович работал кистью и пером. В новом романе ему хотелось запечатлеть памятные события 30-х годов, активным участником которых ему довелось быть. Писатель выпустил свое перо из рук лишь тогда, когда перестало биться его сердце...

Далее приведу небольшие отрывки из очень объемных писем дяди Вадима, начиная с 1950 года. По ним можно хотя бы частично увидеть параллельно текущую жизнь Решетовых. Здесь же и его отзывы на все события, происходившие у них, так как он получал от них большие и подробные письма вплоть до своей смерти в 1971 году. Кроме того, он рассказывает и о судьбе общих знакомых и родственников, а также о небезынтересных для Алеши изменениях в Хабаровске и Владивостоке.

Добавлю, что у дяди Вадима и Анны Романовны был сын Геннадий, ровесник Бетала и Алеши. Гена рос в изолированном от детей из-за чахотки доме у дяди Вадима. Отец переживал, что Гене не хватало общения с ровесниками. Окончив школу, а потом институт, Геннадий работал вместе со своей женой сначала учителем русского языка и литературы. Затем они оба работали на телевидении: Геннадий — диктором, жена — журналистом. Их сын, тоже Вадим (Дима), пошел по стопам деда, став художником-карикатуристом во Владивостоке.

Между двоюродными братьями (Геней — с одной стороны, и Беталом и Алешей — с другой) с детства шло как бы некое соперничество. Мне кажется (судя по письмам), что они старались не отстать друг от друга в своих увлечениях и занятиях и ревностно следили за успехами друг друга.

Из этих писем видно и то, что он беспокоился о своих племянниках, сестре и матери, стараясь, чем мог, помочь им. Сам собирал и посылал им посылки в Березники.

Хабаровск, июнь 1950 г.

...Гена перешел в 4-й класс. Отличник, но страшная шпана. Во время каникул ничего кроме Амура и кино знать не хочет. Он у меня учится в музыкальной школе по классу скрипки, на отлично закончил год, но ленится и не очень любит это дело... Аня работает в «Тихоокеанской звезде». Оба мы постарели. Я — особенно. В следующем письме пришлю карточки. Очень жду твоих фотографий.

Кстати, увлекаются ли ребята фотографией? Есть ли у них фотоаппарат? ... Осенью прошлого года из «Крокодила» прислал письмо Володя Костин (Владимир Иванович Костин — художник, московский друг детства отца Алеши. — Т. К.). Страшно интересовался тобой, ребятами. Получил и любезное приглашение участвовать в новом году в разделе иллюстраций «Крокодила» — присылать им свои рисунки, темы и т. д. Если все будет хорошо со здоровьем, обещали творческую командировку на конференцию художников-графиков. Маме передают привет все знакомые с Портового (там ничего не изменилось, только вся семья Севрюковых

больше не существует — все умерли). А так — там все по-прежнему: те же бабки, и так же судачат обо всем на свете...

Хабаровск, 29 сентября 1950 г.

...Что любят читать ребята? Какие книги они хотели бы получить — я хочу послать им кое-что, но не знаю какие. Книг у нас в Хабаровске много. То, что вы не сможете достать у себя, я с удовольствием пошлю по почте. Много учебников для старших классов. Не надо ли чего? О какой книге они больше всего мечтают? Постараюсь достать — только напиши.

Посылаю свою фотографию — домодельную. Фотографировал меня Геннадий. Сделал это хорошо — на карточке я получился лучше, чем в натуре. Впрочем, все фотографии любят польстить своим заказчикам, смягчить все их недостатки...

Хабаровск, 15 декабря 1950 г.

...Если верить врачам, то весной получу разрешение съездить в Москву, куда, как я уже писал, меня приглашали несколько раз. Мечтаю об этом дне, т. к. дорога лежит через ваши края, а мне так хочется повидаться с вами, дорогие мои. А чтобы дожить до этого дня, я должен крепко встать на ноги, т. е. поправиться. Медленно, с муками, но я иду к этому. И — кто знает — в мае-июне, может, побываю в чудесных ваших краях, с которых даже по двум узеньким фотографиям, присланным в твоём втором письме, можно судить в пользу Урала...

Он давал советы Алеше, увлекавшемуся рисованием и мечтавшему стать художником. Рисовал Вадим Вадимович много, научился распознавать краски по запаху, а по ночам, чтобы подработать, рисовал открытки. И чтобы не упал, если вдруг уснет, его привязывали к стулу.

...Пусть ребята рисуют больше. Рисунки очень интересные у Гаги. Он хорошо передает характеристики «героев», их настроение. Но надо, чтобы в рисунках было больше тщательности (не смешивать с зализанностью). Просто больше аккуратности, избегать лишних, ненужных штрихов, линий, пятен, если они ничего не рассказывают, а лишь загромождают рисунок.

Очень хорошо было бы пользоваться натурой. Вот, скажем, тот же рисунок Гаги «Не ждали». Как можно было бы сделать его более выразительным? А вот как. Сначала сделать эскиз, набросок рисунка. А потом по этому эскизу рисовать каждое действующее лицо с натуры. Позировать может Бетя, мама, ты, знакомые ребята. В крайнем случае, может это делать один Бетя. Пусть Гага ставит его так, как он сделал в наброске. И будет рисунок правильный, грамотный. И будут руки расти оттуда, откуда им природа повелела, а не из каких-то иных, неподобающих им мест. А когда глаз «насмотрится» на этих натуральных рисунках, можно их делать «из головы», умозрительно. Но такое можно себе позволить лет через 20–30, да и то не всегда.

Я замучил Гену — он мне всегда позирует для карикатур (он тоже рисует, и неплохо). Я и его приучил работать с натуры. Ему это страшно понравилось, и он все лето ходил с альбомом по улице и рисовал все, что под руку попадалось: заборчики, деревья, домики, машины и т. д.

Своих рисунков посылать просто не хочется — плохие они все, не очень интересные. Когда делаешь для газеты, приходится очень «облегчать» рисунок технически: делать меньше штрихов и т. д., чтобы цинкография могла сделать чистое клише. А при такой «экономии» выразительность иногда пропадает. Куда лучше выкладывают эти же рисунки, когда они висят на выставке, в рамках, сделанные красками, большим форматом... К тому же, многое я делал не вполне здоровым, а это не могло не отразиться на их чисто внешней стороне — вялая линия, дряблость в рисунке и т. д. ...

Волновало его, естественно, и будущее Бети и Гаги.

...Ты спрашиваешь насчет учебы ребят и, в частности, Бети. Мне думается, что надо бы кончать десятилетку. Твои опасения насчет будущего напрасны. В конце концов, в университете ребята уже могут обойтись и без родительской опеки. Но зато высшее образование, без которого с каждым днем будет труднее, необходимо. Было бы идеально дотянуть до вуза. А техникум — это не для таких башковитых и одаренных ребят, сама понимаешь. К тому же, через два-три года, в 9–10 классах, обнаружатся уже сложившиеся стремления, призвание. Легче будет с выбором профессии. Так что подумай и напиши — время есть — обсудим как следует этот очень сложный вопрос, в котором не может быть скороспелых, необдуманых решений...

Хабаровск, 20 ноября 1952 г.

Письма ваши получил 24 октября — как раз в день своего рождения. Мне уже 40 лет. Эти письма были для меня самым большим подарком! Особенно порадовали письма ребят. Такие молодцы выросли! Прочитав в письме Бети о том, что у него плохо с учебниками, я сразу же отправился на поиски книг. Кое-что нашел для 9-го класса. Хочу завтра-послезавтра отправить их посылкой. Напишите, каких еще книг нет и какие нужны — я достану — если не новые, то старые, у знакомых найду. Только пишите сразу. Не подражайте мне в этом деле...

...Очень рад за вас, что наконец-то вы устроились по-настоящему с квартирой. Пусть Бетя сфотографирует вашу комнату. Посмотрим, как вы там живете...

Что касается твоих сомнений насчет судьбы Алеши, то я думаю, что они напрасны. Техникум — это не так уж плохо. В конце концов, техникум ведь не конечная инстанция. Закончит его, а там, глядишь — после практики в институт доучиваться пойдет. Так что пусть пока учится, а там будущее покажет.

Беталу же надо обязательно закончить десятилетку, раз он начал это. И я несколько не сомневаюсь и не удивлюсь, если он окажется в Московском университете, где-нибудь на 32-м этаже... Парень, судя по всему и по твоим рассказам — молодец.

Напиши, какие книги нужны Бете и Алеше. Что вообще им надо? Какие рисовальные принадлежности нужны Алеше? Я пришлю с радостью: красок, кисточек и прочих рисовальных принадлежностей у меня здесь много...

Хабаровск, 9 января 1953 г.

...20 ноября послал тебе посылочку с учебниками для Бети. Получил ли он книги? Годятся ли они? Как только появятся фотоаппараты, о которых Бетя мечтает («Любитель» или «Москва»), — обязательно пришлю. Сейчас их у нас нет. Генна-

дий накопил денег, все хочет купить такой же, но были только «Комсомолец», а эта марка неважная...

Я уже писал, что дома у нас целая фотолаборатория: Генка увлекается этим делом, вроде Бети. У него тоже старенький «фотокор», который я во время войны купил за сто рублей по случаю...

Напиши, как решили с поездкой к нам в гости? Как здоровье у всех? Ты почему-то не сообщила об этом в письме. Как мама? Почему она никогда не делает хотя бы двухстрочной приписки в письме? Одним словом, пиши мне такие же большие и подробные письма, как всегда. Я с такой радостью получаю и читаю их — как интересную книгу. Ты мастерица писать интересно и подробно, чего не могу сказать про себя. Но думаю, если выйдет что-нибудь с книгой, тогда тебе будет что почитать...

В это время Вадим Вадимович готовил к изданию во Владивостоке рукопись своего будущего романа «Пламенем сердца». Герои этого романа жили в том же месте во Владивостоке, на Орлином Гнезде, где когда-то жила семья Павчинских. Теперь сложно сказать, как семья Павчинских оказалась во Владивостоке. Возможно, это произошло, когда отца бабы Оли, генерала царской армии Петрова Александра Дмитриевича, с его женой, выпускницей Института благородных девиц, в девичестве Нижарадзе Александрой Георгиевной (баба Саша, о которой писала в своих воспоминаниях Нина Вадимовна), туда послали с семьей по его службе. А может, их старшая дочь Ольга (баба Оля), родившаяся в Азургети, выйдя замуж за Павчинского, оказалась там по его служебным делам. В 1914 году он ушел на войну и не вернулся. Но тогда непонятно, как там очутились младшая сестра бабы Оли — Нина и баба Саша. В общем, ответа на этот вопрос пока я не знаю. Известно только, что мать и дядя Алексея родились и выросли во Владивостоке. В этом и последующих письмах Вадим подробно пишет о работе над романом и о своих художественных, газетных, редакторских делах, о знакомых и друзьях-писателях, в частности об известном тогда писателе Нагишкине. В этих же письмах он касается вопроса о хлопотах по реабилитации Леонида.

В 1954 году Бетал уехал в Москву учиться. Он, медалист, мог без экзаменов поступить в любой вуз, но опоздал к вступительным экзаменам и ему удалось поступить в МИГАиК (Московский институт геодезии, аэрофотосъемки и картографии) на геодезический факультет. Алеша, окончив техникум, пошел работать на калийный комбинат. Стихи Алеша начал писать рано, но делал это для себя. И оформленную им своими же рисунками тетрадку ранних стихов он сохранил лишь потому, что в ней Бетал ставил отметки за каждый его стих.

Сохранились и очень ранние рассказы Алеши, которые он посылал в Пермь на юношеский конкурс и которые были отмечены там и напечатаны.

Желая продолжить семейную журналистскую традицию, он рано начал сотрудничать с березниковскими и пермскими газетами, посылая туда свои заметки и рассказы. Штатным корреспондентом его, как члена семьи врагов народа, не могли взять. По этой же причине и Беталу по окончании школы дали не положенную ему золотую, а лишь серебряную медаль. К слову сказать, Бетал учился в той же школе и у того же классного руководителя, что и наш быв-

ший президент Б. Н. Ельцин. Алексей довольно лестно отзывался о его отце, говорил, что он много хорошего сделал по строительству в Березниках, что к нему в городе хорошо относились. В дальнейшие планы Алексея входило обучение в Литинституте, но только после того, как Бетал получит в Москве высшее образование. Все усилия Нины Вадимовны и Алеши во время обучения Бетала в Москве были направлены на его материальное обеспечение, нужны были средства и на необходимое снаряжение для его альпинистских занятий. Чтобы добыть эти средства, им приходилось очень много работать, нередко во многом отказывая себе.

В письмах 1956 года дядя Вадим поддерживает пристрастия Алексея к журналистике, а позднее и к поэзии.

Хабаровск, 29 августа 1956 г.

...Вы и представить не можете, сколько радости доставило нам ваше большое, интересное, долгожданное письмо

...Теперь я в курсе всех событий, столько у вас интересного произошло. А ведь я до сих пор представлял Бетю и Гагу совсем юными школьниками!

...Получили ли вы карточки, где сняты ты, Нина, и Леша (Леонид — Т. К.)? Они, правда, очень истрепались (когда-то Бетя и Гага играли с ними и здорово измяли). Генка сделал с них репродукции, и я послал их. По-моему, этих карточек у вас нет.

...Не буду говорить, как я разволновался, глядя на газетные вырезки, подписанные А. Решетовым. Как прекрасно! Растет достойная смена отцу, и я от всего сердца желаю, чтобы Алексей Решетов был в газете таким же пламенным журналистом-патриотом, каким был преданный своей Родине и народу газетчик-коммунист Леонид Решетов...

...Чтобы не забыть: ты, наверно, знаешь, что реабилитирован старый товарищ Леонида — Сергей Третьяков (посмертно). Сейчас в Москве создана комиссия по его литературному наследию, куда вошла и жена Третьякова — Ольга Третьякова, знаменитая когда-то актриса...

...Нина, будешь писать Вале (двоюродный брат по материнской линии Валентин Фохт. — Т. К.) — расскажи и о нас. Альбом его (В. А. Фохт серьезно занимался фотографией до того, как был репрессирован. — Т. К.) не сохранился. Его в свое время «ликвидировали» Бетя и Гага. Я спрятал несколько истерзанных фотографий. Их-то и смогу ему послать, предварительно сняв с них фотокопии для себя.

...Я тоже «болею» книгами и собираю их, и мы, отказывая себе во многом, все-таки покупаем их. Да я и не представляю, что бы делал без них в моем затворническом положении...

Валентина нежно любила Нина Вадимовна, выделяя его среди живых еще тогда своих родственников. Сохранились старые фотографии семьи Валентина и Нины Вадимовны, когда ей удалось выбраться из Березников в командировку в Томск. Там жил после реабилитации Валентин с женой Лизой, сыном Юрой и дочкой Ниной. Есть и прекрасные старые фотографии матери Валентина, Нины, сестры бабы Оли, до ареста и ее мужа — Эдуарда Карловича Фохта.

Мать Валентина и он сам также прошли через репрессии. Помню наше с Алексеем удивление по поводу «тесноты мира». Он рассказывал, что тетю Нину спасла Надя Дукельская из Екатеринбурга, которая буквально на себе волокла ее, полумертвую, во время этапа — это было до войны. Дело в том, что у когда-то очень состоятельных Дукельских моя бабушка была фрейлиной, и ранние годы моей мамы прошли в их семье. Из письма Валентина известно, что позже он вызвал мать к себе в сельскую местность в Кемеровской области. Туда он был сослан после долгих мытарств, начавшихся в начале 1941 года (на фронт его не отправили из-за фамилии), и там через год, 20 мая 1945 года, его мать умерла в кемеровской больнице.

Небольшое добавление об отце Валентина из более позднего письма Вадима Вадимовича (12.10.1969).

...Да, чуть не забыл. Во Владивостоке года три назад вышел интересный роман «Красная осень» об интервенции. Я его не читал. Если раздобуду книгу — пришлю вам. Так вот, оказывается, в этой книге упоминается Эдуард Карлович Фохт — как лучший хирург и гинеколог Владивостока...

Но вернусь к тому в письмах дяди Вадима, что имеет отношение к Алексею. Из письма от 21.09.1956:

...Нина, жду обещанные новые вырезки Алеши. Присылай, страшно интересно почитать и полюбоваться успехами еще одного газетчика из нашей семьи (я глубоко убежден, что в скором будущем Алексей будет работать в газете). Но, чтобы стать настоящим газетчиком, надобно как следует узнать жизнь. И то, что он работает и пишет — очень хорошо. Потом он сможет совсем уйти в газету. В нее он принесет не только свой литературный талант, но и знание жизни. А такие газетчики — на вес золота. Я вот наблюдаю за выпускниками институтов журналистики. Приезжают они со студенческой скамьи прямо в газету, в ее немислимую горячку — и многие теряются. А те ребята, которые до института побывали на какой-то работе, — увереннее чувствуют себя в газете.

Одним словом, я советую Алексею продолжать сотрудничество в газетах, поднакопить практический и жизненный опыт на работе, а потом — совсем в газету. Его с руками и с ногами оторвут от его техники и сделают стопроцентным журналистом в любой газете: по почерку, как говорится, видно каков газетчик растет на наших глазах. Радостно!

Кстати, и мой Генка все чаще поговаривает о профессии газетчика. Он активно участвует в школьной сатирической стенгазете (у него большая склонность к жанру сатиры). Недавно два его рисунка из школьной стенгазеты взяли для опубликования в детском альманахе, который выходит в Хабаровске. И — подумать только — заплатили гонорар, на который он купил тут же себе ботинки. Радости и изумления у него было больше, чем достаточно...

...Ты писала, что у вас у всех разные увлечения. Пластинками увлекается и наш Генка. Я с удовольствием показал бы для Бети его любимые вещи, но не знаю, что именно его волнует. Напиши. Искали для мамы мулине, но безуспешно. Нитки бывают, но за ними выстаивают обычно огромную очередь. А у нас некому постоять: Аня

целый день на работе, я почти не выхожу из дому, а Генка сидит ежедневно до 11–12 часов ночи за уроками. И все же я не теряю надежды на случай или удачу.... Учится он пока неплохо, троек боится и не заводит. Как пойдет дальше — не знаю. Живет он в обстановке трудноватой и это положительно сказывается на формировании характера. Хорошо бы, чтоб из него человек вышел, а не стилиста какой-нибудь.

Ну, ничего! Придет время, и мы меньше будем переживать за характеры, профессии и личные судьбы наших детей: они все-таки у нас становятся с каждым днем все более взрослыми.

...Сейчас сажусь за упаковку томика С. Есенина. Посылаю его для тебя и Алеси — ты писала, что ваше увлечение — книги. Он вышел в нашем Хабаровском книжном издательстве. Дело в том, что Хабаровску и еще двум-трем городам разрешили выпустить большим тиражом эту книгу. В нее включили почти все стихотворения, опубликованные в вышедшем недавно в Москве 2-томнике. (Ты его, наверно, видела, а может, он и есть у тебя.) Наше издание было разослано во многие города Сибири и Дальнего Востока. Я влюблен в стихи Есенина, помню и твою любовь к ним — с этой изумительной поэзией у нас много светлых юношеских воспоминаний. И я думаю, что ты не обидишься на меня за этот скромный подарок. В книге этой нет двух стихотворений из московского 2-томника. Вот они (далее переписаны Вадимом стихотворения «Колокольчик среброзвонный...» и «Узоры». — Т. К.). За исключением этих двух стихотворений, хабаровское издание включило все остальные произведения, многие из которых не публиковались с 1927–30 гг. Обрати внимание на поэму «Черный человек». Я уверен, ты еще раз перечитаешь эти изумительные стихи и вспомнишь Владивосток, наших друзей, все то хорошее, что осталось в тех далеких невозвратимых годах молодости. Ты пишешь о тоске по родным местам и завидуешь мне: я сижу на одном месте, в Хабаровске. Но вся беда в том, что я до сих пор не могу забыть Владивосток. Я ведь и книгу-то пишу об этом милом городе, который люблю и о котором мечтаю... (Далее идут подробности об изменениях в этих городах, об общих знакомых, о книге, которую он писал в это время. — Т. К.)

...За годы работы над книгой я основательно изучил историю Дальнего Востока. И думаю, вся историческая канва книги мне удалась. Если будут публиковать в газете отрывок, выберу такой, где присутствует эта самая история — изумительная, суровая, неповторимая. А вы напишите мне свое суждение. И ругайте за каждую слабую строчку. Впрочем, у вас есть теперь свой писатель и критик. Он-то знает, о чем я пишу...

Следующие письма 1956–1957 годов почти полностью посвящены хлопотам о реабилитации семьи Решетовых, поискам его статей и брошюр, других публикаций, касающихся Леонида Решетова, как на Дальнем Востоке, так и в Москве. Из писем видно, как все более ухудшается здоровье Вадима, но он продолжает работу по созданию своей книги о Владивостоке.

...С книгой дело немного застопорилось: решил дописать несколько глав в первой части — о Владивостоке. Эта работа оказалась совершенно необходимой, и лучше ее сделаю по своей доброй воле, чем по указанию критиков, которые обрадовались бы, увидев мой промах. Удивительное дело эта литературная работа. На дворе — 56-й год, а я брожу в 30-х годах и слышу своих юных товарищей, мне само-

му — 19 лет. И это так хорошо и здорово! А сейчас пришлось забраться во времена еще более давние — 1860-е годы: история возникновения Владивостока, годы его ранней юности. Материал интереснейший и хочется, чтобы он не потускнел в книге...

Хабаровск, 7 октября 1958 г.

Здравствуйте, дорогие мама, Ниночка и Алеша! (Бетал в это время продолжал учебу в Москве. — Т. К.)

Наконец-то собрался с силами и сел за это письмо, которое должен был написать куда как раньше. Но на мою бедную голову, как говорится, постоянно обрушиваются бесконечные болезни: я за последние три года попал в какой-то грипповой шторм со всеми вытекающими из сего последствиями. То, что произошло со мной весной этого года, было уж совсем некстати и очень уж скверно. Судите сами: в начале мая, когда у нас перестали топить, я стал вылезать на солнышко — на улице было теплее. И в одну из таких вылазок схватил простуду + обострение ревматизма, который, кстати сказать, крутит мои суставы вот уже около шести лет. И пошло — слег в постель до половины августа, получив осложнение на легкие, бронхит. (Это при постоянном-то у него кровохаркании. — Т. К.)

И вот в это время, когда настроение мое было не из важнецких, получил я письмо от Алеши! Для меня это было самым хорошим лекарством: радостно видеть, как идет в гору человек — талантливый человек, и я не побоюсь даже в данном случае за литературную красоту, в смысле крыльев за плечами. Но это именно так: Алеша обладает этими крыльями настоящего таланта, и укрепить они должны в большом литературном полете. Пользуясь терминологией авиационной (все-таки шесть с лишним лет я имел дело с воздухом), теперешние опыты Алеши я расцениваю как самостоятельные полеты на учебном самолете. Но полеты эти настолько оригинальные и уверенные, когда можно с учебного самолета пересаживаться на большой самолет. Уже не страшно: крылья крепкие, и рука крепкая.

Говорю это не из желания похвалить или бездумно похвалить — не сознавая ответственности за подобные похвалы, можно же сбить с толку человека. Но в данном случае речь идет о подлинном таланте, и вы сами это отлично понимаете. А я — человек не без опыта в этом деле: в газете научился среди тысяч литературных опытов определять истинно талантливых. Многих способных ребят вытянула в литературные ряды именно газета. И дружба Алеши с газетой — очень хорошее дело...

Пропуская много интересного, приведу еще один отрывок из того же письма, касающийся сына Вадима и начальных опытов Алексея в прозе:

...Гена вырос, возмужал, учится хорошо, но никаких особых привязанностей к газетному или литературному ремеслу не обнаруживает. Рисует. И даже не боится иногда посылать в Москву. 8-го июля «Комсомольская правда» напечатала его рисунок, который вскоре был перепечатан журналом «Новое время». Журнал выходит на 8-ми языках, и Геннадий хотел приобрести все образцы этих журналов (лестно увидеть свою фамилию на шведском или испанском!). Но в Хабаровске удалось купить журнал только на немецком языке. Я посылаю вам вырезки. Печатается он регулярно в институтской многотиражке, но это, как правило, рисунки-однодневки и особого интереса не представляют. Недавно вышел из печати юношеский альма-

нах «Рассвет», № 2, в нем также напечатан рисунок Гены (как и в 1-м выпуске), но в продажу выпуск еще не поступил...

...Теперь о дальнейшей судьбе нашего начинающего писателя Алексея Решетова. Мне думается, что Алеше надо серьезно решить вопрос о Литературном институте. У него на это есть все основания. Надо собрать все напечатанное и написанное и предъявить это туда, как свидетельство о возможностях и таланте человека. Я считаю, что главный экзамен уже выдержан.

Пусть в первых вещах не все еще гладко, но разве в этом суть?! Попадись эти рассказы опытному литератору, и он сразу определит в них талант. А искры его сверкают повсюду: тут и кусочек сырого теста, съеденный, чтобы было смешно (великолепная деталь, не только чисто внешняя, но и психологическая!), тут и ветер, спутавший ненароком рубаху с парусом, и хороший язык старика, воевавшего за Колчака, и дятел-телеграфист, и многое другое. Я не знаю, за что критиковали «Мостик», но мне кажется, что рассказ хороший, мне понравился. Может быть, не следовало так основательно противопоставлять ребят взрослым, но это легко исправить. А рассказ, повторяю, хороший. И «Пропавшая сумка» — трогательная история, в описании которой — никаких натяжек, все естественно и мотивировано.

Проживет наш Алеша несколько лет — и кругозор станет шире, мысли глубже. Проживет еще — новые горизонты. И так — всю жизнь. А начинает он свою жизнь литературную с шагов уверенных, широких, «саженных». Хорошо! Доброго пути, как говорят...

Что касается перехода в газету, то здесь, мне кажется, надо решить так: если есть возможность поступить в Литературный институт — надо бросать все и подумывать об этом. Но бросать работу ради газеты сейчас, может, и не стоит. Работа на производстве дает будущему писателю значительно больше наблюдений и материала, чем газетная, хотя там тоже большой простор. В газету надо идти с производства тогда, когда хорошо изучишь и постигнешь его, научишься работать с людьми. Лучшие газетчики — всегда из людей заводских, знающих жизнь не по книжкам, а по своему опыту. И если Алеша чувствует, что этот опыт уже приобретен — надо идти в газету. Она позволит расширить, обогатить этот опыт изучением объектов, людей, фактов. В газете масштабы шире и возможности — неограниченные.

Но лучше всего — Литинститут! Для него у Алеши сейчас есть все: производственный опыт и литературный опыт. А это немало для будущего студента-литератора... <...>

Напишите, как живет и учится Бетя. Как Людмила? Жду вашего письма.

Предлагаю еще раз: давайте писать не «на вес», как говорит Алеша, не на количество, а чаще, даже открытками не пренебрегать. А то сидим, копим мысли месяцами и в результате находимся в полном неведении друг о друге. А послать страничку-две — неудобно: надо отвечать на большое письмо большим же. Умоляю, не откладывайте ответ. Мне-то простительно: я трошки приболел, потому и молчал — не хотелось писать унылое письмо. А вы забываете обо мне иной раз на целый год. Пишите маленькие письма, и это будет хорошо — знать о вашей жизни.

Настроение у меня хорошее. Подбадривает положительная оценка рукописи людьми опытными и знающими. Правда, когда будет все закончено, предстоит выдержать неизбежный бой: обсуждать будут здесь и в Москве обязательно. А среди пишущей братии есть немало людей сердитых, любящих иной раз треснуть начинающего дубинкой. Но я готов к отражению подобных ударов: опыт есть — ругали в свое время

в газете предостаточно, но и хвалили немало. Как-нибудь сдюжим. Если опубликуют где-нибудь главу или отрывок из книги — пришлю вам на суд и критику...

Хабаровск, 21 августа 1959 г.

...Вы представить не можете, как обрадовало меня ваше отношение к моей книге. Но вы — снисходительны, и в этом нет ничего удивительного: родственные чувства. Сам же я готов всю книгу переделать, но это уже поздно — вещь попала к читателю. Но первые отклики меня успокоили: книга нравится, ее пока не ругают. Напротив, в «Т. З.» и во владивостокском «Красном знамени» напечатали более чем похвальные рецензии. Особенно порадовали меня владивостокцы, т. к. роман касается истории города, который через год будет отмечать свое столетие... Как мне стало известно, в Москве, в Союзе писателей РСФСР, роман оценен положительно. Весьма вероятно, что на него будет небольшая рецензия в одной из литературных газет... И еще одно. В Москве, в Союзе писателей осенью состоится совещание по прозе, напечатанной в журнале «Дальний Восток». Там будет идти речь и о моем романе. Авторы пригласят. И если я сумею попасть в санаторий и подлечиться, то не исключена возможность моей поездки в Москву. Вот уж тогда я заверну к вам! Но не буду загадывать: боюсь, что и на этот раз все может рухнуть.

Меня очень обидело то, что вы не приняли моего скромного перевода. Я очень рад, что у вас дела идут хорошо, но мне очень не по себе, что деньги пришли обратно. Будто уж не могли отпраздновать на всю сумму!

Но я очень рад за всех вас: за ваше отличное душевное самочувствие, за мир и дружбу, царящие в вашей семье, за Бетьку, ставшего отныне человеком семейным, за Алешу — человека изумительно одаренного и талантливого, которого ждет, я уверен в этом, прекрасное литературное будущее! Какой он молодчина! Молодчина, Алеша! Как приятно смотреть на сына, сумевшего так счастливо повторить в себе отцовские таланты.

А вот мой Геннадий что-то не радуется. Рисование забросил, литературных способностей я в нем не обнаруживаю. Хочет быть «просто учителем» русского языка. Это очень хорошо. Но почему же, находясь рядом с отцом, который мог бы его кое-чему научить, не использовать эту возможность? Дело тут, конечно, не в желании или нежелании, а в отсутствии искорки.

А в нашем Алеше она есть. И я верю, что она разгорится в огонек подлинного таланта, настоящего писательского мастерства. Я завидую ему и советую: нигде, никогда не бросать перо, писать больше, но уже сейчас определить себе жанр, делать упор на него, не разбрасываться, распыляя силы. Жанровое разнообразие — это от возраста. Всем нам хочется и в прозе, и в поэзии себя испробовать. Но, пробуя, нащупывая путь, выбираться на главную дорогу. Такой дорогой для Алеши мне видится проза: очень уж она у него хороша. Да и возможностей у мамышки-прозы куда как больше, чем у поэзии. Но эти мои советы не воспринимайте как категорические.

...Жизнь моя не очень полна событиями. Книга — не в счет. Она живет со мной уже много лет (я много раз начинал ее и бросал, пока не дотянул с ней до такой несчастной поры, когда свалился и потерял силы). Вот и пришлось писать, лежа в постели... Да и этот вариант, опубликованный, тоже слабоват. Но, как говорят на Кавказе: «сюда есть (показывая себе на грудь), а наружу не может». Иными словами: замысел всегда бывает красочнее, интереснее и ярче исполнения.

...Напишите, как устроился Бетя. Что слышно о Лешиной (Леонида) маме, жива ли она? Как здравствуют Костины? Где ты, Нина, была летом? Ездил ли куда Алеша?

Не сердитесь на меня и не ругайте за это сумбурное, несобранное письмо.

Целую крепко-крепко моих дорогих и желаю вам счастья, радости, сил и здоровья. Главное — здоровья! Ваш Вадим.

Следующее письмо Вадим Вадимович писал, не зная еще, что погиб в Москве Бетал. Бетя повесился в общежитии в день рождения своего отца, перед самым рождением своей дочери Олеси, перед получением диплома. Страшное потрясение и огромная неожиданность для всей семьи! Это событие, с так и не прояснившимися причинами его, повлияло на всю остальную жизнь Алексея. До этого он не раз был в Москве у брата и бабы Тани, о чем часто рассказывал. Так как я помню немного из этих его рассказов, то не буду пытаться здесь их воспроизвести. Отмечу лишь, что это было счастливое для него время, полное всяческих надежд. Один из его приездов был во время проходившего там Всемирного фестиваля молодежи и студентов. По окончании учебы Бетала в Москве туда настраивали поехать и Алексея — учиться в Литинституте. Этого не случилось. Но возвращусь к письму.

19 февраля 1960 г.

Дорогие мои, мама, Нина, Алеша!

Ждал, ждал обещанное письмо, да так и не дождался. А ведь вы обещали мне прислать продолжение вашего критического обзора книжки. Нина в прошлогоднем письме разобрала только первый номер журнала, а о том, как обстоят дела со вторым, я так и не узнал. Может, потерялось письмо? Сообщите, поищем. Ничего я не знаю и о том, получили ли вы отдельную книжку (красная такая). Книгу мою издали в пожарном порядке, быстро — за два-три месяца. Взяли журнальный вариант. Я, правда, успел кое-что оттуда выбросить, кое-что вставить. Но времени у меня не было, очень торопили, и в книге осталось много досадных повторов, на которые я не могу смотреть спокойно. Хочется править и править... К двум большим рецензиям добавилась и положительная, в целом, оценка Д. Нагишкина в «Огоньке» — строк 15... (Далее продолжение разговора о книге, об ухудшающемся здоровье. — Т. К.).

...А теперь вот о чем. Хотя ты и будешь злиться и потребовала от меня, чтобы я об этом не говорил, но я все-таки, несмотря на твою позицию, хочу договориться вот о чем. После выхода книги, расплаты с долгами, приобретения для меня самых необходимых вещей — пальто, обуви, костюма, после затыкания дыр, образовавшихся за эти годы, у меня осталось 14 тысяч рублей. Из них 3–4 тысячи — неприкосновенные — на путевку в санаторий. Живем мы очень скромно, и деньги поддержат нас крепко, дадут возможность мне хотя бы с год не работать для радио и газеты, а отдохнуть и подлечиться, доработать книгу. Я хочу прислать вам хоть немного. Разрешите мне это сделать. Я хотел послать без разрешения, но помню прошлогоднюю выволочку. Ну как, можно? Если вы позволите, то, может быть, я куплю здесь что-нибудь из того, чего нет у вас! Напишите!

Вы обещали мне фотографию вместе с Беталом. Пришлите обязательно. Как он живет? Как семья? Что слышно о Валентине? Сообщите мне его адрес.

Целую вас всех, родные мои — мамочка, Нинуся, Алеша! — Вадим.

Телеграмма, на следующий день после этого письма:

20 февраля 1960 г.

Дорогая мамочка! Сегодня утром получили потрясающее известие о смерти нашего родного Бети. Только вчера я послал вам письмо, в котором спрашивал о нем и его семье, а сегодня — эта страшная, невероятная весть!

Ты прекрасно понимаешь, что всякие слова в утешение совершенно бессильны, да и вряд ли уместны. Они не в состоянии помочь горю. И все-таки я позволю себе обратиться к словам. Утрата невыразимо тяжела, но надо помнить о том, что остался на свете маленький человечек — дочь Бетала, и ради нее, ее будущего необходимо беречь себя, держать свое сердце в руках, не поддаваться разрушающей силе отчаяния.

Я верю и в твои, Ниночка, стойкость и мужество, и призываю вас всех не падать духом. Мы здесь поддержим вас в этом. Вадим.

PS.

Мы ходим с ума, теряясь в догадках и предположениях о причинах гибели Бети. Напишите, когда Нина и Алеша приедут из Москвы.

Кончина Бетала была для семьи трагедией, и переживания, связанные с ней, на этом не закончились. Все мысли и действия семьи теперь были направлены на то, чтобы не потерять вслед за Беталом и Алексея, испытавшего в связи с этим происшествием тяжелейший и продолжительный психологический шок... Алексей часто проводил дни и ночи на кладбище, где был похоронен прах брата. Потом его забрали в психиатрическую клинику, где его выхаживала Черепенина Тамара Моисеевна. Дочь Бетала, Олеся, родившуюся через три дня после гибели отца, баба Оля и Нина Вадимовна для спасения Алеши упростили мать девочки, Людмилу, оставить пожить у них. Вскоре мать Олеси, Людмила Павловна, вышла вторично замуж за хорошего человека и родила дочь Лару. Олеся осталась в семье Решетовых под надзором Людмилы и ее родителей, как оказалось, насовсем. Всю любовь к Беталу обе бабушки — Оля и Нина — и, конечно же, Алеша обратили теперь к Олесе. Она стала главным человеком в семье, оказалась в центре внимания, забот и надежд всех членов семьи, как отца, так и матери. Родовались каждому проявлению ее природных задатков, особенно в рисовании. Дома она занималась музыкой, изучала английский и французский языки. Долго в семье запретной была тема смерти Бетала. И одной из важных забот было, как бы не передалось ей от отца стремление к суициду в трудных ситуациях, а потому всегда шли навстречу ее устремлениям. Желание Алексея поехать в Москву, чтобы учиться в Литинституте, не осуществилось, так как его жизнь, в том числе и личная, стала полностью зависеть от нее. Под каким-то негласным запретом была и его женитьба. Впоследствии Алексей рассказывал, что его связи с женщинами терпели, но о женитьбе и появлении в семье посто-

ронней женщины, которая могла помешать воспитанию Оли (имя Олеся дочь Бетала не любила, и дома ее называли Олей), не могло быть речи до тех пор, пока Олю «не поставят на ноги». Ему говорили сначала, мол, потерпи, пусть Оленька пойдет в школу, потом — пусть закончит первый класс и т. д. В общем, чужих женщин, проявлявших интерес к Алексею, в доме не жаловали. Сначала он «бунтовал», даже на какое-то время уходил из дома, а потом ради памяти брата и чтобы не огорчать родственников, смирился.

Московская бабушка Алеши и Бетала — баба Таня, мать Леонида, Татьяна Степановна, родилась в Москве 16 декабря 1885 года, умерла в тот же год, что и Бетал, 3 сентября 1960. Судя по отзывам Алексея, ее любили меньше, чем бабу Олю.

А теперь о последующем периоде после смерти Бетала, опираясь опять же на письма дяди Вадима.

Хабаровск, 15 марта 1960 г.

Здравствуйте, дорогие мои, мама, Ниночка, Людмила, Алеша и Олечка!

...Нас всех страшно огорчила болезнь Алеши. Но мы верим, что все обойдется хорошо. Я разговаривал со знакомыми врачами: говорят, что нервные потрясения здесь излечиваются без следа.

Берегите Алешу, дорогие мама, Нина и Люда! Сделайте все, чтобы он вновь встал в строй.

Мы от всего сердца поздравляем молодую маму с рождением ее дочки Олечки. Пусть она растет здоровая, жизнерадостная. Нас много — взрослых, и мы постаремся, позаботимся, чтобы она не чувствовала себя сиротой.

Дорогая Ниночка! Тебе я должен был сказать больше всего в утешение. Но пойми меня, родная моя, что нет у самого сил и слов. Пойми меня сердцем. Я очень горюю и потрясен страшно. Ни одно горькое известие не ранило меня так сильно, как твоя телеграмма, а позже — письмо, из которого мы узнали все подробности. Верю в твое мужество, твой характер, выдержку и волю. Я почувствовал это из твоего письма и знаю, что ты сумеешь все преодолеть и сохранить семейный коллектив таким же дружным и сплоченным, каким он был всегда в твоих умелых и добрых руках.

Теперь о делах, связанных с лечением Алеши. Мне кажется, что ты разрешишь прислать еще денег — той тысячи, что я отправил, будет мало. Напиши, и вообще, не скрывай своих материальных затруднений. Сейчас ведь ты не работаешь, а расходов прибавилось.

Аня бежит по магазинам в поисках каких-нибудь хороших вещиц для Олечки: капюшончиков, ползунков и прочего. Но у нас такие вещи бывают нечасто. Но бывают, как только появится что-нибудь — пришем. Присылайте короткие весточки о здоровье Алеши...

Хабаровск, 23 декабря 1960 г.

Здравствуйте, дорогие мои, мамочка, Ниночка, Алеша, Люда, Олечка!

Что-то забыли вы меня, совсем забыли. Ждал, ждал обещанного письма — не дождался. Ждал обещанную книжку Алеши («Нежность». — Т. К.) — тоже не получил. вспомните обо мне, напишите.

Сколько радости доставил мне рассказ Ани о встрече в Москве с Ниной и Алешей! Я все время заставляю ее припоминать подробности, штрихи — все, чтобы представить вас.

Аня говорила, что Алеша будет выступать в «Юности». Я не получаю этот журнал. Правда, можно достать в редакционной библиотеке. Пока ничего нет. Как там дела в журнале, а главное — что слышно с Литинститутом? Будет ли Алеша поступать и когда?..

...На меня недавно обрушилась мощная дубинка московского критика В. Дорофеева, отругавшего мою книгу в газете «Литературная жизнь» за 11 октября. Правда, «Литературная газета» за 11 декабря сообщила, что критика эта была несправедливой, и Д. В. Дорофееву об этом сказали на совещании, обсуждавшем наш журнал «Дальний Восток». Но, поскольку материал совещания полностью не публиковали, он оказался в стенограммах, а газету читали многие, и в умах у них представление о моей книге будет самое неважное...

Хабаровск, 5 ноября 1961 г.

...Почему же вы ничего не пишете? Как я ждал хоть маленькой весточки от вас. В канун майских праздников я свалился с тяжелой пневмонией и пролежал до августа. Еле выходили: 16 суток был на кислороде. А потом операция — в слюнной железе образовался огромный камень, прямо-таки булыжник. Вот его-то мне и вырезали...

...Если наберусь сил, закончу маленькую повесть о деревне 30-х годов, о нашей политотдельской работе в газете. Прототипом героя этой книги будет Леонид.

Дорогой Алеша! Твою книжку с восторгом читал Павел Халов. Собирался написать о ней рецензию в наш журнал, но там решили, что об уральских поэтах писать не обязательно, поскольку о своих, дальневосточных, не всегда пишут. А письмо тебе так и не написал. Он сейчас заканчивает новую повесть (прочно перешел на прозу). Стихи твои ему очень нравятся, он тут всем о тебе рассказывает. Жду от тебя, Алеша, литературных новостей.

Недавно отметил свою 49-ю годовщину, скоро, если буду жив, отмечу полвека. Подумать только! Разве не вчера я был молодым и не седым? Ну, да не будем хныкать. Годы-то — это не так страшно. Было бы здоровье...

21 февраля 1961 г.

...Дорогой Алеша! Большое спасибо за книгу, за сердечную надпись. Не стану описывать своей радости, когда перелистывал эту маленькую голубенькую книжку, в которой каждая строчка исполнена нежности и любви к родной земле и людям, что живут и украшают эту землю. Описать такую радость невозможно! Это ты, конечно, понимаешь.

Как хорошо, что в литературу пришел умный, наблюдательный, влюбленный в человека, в красоту русской земли поэт! Поздравляю, дорогой мой Алеша, от всего сердца поздравляю! И благодарю: за те хорошие чувства, которые рождаются в душе после твоей книги!

Стихи твои напоминают акварельные миниатюры. Нежные, прозрачные краски, скромный, словно бы застенчивый рисунок. А всмотришься, вдумайся, и акварель превращается в звучную, добротную живопись словом и чувством...

Ты не смейся над моими неумелыми, неуклюжими строчками. Но я пишу, не задумываясь над правильными формулировками. Хочется по-человечески просто сказать, что стихи мне страшно понравились, взволновали до слез, заставили многое вспомнить, о многом задуматься, о многом взгрустнуть. Беден мой язык, когда речь заходит о лирических чувствах. Только сердце способно выразить их...

Я твердо уверен, что «Нежность» будет твоей отличной и надежной путевкой в большую литературу. Голос у тебя свой, без чужих интонаций. Душа — чистая, открытая всем человеческим бурям, радостям и горестям. Глаз — художнический, отлично видящий форму, цвет, умеющий отбирать для рисунка главное, отбрасывать несущественное. Рука — уверенная, умелая. И скромность — самое основное достоинство каждого настоящего художника. Скромность никогда не позволит выпустить на свет Божий произведение без огня и таланта. Скромность художника заставляет его постоянно сомневаться над творением своего ума и рук. Так рождается суровое, критическое отношение к собственному труду. Такое критическое сомнение увеличивает силу художника и никогда не породит неуверенности.

После «Нежности» я снова возвращаюсь к старой теме — о твоей учебе в Литинституте. Не откладывай и не затягивай этого дела. Но, может, я заблуждаюсь? Может, и в самом деле лучше вот так: работать, как ты, и писать? Какие у тебя на этот счет планы? Напиши. А если появятся рецензии — пришли мне...

...Я читал твою книжку и думал с болью в сердце, что ее никогда не увидит ни Бетал, которому она посвящена, ни отец, чей прекрасный талант и горячее сердце возродились в его сыне. Пусть эта первая книжка будет памятником твоему отцу и твоему брату. Памятником вечной любви к ним...

Хабаровск, 12 февраля 1962 г.

...Дорогой Алеша! Если бы ты знал, как обрадовало меня твое письмо и известие о твоих великолепных успехах в литературе. В добрый путь! Я верю, что ты будешь большим и серьезным писателем. Некоторым молодым литераторам, способным и талантливым, мешает стать крупной величиной в литературе головокружение от неумеренных похвал и самовлюбленность. От этого ты, как я понимаю, застрахован: человек ты скромный, строго к себе относишься и не подвержен головокружению от положительной критики.

Но тут я должен оговориться. Скромность твоя не должна превратиться в интеллигентскую застенчивость и робость. Робость также погубила не один талант.

Дерзай! Пиши, посылай свои стихи на суд больших мастеров, не бойся, если они и поругают за что-то. Говорили тебе послать стихи А. Твардовскому — обязательно пошли. И, кроме того, пошли Н. Асееву. Он страстный защитник и поклонник молодых поэтов и уже не одного вывел на широкую литературную дорогу. Так вот: за дерзание, против робости и нерешительности! Кстати, почему бы тебе не послать свои стихи в «Комсомольскую правду», на конкурс? Да и в журнал «Юность» пошли. Там теперь новый редактор — Б. Полевой. И, конечно, новые порядки. «Звездным маршрутам», как я думаю, пришел конец.

Твою книжку «Нежность» и новые стихи читали недавно студенты-филологи (учатся с Геной). Понравились очень. Просили передать тебе наилучшие пожелания. Такие же пожелания передает тебе Павел Халов (читал ли ты его нашумевшую повесть «Всем, кто меня слышит?»).

Повесть свою («Зернышки спелых яблок». — Т. К.) присылай. Прочту и поделюсь своими мыслями. Но посылай ее не в таком конверте, как посылал последнее свое письмо. Он весь в дороге порвался в клочья, и почта вынуждена была заклеить в прочную оберточную бумагу. Сделай из толстой бумаги конверт (просторный) и в нем посылай рукопись.

...Что касается моей книги, положительных оценок много, но, как ты уже, наверно, заметил, все они имеют одну и ту же фразу: «может стать». Теперь она стала лучше, но свет, видимо, не увидит...

...Ты, Алеша, не ленись и чаще берись за перо. И для того, чтобы писать стихи, и для того, чтобы написать мне хотя бы страничку...

...Алеша, ты спрашиваешь о Геннадии. Он сейчас с женой на практике в вечерней школе на небольшой железнодорожной станции возле Комсомольска-на-Амуре. Потом госэкзамены и распределение. Куда пошлют, не знаю. Но в Хабаровске мест нет. Да и ребята не очень-то хотят оставаться в городе под надзором родителей. Гена по-прежнему рисует, иногда печатается в газете. Но мало. Последний курс самый трудный, времени не хватает...

Из поздравительной первомайской открытки, 1962 года.

...Особо желаю Алеше успехов в делах литературных. Ты очень талантливый человек, Алеша. И я не боюсь сказать тебе это, т.к. знаю, что ты не из той категории литераторов, которые после первых успехов перестают быть требовательными к себе. Пусть же расцветает твой добрый талант всем нам на радость и народу на пользу!

Привет вам от Ани, Гены и Вадима-младшего (родился внук. — Т. К.) с мамой Аллой...

Хабаровск, осень 1962 г.

Дорогие мои! Что же вы не пишете? Ни одного ответа на мои письма. Ведь я даже точного вашего адреса не могу узнать. Аня была на газетных курсах в Москве, звонила Костину, и он сказал ей новое название вашего проспекта. Прежде всего — жду от вас письмо — сообщение о здоровье.

Чем занимается сейчас Алеша? Будет ли участвовать в Московском совещании молодых писателей? Когда придет обещанную повесть? Вопросов много. Но ответьте хотя бы на самые важные.

В 6-м номере журнала «Дальний Восток» помещена на последней странице обложки большая реклама журнала «Урал». В ней в числе постоянных авторов «Урала» названа фамилия Алеши. Я очень рад этому.

Если, Алеша, ты поедешь на совещание, обязательно познакомься с Риммой Казаковой, передай ей мой привет. Она очень хороший, отзывчивый человек. Познакомит тебя со многими друзьями, Евтушенко, например⁴. Если на совещании будет Павел Халов, познакомься с ним. Он тебя высоко ценит, хорошо знает тебя по моим рассказам. Знаком ли ты с Леонидом Григорьевичем Шкавро из Свердловска? Этот поэт долгое время работал в Хабаровске, я ему писал о тебе.

Теперь подробнее о наших новостях.

⁴ Алексей говорил мне о большом, на шести страницах, письме Евтушенко, адресованном ему, которое у него «увели».

Первое. Женился Геннадий. Он окончил пединститут, уехал в деревню на работу. Преподает литературу, русский язык, историю (он учился на историко-филологическом факультете). Жена его, Алла, — славная девушка, училась на том же факультете, тоже учительствует с Геной. Рано женился (в 23 года), но ничего не поделаешь: у родителей дети почему-то не всегда спрашивают разрешения и совета. Впрочем, мы довольны — девочка очень хорошая, с прекрасным характером. За 5 лет нашего знакомства мы присмотрелись к ней, привыкли и сумели друг другу понравиться.

Второе. Здесь, в Хабаровске, с большой теплотой и сердечностью отметили мое 50-летие. Было много всего... Передали по радио, телевидению. Даже московское радио в утреннем выпуске последних новостей сообщило об этом деле. Ко дню рождения сделала мне подарок и Москва. После 3-летних переработок, еще с 1959 г., книга моя принята и утверждена тематическим планом 1963 г. Работать было страшно трудно — все время подводило здоровье.

...Теперь это уже почти новая книга, название тоже новое — «Орлиное Гнездо». Издают ее массовым, 100-тысячным тиражом. Алеша, конечно, знает, что это не очень выгодный в материальном отношении тираж. Он оплачивается в 15 тысяч экземпляров. Но уже издание (вернее — переиздание) в Москве для автора очень почетное дело: это признание его труда, высшая его оценка.

Алеша, поторопись с ответом. Если ты поедешь на совещание, я напишу Римме Федоровне о тебе. Пусть она возьмет шефство над тобой. И пришли мне все, что напечатал в последнее время...

PS.

Недавно в «Литературной газете» (за 27 октября) была напечатана статья Бориса Агапова о Сергее Третьякове. В ней он рассказывает о газете «Вызов», который Третьяков выпускал в одном из колхозов Северного Кавказа. Я написал большое письмо Борису Николаевичу Агапову о нашем «Вызове», о редакторе его Леониде, о его дружбе с Третьяковым и о том, как Сергей Третьяков посылал нам письма со своими советами. Рассказал о статье в «Правде», об издании комплекта «Вызова» в Москве — словом, обо всем. Дал ему ваш адрес. Возможно, он вам напишет. Судя по всему, Б. Агапов пишет воспоминания о Третьякове...

Хабаровск, 12 апреля 1963 г.

...Прежде всего, можете меня поздравить: я уже дед. 2 апреля появился на свет внук, мой тезка (родные его называют Дима. — Т. К.). Рановато, конечно, но что же поделаешь... Сейчас Алла (жена Гены) живет со своими родителями в Находке. Будет там до начала учебного года. Как только закончатся занятия в школе, Гена поедет к ним до осени. А потом все трое — снова в село: надо отработать диплом, да и устроиться в городе сложнее.

Ты, Ниночка, помнишь, наверное, Находку. Это та самая бухта, где останавливалась та самая знаменитая «Вьюга», когда вы работали на рыбозаводе Людзяна. Теперь весь этот район застроили многоэтажными зданиями. Здесь крупнейший в стране международный порт Находка. И большой город...

Раз уж речь пошла о друзьях и знакомых, еще несколько имен и фамилий.

Я уже писал, что после выхода книги меня нет-нет, да и разыщет какой-нибудь старый знакомый или родственник. Однажды я получил письмо из Узбекистана, из

2. Ката-Курган. Там живет двоюродная сестра папы. Анна Аустиновна Павчинская-Иванова, пенсионерка, бывшая учительница, рассказывала очень много интересного о многих Павчинских, о существовании которых я даже не подозревал. И вот что любопытно: все они либо писатели, либо художники, либо музыканты. Одна из дочерей Анны Аустиновны — 20-летняя Аня — талантливая художница. Прислали ее карточку, и мы все тут не могли глаз оторвать — такая красавица.

Тетка рассказала о моем деду, моем, Алеши, прадеде. Это был героический человек, польский революционер, сосланный в Сибирь после лишения всех прав, достоинства, имущества. Он прожил там трудную жизнь сельского писаря....

А в прошлом году пришло письмо от Марии Ивановны — жены Вадима Владимировича, нашего отца и отца Гали. Она — старуха-пенсионерка. 27 лет работала учительницей. В 1937 г. похоронила Галю. Бедная девушка! А я все думал, что когда-нибудь она даст знать о себе — ведь след ее потерялся в 1937 году. Сейчас у Марии Ивановны 2-я дочь — Мара, она техник-нормировщик, живет в Башкирии, но личная жизнь ее сложилась неудачно, и она хочет уехать оттуда.

Отискался недавно еще один родич — сын папиного брата Владимира Владимировича, художника, о котором тепло писал К. Левин в книге «Записки из плена» — документальной вещи, вышедшей в начале 30-х годов.

А недавно умер еще один брат папы — Николай Владимирович Павчинский, работавший с 1919 г. в Грузии редактором республиканской газеты «Заря Востока». Хочу разыскать его жену — Нину Георгиевну. Она грузинка, прожила с дядей Колей всю жизнь. За свою жизнь он отредактировал очень много книг грузинских писателей. Я встретился в Хабаровске с одним журналистом из Тбилиси, который много лет работал вместе с Николаем Владимировичем. Он рассказывал, что Н. В. очень любили в редакции, что он был очень талантливый, сердечный, отзывчивый. Ане, когда она ездила в прошлом году на курсы в Москву, один журналист из Грузии рассказал, что хоронил Николая Владимировича весь Тбилиси. Я немного переписывался с ним, но потом, когда пошли мои бесконечные болезни, переписка оборвалась. Но хватит о грустном.

...После моего письма к Борису Агапову о «Вызове», который редактировал Леша в Михайловке (Леонид. — Т. К.), о дружбе его с Сергеем Михайловичем Третьяковым, о переписке между ними, о статье в «Правде», я получил письмо от Ольги Викторовны Третьяковой (его жены). Она была очень взволнована: Леонида помнит очень хорошо. Она была рада узнать, что живы его родные и близкие, обещала побывать у Кузина и матери Леша в Москве, а также разыскать в Публичной библиотеке статью о «Вызове». Ольга Дмитриевна прислала мне вышедший недавно в «Советском писателе» однотомник Третьякова, очень хочет, Нина, установить с тобой связь. Ты напиши ей сама — она, судя по всему, очень одинокий человек, но с очень сердечным, я бы даже сказал, веселым, энергичным характером. Я думаю, что она поможет Алеше в разыскании материалов о Леониде и его произведениях. К величайшему сожалению, здесь многое утрачено. Я, когда работал над книгой, переписывал комплекты, но многих номеров не хватает. Очерк о Блюхере, кажется, если мне не изменяет память, есть в подшивке. А вот замечательный рассказ «Елка дедушки Тараса» о Павле Постышеве не сохранился ни в одной подшивке потому, что был опубликован в новогоднем номере, а первые номера газетных комплектов утрачиваются быстрее всего. Я, например, думаю, что «Елку» можно было бы предложить Детиздату. Но разыскать ее придется в Москве, в Публичной библиотеке.

*Я смотрел комплекты начиная с 1933 г., но не нашел, а за 36–37 годы — они непо-
многие годы вообще потерялись. Я ведь не имею ни одного номера «Вызова»,
а комплект, изданный как учебное пособие, у меня не сохранился: он был у мамы
(бабы Оли), а потом либо ребята, либо соседи куда-то задевали. В библиотеке крае-
вой его тоже нет.*

*Может, он сохранился у Владимира Ивановича (Костина. — Т. К.)? А может
быть, есть у Татьяны Степановны?*

*Недавно я получил письмо от одного научного работника: он пишет книгу по
истории литературного движения на Дальнем Востоке. Кто-то ему из наших писа-
телей сказал обо мне, а он спутал меня с папой и прислал целую анкету — пришлось
вспомнить все, вплоть до сборника «На перепутье». Я написал ему, объяснил, что
автором этого сборника был отец, а не я. И этот деятель как-то сразу утратил инте-
рес ко мне, а, судя по всему, он хотел получить данные «из первых рук». Сборника
этого у меня, Алеша, нет — нет, и не было. Он потерялся так же, как и комплект
«Вызова».*

*Снова возвращаюсь к твоей, Алеша, просьбе. Ты спрашиваешь, где и что публи-
ковал папа. Основные его выступления — очерки, фельетоны в «Тихоокеанской звез-
де» с 1933 по 1937 год. Был один очерк о машинисте паровоза в 1936 г. в сборнике о
стахановцах. Вот что я помню и знаю.*

*...Ты, Алеша, пишешь, что рад за мою книгу. Спасибо, дорогой мой. Я, правда,
ею недоволен: многое не получилось, не вышло так, как было задумано, из-за моих
болезней. Очень хотелось написать новую, другую книгу. Понемногу работаю. Но
дела еще много, и мои расчеты вряд ли сбудутся: чем больше думаю над новым
материалом, тем отчетливее вижу, как много времени и сил он потребует... Я по-
прежнему член Союза художников, но уж давно не участвовал в выставках...*

Вот и все о себе. И не волнуйся, Алеша, за мое здоровье — я не сдаюсь.

*Все мы от чистого сердца радуемся твоим литературным успехам. И не огорчай-
ся, если мало пишется. Много пишут только ремесленники. А художник, настоящий
художник, — измеряет сделанное им не количественными категориями.*

*Очень хорошо, что навели порядок в литературном хозяйстве и поставили на
свое место кучку снобов и «гениев». Они, между прочим, и вам, художникам из про-
винции, мешали основательно и не давали дороги...*

*Жду с нетерпением твоей повести. И вообще — присылай все, что публикуешь.
Кстати, почему не посылаешь в центральные издания — в журналы «Молодая гвар-
дия», «Юность», в «Комсомольскую правду»? Посылай — сейчас вас, уральцев, си-
биряков, будут печатать. Там основательно потеснят «обойму», дадут дорогу всем
талантам, из всех городов и краев наших.*

*Совсем забыл: до чего же я злился на Евтушенко за название его сборника «Не-
жность». Ведь у тебя на два года раньше книжка вышла! Не верю, что это было
«совпадением»...*

*И еще один вопрос: думаешь ли ты об учебе в Литинституте? За годы работы
над книжкой у меня установилась переписка с некоторыми московскими писателя-
ми. Очень хорошо отнесся к моей книжке Владимир Германович (Лидин, Лилин,
Липкин?). Он подарил мне две свои последние книги — «Дороги журавлей» и «Люди
и встречи». Очень советую почитать — замечательный рассказчик, наблюдатель-
ный, умный, лиричный. И — романтик...*

В это время, в 1963 году, произошло важное для Алексея знакомство с Верой Нестеровой, ставшей впоследствии Болотовой. Не могу не написать об этом, так как познакомились мы с ней в Перми в 1980 году и дружили вплоть до ее кончины 17 октября 2003 года, а значит, я в курсе многого из того, что связано с ней, Виктором Болотовым и Алексеем. Была я знакома и с ее родителями и некоторыми родственниками. Тогда, в описываемое время, она училась в Пермском химико-механическом техникуме (такой же техникум, только в Березниках, закончил и Алеша). Ей было 17 лет, и в Березники она приехала на практику, а также собирать материал для своей дипломной работы. Учеба в техникуме мало занимала ее, и училась она ради получения специальности. Делать чертежи и писать диплом помогал ей Алеша. Отец ее, учитель литературы, привил Веру любовь к слову — она писала стихи. В Березниках Вера жила в одном общежитии с другом Алексея Юрием Марковым, известным тогда в городе исполнением бардовских песен и тоже писавшим стихи. Он-то и ввел ее в круг своих друзей и знакомых, занимавшихся поэзией и посещавших местное литературное объединение. Среди них были Алеша, Витя Болотов, Саша Медведев (московский теперь поэт), братья Акуловы, Володя Михалев, его молоденькая, тогда будущая, жена Валя («Вишенка», как ее тогда называли) и другие. Многих из того богемного окружения Вера притягивала своей яркой внешностью, чистотой молодости, сочетаемой с открытостью, редким для того времени независимым характером, а также восторженным, загадочно-непонятым восприятием мира.

Как мне рассказывал Алексей, она по совету кого-то из друзей пришла к нему домой со своими стихами, чтобы показать их ему. Его не оказалось дома, дверь ей открыла баба Оля. Когда Алексей пришел домой, она с порога сказала ему: «Где тебя носит, к тебе приходила такая красивая девушка!» Алеша при этом отмечал, что Ольга Александровна редко кого-либо из женщин хвалила за красоту. О том, как она готовилась к этому визиту к Алеше, рассказывала мне потом и Вера, делилась она своими воспоминаниями и мыслями также и о многом другом. Естественно, что, познакомившись с ней, Алеша, и не только он, не мог не влюбиться без памяти.

Алексей познакомил с ней вернувшегося из Литинститута своего уважаемого и обожаемого друга Виктора Болотова, который тоже очаровался Верой. Образовался любовный треугольник. Она металась, не зная кому из них двоих отдать предпочтение. Ситуация мучила всех. В отличие от смелого, напористого Вити, Алеша считал себя недостойным счастья связать свою судьбу с Верой. В какой-то степени, думаю, здесь сыграла роль и семья Алеши, он чувствовал себя ответственным за воспитание маленькой дочери брата. Случилось так, что и Вера выбрала тогда Витю, и Алексей «уступил ее в целостности и сохранности» (его слова) самому своему почитаемому другу. Но и Алешу Вера не упускала из виду. Повышенное внимание к нему потом тягостно сказало не только на жизни Алексея, но и ее мужа. Письма Алексею она начала писать, находясь еще на практике в Березниках, затем, после ее окончания, из Перми и Владивостока — туда она уехала к служившему во флоте Вите. На дружбе же Алеши и Вити эта

история не отразилась. Переписка велась Алексеем с обоими — и с Виктором, и с Верой. Они поженились во Владивостоке, и оба делились в письмах к Алексею сначала своим счастьем, а затем последовавшим охлаждением отношений. Письма шли и после ее возвращения в Пермь, куда приехал к ней после окончания службы Витя. В Перми они окончательно обосновались, и здесь у них родилась дочь Белла. Назвали ее в честь Беллы Ахмадулиной. К ней в Москву незадолго до этого ездила Вера.

Письма Алексея к Вере и Виктору, судя по их сетованиям в письмах к нему, были не часты. Последнее письмо Алеши к Вере датировано 1976 годом. Из писем Алексея видно, что он направлял и ободрял Веру в ее творчестве, хлопотал о публикации ее стихов, а после того как любовный пыл Вити поулегся, жалея, подбадривал ее в трудных житейских ситуациях. Постоянно напоминая Алексею о себе своими письмами, делясь подробностями своей жизни с Витей, она, естественно, держала на привязи Алешу и мучила Витю.

Забегая вперед, замечу, что после смерти Вити Вера довольно часто писала нам в Екатеринбург, а когда Алеши не стало — мне. Письма эти Алеша не читал, отмахивался от них и останавливал меня, когда я пыталась читать их ему вслух. Он досадовал и называл все это надоевшей ему игрой — надуманными, взятыми из книг мыслями и чувствами, а письма — графоманией. Но мне думается, что она действительно относилась к нам как к единственным оставшимся после смерти Вити родственным душам. Я знала, как порой нелегко было Вере с Виктором и Беллой. В письмах последних лет она сетовала на одиночество, на то, как плохо ей без Вити, который понимал ее лучше всех. Да и Белла давно уже и трудно жила у мужа в Германии и приезжала к ней редко. Но Алексея приходилось уговаривать подойти к телефону, чтобы поздравить Веру хотя бы в день ее рождения. Безусловно, она сыграла определенную роль в Алешиной, да и моей жизни, но его раздражало ее повышенное внимание к нам. Я не спрашивала, как и когда оказались у Алексея те его ранние письма к Вере — то ли он сам их забрал когда-то, то ли она их ему вернула.

Очень интересны, на мой взгляд, письма Виктора к Алексею из Владивостока. Судя по Витиным письмам, такой искренности, открытости и доверительности можно только удивляться и по-хорошему позавидовать поэтам и вообще творческим людям, особенно в наше время. Жаль только, что неизвестно, где сейчас, после смерти Веры Болотовой, находятся Алешины письма к нему. Но ходили слухи, что она хотела продать их.

Став достоянием многих, история сложных взаимоотношений Веры, Алеши и Вити муслировалась и подогревалась разными домыслами, которые Алексей не считал нужным опровергать. И когда я, читая ее письма, заикался о том, что из них с Верой могла бы сложиться счастливая пара, он отвечал, что слишком долго пытался разобраться в ней, в своих чувствах. Он убеждал меня в том, что в ранний период влюбленности его волновали и занимали ее сны и фантазии, иногда он даже восхищался нестандартным ходом ее мысли. Алексей старался помочь Вере как начинающему литератору, давал читать хорошие книги. Со

временем ее «восторги» стали слишком однообразны, навязчивы и могли бы его, да и кого угодно, свести с ума. С трудом, но все же он поборол свое чувство к ней, «скрутил» себя, не желая быть третьим в жизни Виктора и Веры. К тому же, ему не нравилось то, что она была уверена и продолжала настаивать на том, что она — женщина, предназначенная ему свыше. Но общаться с человеком и выговариваться ему в письмах — это одно дело, а жить с ним — другое. Не раз я слышала от Веры, что общество Алексея она может выдержать не более двух часов (возможно, это было кокетство). Витя же, хотя и был в житейском плане непрост, но был ей ближе и дороже. Она была для него терпеливой и самоотверженной женой, но почему-то ей нужны были оба — два преданных ей поэта-поклонника. Следует добавить, что женским вниманием Алексей не был обделен. Поклонниц у него всегда хватало. И до, и после Веры у него были увлечения, легкие флирты, как он говорил, и это буквально выводило ее из себя.

Этого факта отношений Алексея с Болотовыми я коснулась, чтобы было понятнее все происходившее в то время с Алексеем — по хронологии писем дяди Вадима.

Хабаровск, конец 1963 г.

...О себе я писал много, а о вас почти ничего не знаю. Ну, хотя бы о литературных делах Алеша. О его повести, о дальнейших планах (о Литинституте, в частности).

Недавно, совершенно случайно, узнал из «Литературной России» о великольном твоём успехе, Алеша. Как мы все рады за тебя, если бы ты только знал! Ведь это же — признание. Большое будущее ждет тебя — я верю в это, и желаю тебе успехов на твоём трудном творческом пути.

Напиши подробно о семинаре. Я так и не понял из статьи Сергея Наровчатова — был ты в Москве, или он просто ссылался на твою книгу?

...Мне часто пишет Ольга Викторовна Третьякова, интересуется творчеством Алеша. Я давал вам ее адрес. Писали ли вы ей?

...Ничего не написали вы и о моем внуке. Понравился ли он вам? Правда, на той фотографии он совсем еще кроха — смешной и некрасивый. Ему 8 месяцев. Недавно его увезли в Находку к бабушке. До этого весь октябрь пролежал у нас, болел воспалением легких. Я что-то совсем вышел из строя, даже на улицу не выхожу — ничего не могу поделать со своей одышкой. Но этот, 1963 год, был легче предыдущих — совсем почти не лежал в постели. К тому же, этот год принес мне радость — вышла книга в Москве. Получили ли вы книгу? Если прочтете — напишите хоть несколько слов, как она выглядит сейчас. Знаю, что не очень удалась. Но переделывать написанное труднее, чем писать новую книгу...

Хабаровск, март 1964 г.

...Если бы вы знали, какую радость принесло мне долгожданное письмо, в котором была Алешина книга! Наконец-то получил, хоть короткую, весточку от вас. А главное — повесть, которую так ждал: мне о ней очень тепло писал Леонид Григорьевич Шкавро.

Повесть потрясла меня всем: содержанием, отличным языком, грустным юмором. Ты, Алеша, должен (не в ущерб поэзии, конечно) писать прозу. Обязательно! И приступай к фундаментальной вещи. Ты ведь уже накопил достаточно жизненно-

го материала, хотя и молод по возрасту. О чем будет твоя следующая повесть (или роман), судить трудно, но я думаю, что он будет обязательно. Может, на материале, тебе близком. Ты знаешь производство, жизнь химиков — об их устремлениях, любви, радостях и горестях. Подумай всерьез, может, стоит взяться.

Я на днях пришла тебе письмом с подробным разбором твоей повести. Так много такого, о чем хочется говорить долго и обстоятельно: множество открытий человеческих характеров, словесных находок, наблюдений умного и зоркого художника. А пока — этот первый отклик.

В тот день, когда пришла твоя книжка, Арсеньевский переулок (бывший Портовый) хоронил Маришу: она умерла от рака печени. Человека на земле нет, но он остался жить в книге...

Обязательно пошли свои стихи на конкурс «Комсомольской правды». Л. Шкавро напечатал там свои «Руки». Пошли свою повесть С. Маршаку (адрес возьми в справочнике писателей).

От всего сердца поздравляю тебя с вступлением в Союз писателей. Приняла ли Москва в Союз? Ты меня, как говорится, обогнал: я пока не член Союза, т. к. с одной книгой не принимают. Правда, сейчас идут разговоры, чтобы я подал заявление: книга издана в Москве, а это имеет немаловажное значение. Посмотрим, как будет дальше.

...Послушай моего совета: обязательно поступай в Литинститут или (в крайнем случае) не 2-годичные литературные курсы. Обязательно! Ты теперь имеешь право: член Союза.

...У нас весна — время семейных юбилеев. В марте день рождения мамы. 1 апреля — у Ниночки круглая дата (посылаю свою карточку, я на ней тоже в день 50-летия). 2 апреля внуку Вадиму исполнится год. (Геннадий прислал его карточку для прабабушки Оли). А 3 апреля — день рождения Алеша. Давайте, дорогие, в эти дни поднимем по маленькой рюмочке — кому что можно: вина, сидро, а то и «пуку-банку»!

Хабаровск, 11 апреля 1964 г.

...Алеша, за мной письмо с подробным разбором «Зернышек...». Но и ты в долгу: не прислал обещанного письма о своих делах. Думаешь ли ты поступать на заочное отделение Литинститута? Там прием заявлений и рукописей до 25 мая.

Посылаю обещанные копии статей Леши, «Елку дяди Тараса», копию статьи о Блюхере. Кстати, получил ли книжку о Маяковском с письмом Леонида (стр. 122) к нему в ней? Я послал еще зимой. Здесь недавно была жена Блюхера, интересовалось всем, что написано о нем.

Приняли ли тебя в Союз? Как живет Олечка? Как здоровье мамы, как чувствуете себя вы все?

...Сегодня первый раз выходил на улицу после болезни. Было тепло, 15 градусов. Хочу быстрее набрать сил, чтобы успеть в этом году кое-что сделать. Я так отстал от тебя, Алеша...

1965 г., из новогоднего поздравления

...Недавно один бывший политотделец прислал из Москвы комплект «Вызова», изданный в 1934 г. Всесоюзным институтом журналистики как учебное пособие.

Если хотите — сниму копии со статьи и приказа, которые там напечатаны, и пришлю. Но обязательно напишите об этом. А то ведь я не знаю даже — получили ли вы те копии и статьи Леонида. Может, они потерялись, я ведь не знаю ничего.

Дома у меня обстановка такая, что писать почти не удастся: Гена переехал из села в город и живет с нами. Внук очень подвижный и шумный, да к тому же весь год часто болел: корь с тяжелыми осложнениями, три раза воспаление легких. Родители оба работают, мальчика носят в ясли. Гена работает на телевидении, его туда пригласили. Из школы ушли.

Как дела у Алеши с Союзом в Москве? С кем сейчас Олечка? Как вы живете? Почему не пишете?

Желаю вам всем всего хорошего и радостного в Новом году!

Хабаровск, 1965 г.

Дорогой Алеша! Это очень хорошо, что ты все-таки преодолел, как ты говоришь, «инерцию молчания» и порадовал меня письмом. Что-то редко вы, дорогие мои, беретесь за перо. А без писем худо.

...Еще раз спасибо за новую книгу. Радуюсь и горжусь! Книга очень понравилась и мне, и всем, кто ее читал. И в Союз тебя примут, не сомневайся в этом. Вот только одного не пойму: отчего ты не «стучишься» в центральные журналы? Неужели неудача с «Юностью» так тебя разоружила? Посылай смелее. Посылай сам, или пусть посылает ваша писательская организация. С ее «визой» скорее могут решить эти дела.

Желаю тебе творческого самочувствия с новой повестью. Учти, что неудачи и ошибки большинства «молодых авторов» в том, что в их произведениях бродят инфантильные, бездеятельные герои. Пусть они будут в твоей книге взрослыми. И пусть не в комнатном мирке кипят их страсти, а на широком поле созидательной жизни, работы. Пиши героя с самого себя, с товарищей, которые рядом...

Далее, в последующие годы, известия от дяди Вадима приходили реже, и письма его стали менее объемными. Часто послания его ограничивались праздничными поздравительными открытками. Связано это с его ухудшившимся здоровьем. К другим тяжелым заболеваниям добавилась новая болезнь — артрит, из-за которой все труднее стало держать в руках перо.

Октябрь 1965 г., из поздравительной открытки

...Меня очень тревожит ваше давнее молчание, Как вы живете? Здоровы ли? Как работается, пишется? Ничего не знаю! А когда долго нет писем — тревожно. Может, со здоровьем плохо, а вы скрываете — чего только не передумаешь. Умоляю просто: напишите хоть несколько строчек. Нельзя так долго и упорно отмалчиваться!

У меня есть кое-какие изменения, новости. Вот они. Гена получил квартиру и переехал. Квартиру дали, учитывая мое никудышное здоровье (легкие, камни в почках и т. д.), чтобы я смог лечиться, работать, отдыхать. Я с 1954 г. почти не выхожу из дома. Во Владивостоке собираются издать в 1967 г. (вернее переиздать) «Орлиное Гнездо». Было бы замечательно! Хочется, чтобы в родном городе увидели книгу, которая ему и посвящена.

Алеша, хочу подробно узнать о твоих литературных делах. Не ленись, брат, опиши все, ничего не пропуская....

PS. Все дома на Портовом (Арсеньевском) переулке снесли: там будут строить 12-этажную гостиницу. Домика, где мы жили, уже нет. И слава Богу, как говорится. Все, кто жили здесь, получили прекрасные квартиры в только что построенных крупнопанельных домах, со всеми удобствами.

28 декабря 1965 г., из новогодней открытки

Дорогой Алеша! Если бы случайно не натолкнулся на передовицу в «Известиях», то, наверное, не так уж скоро узнал о большом событии в твоей жизни — приняли тебя в Союз писателей. А ты все еще молчишь, скромничаешь!

Поздравляю, дорогой Алеша, поздравляю от всего сердца, обнимаю тебя, целую и желаю новых и новых книг. Радуюсь за тебя безумно!

Я недавно перечитал «Белый лист». Ты — молодчина! Не буду многословно распространяться о художественных достоинствах этой чудесной, обаятельной, мудрой книги — ты сам знаешь, какова она. Но все-таки еще раз повторяю: молодчина!..

Март 1966 г.

Дорогие Ниночка и Алеша! Поздравляю вас с днем рождения, хочу от всего сердца пожелать здоровья и радостных успехов во всех делах.

В ближайшие дни выйдет сборник к 50-летию «Тихоокеанской звезды». Я сразу же пошлю его вам. Первоначально он планировался в большом объеме, но потом его сильно сократили, и те авторы, которые написали крупные материалы, вынуждены были перекраивать и сокращать написанное. Я писал в последнюю очередь и потому не стал увлекаться подробностями, а изложил только факты: хотелось на малой площади дать больше фактического материала. Получилось сухо, «анкетно», но зато без сокращений, которые всегда портят написанное.

Очень волнуюсь: получили ли вы фотографии Леши (Леонида. — Т. К.). Я послал их с уведомлением о вручении, но оно вернулось без отметки о вручении, и его отправили в Березники вторично.

Зима у нас прошла очень тяжело. Аня болела гонконгским гриппом с осложнением (воспаление легких), и мне одному пришлось управляться по хозяйству. Правда, Гена, когда был свободен от дежурства, приносил продукты. Жена его в это время отсутствовала: сдавала зимнюю сессию (она учится на телевизионном факультете во Владивостокском институте искусств). Потом заболели внук и Гена. Я чудом избежал болезни, но вымотался и устал страшно. И, конечно, ничего не мог делать. А так хочется закончить книгу о наших михайловских делах: в ней все наши друзья и близкие нам люди.

С ноября и по сей день не был на улице. Сейчас уже теплеет, и я через недельку отправлюсь на скамеечку возле дома — на ней я «отдыхаю» с 1954 года.

До сих пор не знаю о судьбе Алешиной книги в «Уральской библиотеке». Была ли она, как о том сообщала «Литературная газета»?

...Напишите о себе — о маме, Алеше, Олечке, о здоровье, работе — обо всем. Я же ничего о вас не знаю! С 1960-го года вы почти ничего не пишете о себе.

Не ругайте за почерк — у меня плохо с правой рукой, даже кружку с чаем держать трудно. Единственная связь с миром — письма.

...Многие Павчинские пишут мне из разных городов страны, люди интересные и талантливые. И все — наши родственники. Часто получаю письма от сестер Любомудровых. Не помню, писал ли я вам о Жоржике и Кате. Они живы и здоровы...⁵

1966 г.

Дорогая Ниночка, посылаю книги и вырезки из «Т. З.», одну из них стоит, пожалуй, послать Володе Костину. Но это — на твое усмотрение. Не сердись, что рассказ о Леше (Леониде. — Т. К.) получился суховатым. Сборник сокращали сильно, и многие материалы в него вообще не попали, о многих людях в книге даже нет упоминания. О Леониде же говорилось не только в «Т. З.», но и по радио и телевидению. Напиши мне свое мнение о книжке. До сих пор не знаю, получила ли ты обратно фото Леша и репродукции с этого фото, а также сборник «Годы и строки», вышедший года два назад к 50-летию «Красного знамени». В нем тоже говорилось о Леше, как о редакторе «Вызова», на стр. 51 и 101. Автор книги — старейший журналист «Красного знамени» Савва Иванович Марченко (Ниночка должна его помнить — он приезжал в Михайловку). Было бы хорошо, если вы ему напишете по адресу: Владивосток, Ленинская, 43. Редакция газеты «Красное знамя»...

Р. С.

Недавно Хабаровская телестудия отметила свое 10-летие. Одним из ее «ветеранов» является и наш Гена — он работает там уже 6 лет. Посылаю вырезку из «Т. З.» — посмотрите на своего внука и племянника на его рабочем месте. Узнать, правда, трудно — ретушь.

Алеша! Перечитай мои письма, выпиши из них хотя бы некоторые вопросы и ответь на них. Прошу тебя...

Хабаровск, 1966 г.

...Сегодня получил от Ольги Викторовны Третьяковой письмо и книгу Л. Шилова «Здесь жил В. Маяковский». На 122 стр. приводится письмо Леонида В. Маяковскому. Судя по отточию, перед абзацем, начинающимся со слов «Общее впечатление», письмо приводится с сокращениями. Мне кажется, что тебе, Алеша, надо написать автору и попросить его снять копию (или фотокопию) с этого письма. Книга выпущена издательством «Московский рабочий», а подготовлена библиотекой-музеем В. В. Маяковского. Адрес: Москва, пер. Маяковского, д. 15/13, Льву Ивановичу Шилову (автор книги).

Из письма Ольги Викторовны я узнал, что мать Леонида умерла (Третьяковой об этом сказал Костин). Не знаю, говорила ли тебе его мама о большой дружбе Решетова с Маяковским. У Леонида была книга стихов Маяковского с дарственной надписью. Где она сейчас — не знаю.

...Ольге Викторовне напишите обязательно. Она, между прочим, ждет Алешу в Москве: Костин сказал, что он должен приехать на совещание молодых писателей. Ольга Викторовна ошибочно думает, что это с ним вы были у них. Я написал, что в Москву вы ездили с Бетей.

Дня за три до письма из Москвы пришло письмо из Свердловска от Леонида

⁵ Письмо Жоржа, присланное Анной Романовой в 1977 г., печаталось в «Каме-3».

Григорьевича Шкавро. Он пишет, что стихи у Алеши «с трудом вырываете», сожалеет о том, что Алеша мало пишет. А за его творчеством он следит внимательно. Вот выдержки из его письма: «В первом номере “Урала” поглядите его три лирических стихотворения. В “Уральском следопыте” хотят дать Алешину повесть. Витя Астафьев привез ее и говорит, что “здорово”! Дай Бог». Кстати, что слышно о ней? Напишите.

Шкавро вместе с письмом прислал и сборник: «День уральской поэзии» — 1962 г., в котором есть и твои, Алеша, стихи. Пиши, дружище, больше, веди наступление на большие темы — ты давно вырос и набрал сил для них.

Уверен, что ты будешь в числе участников следующего совещания молодых. Готовься к нему уже сейчас. Пиши и печатайся. Посылай в Москву — в «Комсомольскую правду», «Молодую гвардию», «Юность». В добрый путь!

Алеша! Ты обещал написать о том, как проходило обсуждение твоего творчества. Жду. Обещал ты и повесть. Но ее я уже, наверное, прочитаю в журнале. Впрочем, решай сам. Если есть свободный экземпляр — пришли. Я прочитаю и верну в целости и сохранности...

Хабаровск, 5 марта 1967 г.

Дорогой Алеша! С огромнейшей радостью в сердце прочитал информацию «Литературной газеты» о выходе «Уральской библиотеки» и о том, что в числе ее первых книг — твои избранные стихи. Поздравляю! Это большой праздник не только твой, но и мой: я люблю твои умные, искренние, человеческие книги. И очень горжусь тобой, твоими заслуженными успехами!

А вот мне с «Библиотекой дальневосточного романа» не повезло. «Орлиное Гнездо» стояло первым по списку. Во Владивостоке его набрали, сверстали, подготовили к печати. Но в издательстве не оказалось переплетных материалов. А Москва установила определенный стандарт для всех книг «Библиотеки» и отступить от него не разрешила. И тогда издательство выпустило книгу массовым тиражом в простом переплете (50 тысяч) и пообещало года через два-три выпустить ее под грифом «Библиотеки». В плане она стоит, но сроки отодвинулись далеко.

...Савве Ивановичу Марченко я написал о тебе и Бете. Он хорошо знал Решетова. Может, у тебя есть уже комплект «Вызова»? Он был у матери Леонида в Москве.

...Недавно в «Т. З.» проходила практику одна будущая журналистка с Урала. Она хорошо знает тебя, Алеша, очень любит твои стихи, восторженно о них рассказывала в редакции...

Хабаровск, 1968 г. Из новогоднего поздравления

...Понравилась ли вам книга «Годы и строки»?...

Хабаровск, 27 апреля 1969 г.

...Может быть, письма мои не доходят, т. к. вы сменили адрес — волнуюсь страшно и не знаю причин вашего затянувшегося молчания.

...Недавно был у нас Валентин (Фохт. — Т. К.). Пошел я открывать дверь и вижу — стоит Валя! Постаревший, повзрослевший, но он! Мне казалось, что ему все еще 18 лет. Прилетел из Томска в командировку по служебным делам. Он очень спортивно выглядит, занимается туризмом, много путешествует летом на мотоцик-

ле (очень увлекается этим спортом). Юрик его отслужил в армии, в танковых частях, женился и остался в Белоруссии. А Ниночка (дочь) учится в медицинском — очень красивая девочка, Валя привез нам карточки. Целую неделю мы говорили и не могли наговориться. Я до сих пор живу под впечатлением этой встречи. Он тут нас сфотографировал, обещал прислать карточки и вам. Жалуется, что вы и ему не пишете.

Да, кстати, я разыскал карточку 1918 г., на которой сфотографированы Нина и я — пришлю ее вам.

...Валентин рассказывал, что в Томске недавно телевидение передавало беседу о стихах Алеши, показывало на экране какую-то его книгу, но Валя не запомнил какую. Посмотрел у меня все книги Алеши и сказал, что вроде бы это была книга «Белый лист». Томское телевидение говорило, что это очень, мол, хороший, интересный поэт, но мы, к сожалению, мало о нем знаем...

Нина, где ты сейчас работаешь? Не собираешься ли на пенсию? Как твои литературные дела?..

Хабаровск, 10 сентября 1969 г.

...Ниночка, ко мне обратилась «Тихоокеанская звезда» — помочь найти фотографию Леонида для книги. Может, у тебя есть? Тогда пришли срочно: в начале октября все материалы уже сдают в типографию. И напиши коротко справочку о Леше (Леониде. — Т. К.) — тут ничего найти не могут. Очень прошу — не задержи. Пусть тебе поможет Алеша.

...Вчера получили письмо от Валентина. Он молодец: деловой, собранный, целеустремленный. Он уехал с Лизой (женой. — Т. К.) в туристическую поездку на Украину...

12 октября 1969 г.

Дорогая Ниночка! Если бы ты знала, как я обрадовался коротенькому твоему письмецу!

...Небольшую статью о Леше (Леониде. — Т. К.) для юбилейного сборника к 50-летию «Т. З.» я сделал. Она называется «Редактор “Вызова”». Фотографию я тебе верну после того, как с нее сделают репродукцию. Кстати, получила ли ты материалы о Леониде, которые я посылал вам в разное время: книжку о музее Маяковского, «Годы и строки», перепечатку статей о Блюхере, «Елку дедушки Тараса», статью Потапова из «Т. З.»?

От Володи Костина пока ничего нет. Если материал придет, я постараюсь устроить либо в сборник, либо в «Т. З.» — она будет давать материалы вплоть до дня юбилея — до весны следующего года.

Очень прошу тебя, сообщи число и месяц рождения Леонида — постараюсь к его 60-летию подготовить материал о нем для «Т. З.» (Редакция недавно отметила 60-летие Петра Кулыгина, думаю, что и Леонида они отметят.)

Недавно у меня была Леля Метелкина, Ты помнишь ее? Она жила во Владивостоке у Фохтов, в лечебнице, занималась с Валей, бывала у нас. Потом вышла замуж за Косолапова и уехала в Японию. Так вот, она была там же, где Нина Фохт, в Караганде (тетя, сестра бабы Оли, мать Валентина, репрессирована. — Т. К.). Но с ней встретиться ей не удалось. Сейчас Леля живет во Владивостоке, ей 60 лет, или

больше. Очень интересовалась вами, показывала чудесные фотографии тех лет, сохранившиеся у нее каким-то чудом. Просила передать маме и тебе большой привет. В романе об интервенции «Красная осень» упоминается Э. К. Фохт, как лучший хирург Владивостока...

Хабаровск, 3 ноября 1969 г.

...Фотографии пересняли, посылаю два снимка и оригинал. Может быть, пригодится для книги Володи?

...Если хотите посмотреть нашего Гену, то числа 15 ноября по «Орбите» будут показывать из Москвы программу Хабаровской студии телевидения. Ее будет вести Гена. Если в вашем городе принимают по телевидению Москву. Только надо в «Правде» посмотреть программу передач. Посмотрите, если будет желание. Увидите Хабаровск, каким он стал.

Я видел на снимках в «Огоньке» Березники. Очень красивый город!..

Хабаровск, 1969 г., из поздравительной открытки.

С Новым — 1970 годом, дорогие мои, мамочка, Ниночка, Алеша и Олечка!

...Алеше желаю хороших творческих успехов и жду от него весточки — давно он мне не пишет. Жду и от тебя, Ниночка, обещанного письма.

Юбилейный сборник уже сдан в издательство. В апреле выйдет в свет. Обязательно пришлю.

Шлют вам поздравления Аня, Гена и Алла. Вадим.

Хабаровск, 1970 г., последняя поздравительная открытка

Дорогие мама, Нина, Алеша, Олечка! С Новым — 1971 — годом!

От всего сердца желаю всем вам здоровья, благополучия, добрых успехов во всех делах, особенно же — в творчестве...

А письма обещанного я так и не получил. Жду. Очень жду...

Это было последнее известие от Вадима Вадимовича.

Далее, до 1990 г., переписка продолжилась уже с его женой, Анной Романовной, сообщавшей в том числе и о нашедшихся родственниках — Павчинских.

Хабаровск, 1971 г., телеграмма

13 июня умер Вадим. Аня.

1971 год — это год, когда я приехала (10 января, в середине учебного года) в Березники и впервые услышала об Алексее. О нем часто упоминала в разговоре директор музучилища, где я работала, Эрна Андреевна Тибелиус, оказавшаяся во время войны в Березниках в числе многих сосланных немцев из Поволжья. Она же поручила мне организовать встречу студентов и педагогов училища с известным уже в городе поэтом Алексеем Решетовым. По телефону мама Алексея категорически сказала, что встречи не будет, так как Алексей серьезно болен (думаю, это был 1973 год). Значительно позже Алеша часто вспоминал и рассказывал мне и о преподававшем у них в школе черчение муже Эрны Андреевны,

Романе Христиановиче (ребята его называли «Чиркуль»). Алеша любил рассказывать разные случаи из школьной жизни.

Сейчас, вспоминая свой березниковский период, скажу, что Эрна Андреевна тогда удивила и заинтриговала меня еще и тем, что заметила какое-то сходство (внешнее, в характерах, в поведении?) между мной и Алексеем. Она почему-то опекала меня, рассказывала много о себе и даже ходила как-то с приехавшей ко мне мамой в кино. В конце 90-х годов, когда мы с Алешей приезжали в Березники на День города, зная уже о нашем замужестве и увидев нас в зале на торжестве, она радовалась, что подтвердились ее, так сказать, ожидания и пророчества.

Познакомил меня с Алешей общий и, пожалуй, до сих пор самый близкий друг в Березниках, Юра Марков (я в то время занималась музыкой с его маленькой дочерью Катей). Говоря об Алеше, он не раз повторял, что мне нужен именно такой человек. Как позже выяснилось, то же самое он говорил тогда и Алеше... Кроме прочего, Юра часто рассказывал мне о несчастной любви Алексея к Вере Нестеровой-Болотовой, вообще много говорил о ней, о Викторе Болотове, об Алексее и о том, как не любили в доме Решетовых присутствие предполагаемых невест Алексея, знакомых с ним женщин. Все это вызывало во мне сочувствие и, разумеется, ни о каких серьезных отношениях с Алексеем не могло быть и речи. К тому же, еще до знакомства с ним, когда я сидела в жюри на смотре художественной самодеятельности, читали его стихи и «Хозяйку маков», он представлялся мне недостижимым для общения прекрасным поэтом. Видела я тогда его лишь на фотографии в местной газете с подборкой стихов. (Именно эта фотография теперь на кресте над могилой Алеши.)

И все же с первой встречи, даже с первого упоминания, он запал мне в душу, хоть я и не осознавала этого. Зарождались же наши отношения так. Впервые его я увидела в книжном магазине на ул. Свердлова, где проводилась очередная встреча любителей книги, с выставкой книг и викториной. Это было время, когда хорошую книгу можно было приобрести, если ты состоял в так называемом клубе книголюбов. Здесь же выступали местные поэты: Павел Петухов, знакомый мне Юрий Марков и Алексей Решетов. Тогда-то нас Юра и познакомил. Им, выступавшим, подарили книги Есенина, чему Алексей был очень рад — Есенина в его семье любили все. Запомнилось и то, как пошутил Алеша, когда мы вышли из магазина и он облегченно выдохнул: все это, мол, хорошо, только в кресле на выступлении ощущал себя, как в кабинете у гинеколога. Он не любил выступать и делал это всегда лишь при крайней необходимости. Его шутка тогда меня несколько удивила и смутила. Помню также, что он приятно удивил меня своей отличающейся от других внешностью, приподнято-оживленным состоянием и неожиданной для меня простотой в общении. Было радостно и оттого, что он воспринял меня как старую знакомую — знал уже обо мне. Через Юру он когда-то подарил мне свою книжку «Белый лист» с надписью: «Тамаре, незнакомому, но близкому мне человеку. Вот как много я Вам написал». Как-то, возвращаясь с работы и зная уже его, я из робости так и не решилась догнать и окликнуть его. С каким-то радостным чувством узнавания шла я тогда за ним

до своего дома. Он же шел в соседний дом, где жили его друг Паша Петухов и близко знакомая Алексею вдовушка Зоя, бывшая раньше соседкой по коммуналке.

Часто позже мы вспоминали случай, когда Юра привел Алексея в мою березниковскую квартиру, и мы, с возникшим тогда у обоих ощущением, что знали друг друга давно и вот наконец встретились, слушали на моем стареньком проигрывателе Эдит Пиаф и говорили о ее книге «Моя жизнь». Трудно объяснить возникшее у меня чувство, когда я недавно нашла среди бумаг Алексея стихотворение, написанное в 80-х годах (тогда мы еще не были официально женаты и редко виделись). Помню, я в то время еще сомневалась в его чувстве ко мне. Но следующий стих, вернее вторая его строфа, точно соответствует тому, что я интуитивно почувствовала, подсознательно боясь и избегая этой мысли, в ту давнюю нашу встречу:

Люблю тебя. Но та ли это
Любовь, которая навек,
Коль человек от человека
Легко живет за сотни вех.

Мы на мгновение коснулись
Плечом друг к другу и щекой
И обоюдно ужаснулись:
А вдруг утратили покой.

Вспоминая, он добавлял такие детали, которые у меня стерлись из памяти. Например, момент, когда я перелезала, чтобы открыть им дверь (забыла ключ), через балкон соседки, а этаж-то был пятый! Мне же запомнилось удивление, когда я заметила общее у нас — поврежденный у обоих указательный палец и одинаковые родимые пятна в одном и том же месте на лице: у меня круглое, у него — вытянутое. Когда мы сидели лицом друг к другу, они оказывались напротив. Говоря об этом последнем совпадении, он вспоминал, что баба Оля как-то говорила ему по поводу этого пятнышка: «Это знак. Судьбой заложено: тот самый человечек когда-нибудь придет к тебе». Впервые он сказал мне об этом перед прощанием в 1982 году, тогда и оставил след ногтем на подаренной мне своей фотографии. Удивительно то, что родимое пятно появилось у меня в Березниках, со временем оно стало виднее, а сейчас опять становится почти незаметным. Что это, знак или совпадение? Не знаю. Но приятно думать, что это знак судьбы. Кстати, я удивилась, когда увидела эти наши знаки на обложке трехтомника. Степан Иванович Недвига, оформлявший издание, объяснил их как выход во Вселенную. А в ту нашу встречу Алексей подарил мне еще листочек со стихотворением-экспромтом. Позволю себе его воспроизвести здесь, так как все, что касается его, для меня очень значимо:

Зря несут на мужиков:
Дескать, взял и был таков.

У любого мужика
 Перво-наперво — тоска.
 Он работает как черт,
 А его никто не ждет:
 Не погладит, не пошьет
 И за хлебом не пошлет.
 Но однажды, в жизни раз
 Белый локон, синий взгляд
 Он сочтет своей судьбой
 И ведет к себе домой.
 Спи, мой райский стебелек —
 День рабочий недалек.
 Спи, мой маленький родник —
 Я навек к тебе приник.

О сближении не могло быть и речи, но для описания того моего душевного состояния я не нахожу нужных слов. Появлялось оно и в дальнейшем, при каждой нашей встрече. Это было нечто, как бы отрывающее душу от тела и уносящее ее куда-то из реальности, когда все окружающее становилось иным, менее грустным...

В тяжелые минуты (а их у меня было предостаточно в Березниках) я неосознанно мысленно взывала о помощи почему-то именно к Алеше — только ему хотелось выговориться. Но, узнав по телефонному справочнику его адрес, я так и не решилась найти его дом и дожидаться во дворе, чтобы рассказать и попросить совета по поводу происходивших тогда неурядиц в моей личной жизни. Надо сказать, что я думала тогда так, как сказано в его стихотворении, которое я нашла уже после его смерти:

Я отчую землю крест-накрест прошел,
 Я в каждые двери стучал,
 Но краше тебя никого не нашел,
 Нигде не обрел Идеал.
 Я плакал, я падал, я лез на рожон,
 В снегах по-пластунски скользя,
 Но очи и губы забытых икон
 Твердили: — Не надо, нельзя.

Ну, насчет «краше» и «идеал» — преувеличение. Я никогда не заблуждалась насчет своей внешности, видя вокруг действительно красивых, ухоженных и не комплексующих женщин. И когда я говорила ему об этом в ответ на его комплименты мне, он настаивал, что я не знаю себя и не вижу, что порой у меня, по его утверждению, проступает «сквозь лицо — лицо». Но все же какая-то укоренившаяся во мне со временем подавленность и даже ущербность не позволяли этому верить. Возможно, так и могло происходить, но лишь в его присутствии. Все же остальное в этом тексте, особенно две последние строчки, — достоверно. Как же много открылось мне слишком поздно в его далеко запрятанных стихах, кото-

рые я нахожу до сих пор, когда уже кажется, что больше негде и нечего находить! Просто мистика какая-то. Одним из сюрпризов был найденный подарок-стишок, написанный на свободном месте в соннике, куда я заглянула 8 марта, через полгода после его кончины. Но это было ненужное, возможно, отступление.

Вернусь к письмам Анны Романовны.

Первое письмо от нее пришло спустя почти три года после смерти мужа:

3 апреля 1974 г.

Дорогие Ольга Александровна, Нина и Алеша!

Очень виновата перед вами, что так долго ничего не написала. Много раз бралась за это горькое письмо и все не могла.

Скоро будет 3 года, как нет Вадима, а тот страшный день, 13 июня, так и стоит перед глазами. Отек легких, легочно-сердечно-сосудистая недостаточность. Так написано в заключении врачей. А говоря проще — человек задохнулся от недостатка кислорода. Целую ночь врачи возили подушки с кислородом, а в 8 ч. утра все было кончено.

Бедный Вадим — вся его жизнь состояла из сплошных страданий: легочные кровотечения, сердечные кризы, камни в почках...

И ко всему — моральные страдания. Все боялся, чтобы мы с Геннадием не заболели. Очень любил детей, а всегда держался дальше от них. Когда рос Гена, родители к нам не пускали детей играть.

Всего и не напишешь, что выстрадано.

Вадим мне говорил, что в детстве его называли «певцом мировой скорби» (пророчески)...

И только большая любовь к жизни помогала ему держаться на этом свете. Зная его состояние, врачи просто удивлялись, как только он еще живет. А он по крупинкам собирал силы и жил.

Последние 15 лет Вадим уже совсем не мог ходить — задыхался. Придя с работы, я выводила его на улицу, и мы с ним сидели около дома, под деревом на скамеечке, которую для Вадима специально сделал Хрюкин.

Вадима все жалели и любили. Он очень много получал писем от друзей и знакомых из разных городов. Каждый старался поддержать его, как мог.

Добрая душа, он все жалел меня — что мне трудно, что я не досыпаю, а я все делала для него с радостью и в этом черпала энергию, и была счастлива.

Судьба так щедро наградила его многими талантами, чутким, добрым сердцем и так несправедливо жестоко обошла со здоровьем. Думаешь об этом, и сердце сжимается от боли...

Тяжелое получилось письмо, но я написала все, как было. Из родных, кроме Гены, у меня уже никого не осталось. Здоровье неважное — гипертония.

У меня другой адрес. Не могла оставаться в доме, навсегда для меня опустевшем, на ул. Шевченко. Сменялась на маленькую квартиру, в двух кварталах от прежней. Гена живет отдельно...

Продолжаю следовать хронологии. Летом 1978 года я, не желая мешать устоявшейся жизни Алексея, но намереваясь устроить свою личную жизнь, приня-

ла поспешное и глупое решение покинуть Березники с показавшимся мне неплохим человеком. Он уверял, что любит меня, что его таланту тесно в Березниках, и был в данном случае весьма кстати. Было еще одно обстоятельство, которое утвердило меня в этом решении и о котором не стоит говорить. Помню, что действовала я тогда сгоряча, по принципу — чем хуже, тем лучше. Уезжать мне не хотелось: я полюбила Березники, свою, заработанную здесь за восемь лет, уютную квартиру, работу, не хотелось оставлять своих учеников, друзей. В Березниках прошли мои молодые годы, произошло запоздалое взросление, было наделано много ошибок и затрачено напрасно много душевных сил. Именно с этим нашим расставанием, как говорил мне потом Алексей, связан его стих «Вообразил, что ты жар-птица...». Так жизненные передрыги и наша нерешительность разъединили нас в первый раз.

Позже, в счастливое время, Алеша часто удивлялся нашей нелепо сложившейся жизни, тому, как два человека, родившиеся в столь далеких друг от друга городах — Хабаровске и Свердловске, — могли столкнуться в Березниках, разбежаться, чтобы опять встретиться, уже в Перми, снова расстаться и объединиться уже в Екатеринбурге. Он часто повторял: «Эх, повстречались бы мы, когда нам было лет эдак по 16–20 — вся моя жизнь сложилась бы совсем по-другому». И вообще, он еще в ранней юности мечтал о своем доме, своей семье, о детях. Говорил, что мог бы тогда сделать все возможное для женщины (и не обязательно это была бы я), которая согласилась бы с ним создать семью. К слову, как выяснилось, он и раньше, в 60-х годах, когда я еще училась, наезжал в Свердловск по своим писательским делам, т. е. мы могли бы встретиться уже тогда. Но так уж получилось, что мучительно долгой и непростой была эта наша дорога друг к другу.

Пытаясь обменять мою березниковскую однокомнатную квартиру, мы с этим, как выяснилось, использовавшим меня в трудное для него время, человеком жили год у моих родителей в Свердловске и в течение еще одного года — в Кунгуре (тогда, кстати, профессор, завкафедрой Зинаида Федоровна Ишутина предлагала мне место в аспирантуре, но я отказалась). С трудом нам все же удалось летом 80-го года сделать обмен на комнату в Перми, чтобы жить в одном городе с его родителями. Но жизнь наша не сложилась, и я вынуждена была прервать отношения. Это было очень тяжелое для меня время. В тот период я буквально потеряла себя, утешаясь лишь тем, что выстояла и не сломалась. На своей личной жизни я поставила крест. Я усиленно старалась скрыть от посторонних глаз свое состояние, стараясь показать, что у меня все хорошо. Видимо, от этих усилий в моем поведении появилась какая-то неестественность, но поделаться с собой ничего не могла. Спасала работа. Из-за ощущения непонятной мне вины казалось, что окружающие воспринимают меня не такой, какая есть я на самом деле.

Написала я об этом лишь потому, что эти появившиеся во мне черты увидел, все обо мне понял и постепенно помог выйти из этого состояния именно Алексей, когда я жила уже в Перми и мы снова встретились. Он изредка приезжал в Пермь и заходил к Болотовым. Разумеется, во время этих встреч я не посвящала

Алешу в свои переживания. Но ему, с его пронизательностью, этого, видимо, и не требовалось. Он сам как-то и что-то сумел угадать и понять⁶.

Можно сказать, что Алексей буквально спас меня. Очень помогало, конечно же, и общение с Болотовыми, особенно интересно было говорить с Витей. Но именно благодаря Алеше началось мое постепенное душевное выздоравливание, возрождение и озарение — от одного его присутствия. Но силы и уверенности во мне, безусловно, поубавилось.

С Виктором и Верой Болотовыми познакомил меня в один из своих приездов в Пермь Юра Марков (опять же он!), чтобы мне было не так одиноко в чужом городе. К тому же они, оказывается, жили со мной по соседству, на ул. Карпинского. Юра с Витей пришли ко мне и сказали, чтобы я быстрее собиралась, так как меня ждет Вера и хочет познакомиться. Когда я впервые увидела ее, у меня возникло ощущение, что передо мной египетская царица, неизвестно как попавшая в наше время, больная и уставшая от предложенной ей серой жизни. После этого мы почти ежедневно общались, и мне посчастливилось подружиться с Болотовыми. Я была еще поглощена переживаниями о пережитом; а Вера в то время еще верила во взаимную любовь с Алексеем, и наши разговоры с ней нередко сводились к нему, как к общему знакомому. Я поддерживала ее желание воспринимать все его стихи, касающиеся любви, на ее счет (хотя и сомневалась). Как оказалось, и упомянутый стих «Вообразил, что ты жар-птица...» она тоже восприняла как посвященный ей. Я разделяла подобное ее мнение и в отношении других лирических стихов и искренне сочувствовала ей по поводу ее несложившихся отношений с Алексеем. Ревности с моей стороны не было. Каждая из нас была занята своими переживаниями. Я даже по ее поручению, до переезда Алеша в Пермь, во время командировки в родное мне березниковское училище и с помощью одного из его друзей, Володи Плющева, разыскала Алексея, чтобы передать ему привет от Веры. Дело в том, что я тогда работала в Управлении культуры ст. методистом по средним и высшим музыкальным заведениям Пермской области (по совместительству была концертмейстером в Институте культуры), и мне иногда приходилось выезжать из Перми в музыкальные училища г. Чайковского и Березников.

Вот тогда-то я впервые побывала у Алексея дома в Березниках и увидела Нину Вадимовну, мельком его племянницу Олю (Олесю) и собаку Милорда 1-го (баба Оля в то время была тяжело больна). Помню, что это было зимой, перед новым 1981-м годом. В то время они уже полностью занимали коммунальную 3-комнатную квартиру. Алеша обрадовался нашему неожиданному визиту, был весьма оживлен и много шутил. Обстановку в его комнате я помню до мелочей. Стены были обвешаны крупными репродукциями, на полу со следами загашенных окурков — низкий диванчик без ножек, перед ним маленький столик или табурет, заменявший столик, напротив — железная кровать, через спинку кото-

⁶ Стихотворение Алексея Решетова «Русалка».

рой он ловко перепрыгнул, пропуская нас в комнату, у окна письменный стол и стеллажи с книгами. Первым делом я передала привет от Веры. Посидели, поговорили, Нина Вадимовна принесла нам к чаю рогалики и масло. Позже, когда я в первый раз побывала у Алеши в Перми, меня удивило то, что планировка березниковской квартиры напоминала пермскую, и этаж тот же — второй, и те же знакомые уже мне вещи из той его комнаты.

Когда Болотовы переселились в свою последнюю квартиру на Ворошилова, они и меня сагитировали переехать в дом, находившийся напротив их дома, в так называемую «китайскую стену». Переезд был тогда весьма кстати: хотелось скрыться от человека, с которым рассталась. Будучи у них частым гостем, я познакомилась и с их окружением — родными Веры, общими друзьями и приятелями Виктора — и виделась с наезжавшим в Пермь Алексеем. Дочь Болотовых, Белла, еще училась в школе, а потом поступила в техникуме. Вера, желая обустроить жизнь Алексея, нацеливала Беллочку на то, чтобы она (раз уж у матери не получилось) стала впоследствии женой Алеши. Его, правда, такая перспектива не особенно радовала, да и Беллу, как оказалось, — тоже. Как-то она приезжала в конце 80-х или в начале 90-х с кавалером и папкой своих стихов.

Возвращаясь к письмам, приведу далее лишь наиболее значимые фрагменты из писем Анны Романовны, касающиеся семьи и непосредственно Алексея. Здесь же Анна Романовна пишет и о тех местах в Хабаровске, которые описаны в повести «Зернышки спелых яблок», а также о знакомых ему свердловских поэтах Л. Г. Шкавро и Е. Е. Хоринской.

Хабаровск, 12 февраля 1981 г.

Алеша, здравствуй!

Знаю, письмо тебя удивит, да это и естественно, но ты поймешь, что побудило меня его написать.

Прочитала твои стихи в «Литературной газете». Каждая строчка из них, да и многое между строк, напомнили, высветлили в далекой памяти все давнее и горькое. Здесь и обделенное детство двух мальчиков, и жизнь Вадима, вся из страданий, жестокой болезни, обреченности.

Заново перечитала «Нежность», «Белый лист». А «Зернышки спелых яблок» вернули в то далекое и тяжелое время. Не осталось тех людей, о которых ты писал, давно уже нет Портового переулка, исчезли дома и люди, которые в них были. Их лихо разрушили, смели начисто, а в первую очередь тот островок со строениями, что значился под № 9. Сейчас на этом месте высятся 14-этажная гостиница «Интурист» — важная и красивая, она дает приют и комфорт благополучной и разноязычной публике. И ничто уже не напоминает о той неправдоподобной жизни, что здесь когда-то шла. На всем участке остался только бывший наш дом на ул. Шевченко. Жильцов из него выселили, здание красиво отремонтировали, и теперь в нем размещается какое-то учреждение. Я живу в полутора кварталах от этого дома, и если случается проходить мимо, сжимается сердце и не верится, что это правда и что все это когда-то было по-другому. И было ли вообще?

Когда я еще работала в «Тихоокеанской звезде», к нам на практику в отдел часто присылали студентов из Свердловска. Я спрашивала у них о тебе. Отвечали, что

такого поэта хорошо знают, любят, особенно среди студенчества. Нам с Вадимом было очень приятно, хотя о твоих успехах мы и до этого знали по твоим книжкам. Да еще по рассказам Леонида Григорьевича Шкавро. С этой семьей я до сих пор переписываюсь. Очень хорошие, порядочные люди.

А года 4 назад, узнав, что она из Свердловска, я познакомилась с поэтессой Еленой Евгеньевной Хоринской. О твоём творчестве она отзывалась в самых лучших словах.

Так что, хотя и окольными путями, мы были в курсе твоих успехов. Для меня было бы большой радостью получить какую-либо твою книгу. И вообще узнать, как вы живете.

Понимая, что Нина мне не соберется написать, прошу тебя черкнуть мне пару строк. Как здоровье Ольги Александровны, Нины? Где живет теперь дочь Бетала?⁷ У меня теперь уже никого не осталось, кроме Геннадия. И вы — самое дорогое, что осталось, как память о Вадиме. Адрес ваш взяла в нашем Союзе писателей, в справочнике, не знаю, не устарел ли он. Переписываюсь с Валентином, он тоже волнуется вашим молчанием...

Почти следом за этим письмом, 20 марта 1981 года, она в своем письме присылает запоздалое, горькое письмо снохи Валентина, сообщающее о его кончине 22 июня 1980 года. (Перед этим, в том же 1980 году, Алеша в третий раз находился в психиатрической больнице.)

...Мы с Валею регулярно переписывались. И вот такое тяжелое сообщение. Никого уже не остается.

Из другого письма о Валентине Фохте:

Мне звонят самые неожиданные люди, о существовании которых я и не подозревала. Например, Николай Плиско. Ты, Нина, должна его помнить. Вы вместе жили на Шевченко, рядом в комнате. Была такая семья Анастасии Гавриловны (ее давно нет). Ее сын Николай все подробно рассказал о всех вас — о Вадиме, о Решетове, о том, как все было в ту страшную ночь. Он все помнит.

Спрашивал о Вале Фохте, как о сыне талантливого врача хирургической клиники Эдуарда Карловича Фохта. Валя был в командировке при жизни Вадима у нас и переписывался с Вадимом. У Вали остались дочь, сын, жена в Томске, где оказался Валентин, репрессированный, как сын таких родителей. Валя — копия своего отца — такой же собранный, подтянутый...

В начале 1982 г. Алексей, Нина Вадимовна и Олеся переехали в Пермь, похоронив в Березниках бабу Олю. В переезде очень помогли пермские и березниковские друзья. Кое-что об этом писал Роберт Белов. Одной из причин для переезда была и та, что Оля должна была поступать в Институт культуры. Алеша

⁷ В это время баба Оля тяжело болела (рак пищевода) и была прикована к постели. Алеша рассказывал мне о том, как в то время дефицита продуктов ему с трудом, вызывая раздражение людей в очереди, удавалось купить 3-литровую банку сметаны для бабы Оли. Ничего другого есть она тогда не могла. Умерла она в 1982 г.

рассказывал, усмехаясь, как писал Оле сочинение к вступительным экзаменам, за которое получил четверку. Памятна для меня встреча у Болотовых с Алешей и приехавшими тогда в Пермь из Березников по литературным делам Юрой Марковым и Сергеем Малышевым...

Обосновавшись в Перми, Алексей работал литконсультантом при областной писательской организации. Главой ее в то время был Олег Селянкин. Наши встречи стали происходить чаще. Каждый день мы перезванивались и договаривались о встрече в Союзе после моей работы. И я в волнении бежала к нему через парк Горького. Там я наблюдала за его умными и деликатными беседами о рукописях с приходившими к нему людьми, и вообще за его окружением.

Незаметно к концу моего пребывания в Перми отношения с Алешей стали более чем близкими. Как-то раз летом Алексей приехал ко мне домой. Это было полной неожиданностью для меня — добраться из другого конца Перми, не ориентируясь в ней, не зная моего адреса, а зная лишь, что я живу где-то в огромном доме, в «китайской стене». Он стоял передо мной, ошарашенной его внезапным появлением, с загадочным и в то же время торжествующим видом. В руках у него был букет. Оказывается, он стучал в разных подъездах во все двери, пытаясь найти меня по приметам и по имени. И ведь нашел! Как потом мне рассказывала Нина Вадимовна, в тот день он вдруг сорвался с места и выбежал из дома. Из лоджии она видела, как он во дворе на глазах у остолбеневших людей, в домашней одежде, стал рвать посаженные у подъездов цветы и на ходу зубами обрывать у них корни. Не видя никого и ничего вокруг себя, он помчался куда-то и скрылся за аркой.

Потом тоже много было со стороны Алексея непредсказуемого, неожиданного, удивительного, но тогда...

Тогда у папы случился очередной инфаркт. Все мои братья и сестры жили семьями в других городах, и я решила вернуться в Свердловск.

А перед самым отъездом знаковым событием в той, пермской, моей жизни было наше путешествие на лодке по Камскому морю, когда мы ездили с Сосниными, Витей и его женой Ларой, к ним в деревню. Это было 1–3 августа 1982 года, перед самым моим переездом в Свердловск. Воспоминания о том путешествии помогали нам выдержать нашу общую житейскую неустроенность, спасали нас в трудные моменты, и именно с теми нашими приключениями связано стихотворение, спрятанное в бумагах, как и многие стихи Алексея:

Мы плыли в лодке-плоскодонке.
Горой встающая волна
Мне, старику, и ей, девчонке,
Была нисколько не страшна.
И удаляющийся берег,
И в черных избах желтый свет
Не в силах были разуверить,
Что даже в смерти счастья нет.

Помнятся все детали, но описать коротко дни, проведенные вместе, не так-то просто и может занять много времени и места. А потому опущу некоторые подробности, касающиеся того, как мы с Алексеем встретились с Виктором Сосниным у меня на работе и неожиданного, без предварительных сборов, решения поехать. Пропущу и то, как добирались на электричке, на речном трамвае, шли через поля и деревню, и не буду останавливаться на прекрасном, почти достроенном доме, в который нас поместили. Напишу лишь о самом главном — о нашем путешествии на лодке, так как оба мы всегда воспринимали все, что происходило тогда с нами, как подарок судьбы — неожиданный и удивительный. Пишу и потому, что мы тогда действительно могли вместе погибнуть.

Итак, желая отблагодарить хозяев (Витю с Ларой и ее родителей) за их гостеприимство, на следующий день мы решили набрать для них грибов. А так как лес был на другом берегу очень широкой в тех местах Камы, нам понадобилась лодка. Погода была по-осеннему холодной, а одеты мы были легко (я так вообще была в босоножках на высоких каблуках, так и ковыляла по полям). Нам дали теплую одежду и сапоги, которые были обоим велики. Вид был довольно смешной. Витин тесть дал ключ от гаража на берегу (у него там был еще катер) и строго-настрого наказал нам не потерять его. Я спрятала ключ, как мне казалось, надежно, на груди, там, где женщины обычно прячут ценное, мы сели в лодку и положили туда две корзины для грибов. Но тут выяснилось, что ни я, ни Алеша не умеем грести. Приходилось плавать на лодке, но греб всегда кто-то другой. Я первая смело села за весла и методом проб и ошибок приоровилась грести — не такое уж это сложное дело. Меня распирала гордость оттого, что я веду лодку, и не хотелось отдавать весла Алеше, когда он пытался их отобрать. Мне не верилось, что мы плывем, а особенно не верилось тому, что напротив сидит Алеша — неправдоподобно красивый и молодой (бороду он тогда не носил).

Сначала было холодно, но солнце светило и на реке было довольно спокойно. Мы доплыли до середины и решили покататься — поплыть дальше вдоль реки. Берега с обеих сторон были довольно далеко. Разглядывая их, мы не заметили, как вдруг поднялся сильный ветер, стало темно, появились волны и очень низко, над самыми головами, — страшные черные тучи. От всего этого захватывало дух. Лодку сильно раскачивало, и в ней появилась вода. Но Алексей оставался все таким же красивым и каким-то отрешенно спокойным. Нужно было добраться до противоположного берега — целью ведь у нас был лес, грибы. К тому же лес мог нас спасти от ветра и, если начнется, ливня. Алеша с трудом перебрался на весла, так как моих сил уже не хватало, а я стала вычерпывать воду из лодки. Кое-как мы добрались до берега. Алеша вылез из лодки, чтобы закрепить ее, но сапоги его завязли в тине и песке и наполнились водой. Он не мог поднять ноги, а потому вытащил сначала из сапог одну ногу, упал, вытащил другую, а потом уж кое-как достал утонувшие сапоги. То же произошло и со мной, когда я вылезала из лодки, чтобы помочь ему. Лодку он все-таки прикрепил, но ее все равно продолжало мотать. Мы вылили воду из сапог, вычерпали ее из лодки и взобрались на берег. Подумали, что неплохо было бы разжечь

костер, высушить мокрую одежду, согреться, спокойно все это перекурить, а потом уж пойти в лес, до которого было рукой подать — выше, на горке. Не тут-то было! Спички и сигареты от нашего купания вымокли и раскисли.

Дождя так и не было — буря как пришла незаметно, так и ушла. Алексею удалось подсушить спички и частично спасти то, что осталось от коробка и от сигарет. Пока он сушил все это и выжимал верхнюю одежду, я наведальась недалеко в лес, но грибов не нашла. В сырой одежде было холодно, и когда я вернулась из леса, мы посидели, выкурили сообща спасенный жалкий кусочек сигареты и решили вернуться обратно. Но на реке мы заблудились, так как поплыли не в ту сторону. Уже темнело, но вода была спокойная, и, помню, мы долго куда-то плыли. Из-за погоды, наверное, берега были довольно пустынные. Когда на пути попадалось какое-нибудь селение, мы подплывали, если видели на берегу рыбака. Но беда была в том, что мы не знали названия той деревни, где жил Витя. А так как мы могли только рассказать о нем, описать его, люди, жившие в другом месте и не знавшие его, помочь нам не могли.

Мы продолжали плыть, и становилось все темней. Алексей не унывал, говорил, подбадривая себя и меня, что у нас есть еще пара спичек и кусочек с серой от спичечного коробка — разожжем костер и заночуем в лесу. Так мы и собрались поступить, искали место, где причалить, но тут вдруг увидели догонявший нас катер и различили на нем Витю с развевающейся на ветру бородой. Когда он подплыл, лицо у него было очень бледным и несколько испуганным. А мы обрадовались. Он, оказываясь, заждавшись, стал выскидывать нас, глядя в бинокль, а потом на катере тестя отправился нас разыскивать. Уплыли же мы далекоовато. Витя прицепил лодку к катеру и доставил нас на свою пристань. Тут выяснилось, что нет ключа. Вот тут-то впервые мы перепугались. Я перетрясла всю свою одежду, но ключа не было. Нашу панику заметил человек на пристани у другого гаража и спросил, не этот ли ключ мы ищем. Он нашел его в воде у берега, а так как к ключу была приделана деревяшка, он и не утонул. Видимо, ключ выпал, когда мы садились в лодку перед нашим путешествием. И тут, когда уже все страшное было позади, на нас с Алешей напал истерический смех. Смех вызывало все, что мы видели по дороге к дому. Да и потом, после бани, когда нас переложили в сухое и накормили, нам было отчего-то весело. По телевизору как раз показывали регату, и Алеша пошутил, видя приближающуюся к финишу байдарку, что это мы плывем, наша лодка — это мы победили.

Удивительным в этом нашем приключении было то, что мы не простыли, не заболели. Возвращаться домой в нашей легкой одежде тогда было довольно холодно, но и это на нас никак не отразилось. Кроме того, ни у него, ни у меня не оказалось мозолей, хотя они появляются у меня даже после того, как порежу хлеб. Все это удивляло нас впоследствии и казалось загадочным, непонятным (Алеша называл это «булгаковщиной»). Когда мы приехали в Пермь с корзиной гостинцев из Витино сада для Нины Вадимовны, мы первым делом, дрожа от холода, зашли в «Соки-воды», выпили «для сугреву» «Медвежьей крови» и разошлись по домам. У меня уже были собраны вещи для переезда в Свердловск.

И мне нужно было поторопиться, чтобы успеть до начала учебного года устроиться на работу.

Не хочется вспоминать о событии, не то чтобы ускорившем отъезд, но еще больше утвердившем меня в желании навсегда уехать и забыть все. Почти сразу после нашего путешествия ко мне ворвалась Вера и учинила скандал. До нее дошли слухи о нашем исчезновении. Произошло что-то дикое. Она кричала (я впервые услышала не свойственные ей выражения), топтала собранный Алешей букет из полевых цветов, его книги. Прибежал Витя, извинялся передо мной, успокаивал ее. Я тогда все слышала и видела, но сама не могла от ужаса ничего говорить, настолько была поражена всем происходящим. Потом — потом я вспомнила, как она когда-то говорила о своем желании жить втроем, в окружении Вити и Алеши (мне оно казалось диким, и всерьез я его не воспринимала). Алексей, узнав о том, как повела себя Вера, был удивлен и возмущен. Тогда и потом, когда я говорила о своей возможной вине перед Верой, он убеждал меня, что чувства к ней давно перегорели, и ближе ему по духу всегда был Витя, а не Вера. Почти сразу после этого случая Вера, добрая душа, чувствуя, что мне тоже очень тяжело, пришла ко мне со своим тортом мириться.

Провожал меня Алеша. У меня было два чемодана, заполненные нотами и пластинками. Мы сидели в моей полупустой комнате и ревели. Алексей уговаривал меня оставить эту мою комнату в Перми, чтобы мы смогли встречаться там, когда я буду приезжать, убеждал, что будет платить за нее. Но надо было ехать. Мы так и не дождались «третьего» трамвая — поезд уходил вечером, и трамваи уже плохо ходили. Пришлось идти пешком, точнее, бежать. Создавалось впечатление, что он бежит впереди, а чемоданы — за ним. Как я ни пыталась взять у Алеши хотя бы один из неподъемных чемоданов, он так их сам и дотащил. Хорошо, что вагон был первый, мы прибежали, когда вход на платформу был уже закрыт. Я едва успела сесть в поезд. Так в конце августа 1982 года мы, обменявшись еще до моего отъезда фотографиями, расстались во второй раз. Тогда я думала, что навсегда.

Но мы снова встретились осенью, в конце ноября 1982 года. Я прилетела в Пермь из Ташкента (навещала младшую сестру). Билетов до Свердловска не было, но удалось достать билет до Перми. Мне все равно нужно было забрать оставшиеся в проданной уже комнате вещи. Может, стоит здесь заметить, что продажа недвижимости тогда не практиковалась, велась подпольно. Я боялась этим заниматься, и мне помогли тогда продать комнату по дешевке через своих знакомых Болотовы — жаль было ее совсем потерять. Продали дешево, зато быстро, и я приехала домой не с пустыми руками. На вырученные деньги удалось купить пианино, палас, софу, люстру и бра. Покупатель в мою комнату тогда еще не вселился — был в отъезде. Крупные вещи я раздала, а мелочь еще оставалась, ее-то я и хотела забрать. Пошла за билетом на вокзал, но тут выяснилось, что до Свердловска ни в общий вагон, ни даже на проходящий поезд достать билетов не удастся. Деваться мне было некуда, и я пошла в Союз, где не раз до этого бывала. Алексей обрадовался, увидев меня. Тогда все, кто был там,

собирались как раз идти на юбилей Авенира Крашенинникова в Дом журналистов. Пригласили и меня. Я не хотела переться туда со своим багажом, в старом зимнем пальто, которое дала мне сестра, отправляя из Ташкента, но Алеша уговорил. Почти сразу Алексея с юбилея забрали. Пришли Оля с гостившей тогда у них ее матерью, вызвали его, и я видела, как после их слов Алеша стал быстро собираться и ушел. Я, естественно, расстроилась — мне стало жутко одиноко и деваться было некуда. Я решила пойти ночевать на вокзал. Мое состояние тогда заметил почти незнакомый мне Леня Юзефович. Он подсел ко мне, расспросил, в чем дело, и, желая исправить мое настроение, пригласил танцевать. Кончилось тем, что Вера попросила Радкевича взять меня переночевать к себе. Он был тогда после инсульта. Пока мы пешком добирались до его дома (он с палочкой, я — с чемоданами), он пообещал через свои связи достать мне билет. И достал дня через два, на имя комиссара города. После этого случая боль и обида на Алешу за то, что он ушел, ничего мне не сказав, и убеждение, что я для него ничего не значу, были так велики, что я решила забыть его, стереть из памяти все, что нас связывало. Позже, когда я у него допытывалась, почему он так поспешно ушел тогда, он мне неохотно рассказал, как именно его обманули, чтобы забрать домой.

Вскоре после этого поздно вечером перед новым 1983-м годом приехавший тогда к нам в Свердловск мой старший брат Женя позвал меня к телефону и сказал, что меня спрашивает какой-то Владимир Ильич и что это, наверное, предновогодняя шутка. Я взяла трубку. Это был Владимир Ильич Радкевич. Он поздравил меня с наступающим Новым годом и взволнованно стал уверять, что Алексей любит меня, и тот случай был недоразумением. Потом передал трубку Алеше...

После того звонка Радкевича наши отношения с Алексеем не прерывались. Они сводились к междугороднему общению по телефону и к редким, коротким встречам. Надежды на счастливую совместную жизнь ни у него, ни у меня не было. Больше в той «жизни» было тоски и грусти, чем радости. И при встречах Алеша все время сокрушался: почему-де другим дозволено быть вместе, а нам нет? Но ни он, ни я не могли позволить себе оставить своих родных. К тому же на меня угнетающе действовало холодное отношение ко мне некоторых близких к Алеше людей. Я чувствовала себя неуверенно, ощущала неестественность своего положения, поведения перед теми родными, друзьями и знакомыми Алексея, которые сомневались в истинности наших чувств, а может, и не желали их по каким-то причинам. Так было, да и сейчас я это иногда ощущаю. Но настолько ли это важно было для нас? Меня успокаивало и ободряло то, что говорил мне по этому поводу сам Алеша, а именно, что он стал определять людей по их отношению ко мне. А понимавших и доброжелательно относившихся к нам, слава богу, было немало, да и сейчас их значительно больше. И главным для себя я считаю то, что среди всех, принявших меня, была мама Алексея, Нина Вадимовна. Впоследствии он не раз повторял мне ее слова, сказанные незадолго до смерти: «Теперь я могу умереть спокойно — у тебя есть Тамара».

Чувствовала я неловкость и перед своими родителями — еду к мужчине по первому его зову. Чаще ездила я. Порой ехала к нему сразу после работы, на

выходные — на 1–2 дня. Бывало и так, что он, не желая отпускать меня, рвал мой обратный билет, и мне приходилось звонить маме, чтобы она договорилась на моей работе о переносе уроков. Теперь я жалею, что много позже, когда мы уже жили вместе, я уничтожила скопившиеся от этих поездок и хранимые мной билеты. Я ненавязчиво пыталась со своей стороны делать все, чтобы облегчить его жизнь, и всегда старалась помочь ему в трудных жизненных ситуациях. Окружающее без него меня мало волновало и интересовало. Это было как бы время то тьмы — без него, то озарения — когда он был рядом. Чтобы перенести долгую порой разлуку и заглушить свою тоску, я все силы отдавала работе и дому. Со мной всегда так бывало: чем тяжелее и тоскливее на душе, тем лучше шли остальные дела. Все появлявшиеся у меня какие-то идеи связаны именно с этим. И все же, я думаю, вряд ли случайно то, что судьба соединила нас вопреки всему и к нашему обоюдному счастью. И воспринимали мы это одинаково: «Но это истинное чудо — почти за гранью бытия...»

Следует сказать, что мыслей о совместной жизни с Алешей, а тем более о замужестве, у меня никогда не возникало, и речи об этом я с ним не вела. Это казалось невозможным. Даже выйдя за него официально замуж, я долго привыкала к мысли, что я — его жена. Жаль, конечно, что разные обстоятельства и люди нас то сводили, то разводили и что оба мы были нерешительными и разубедившимися в своей счастливой личной жизни. Говоря его словами: «...Мы к бедам привыкли. Нам счастье не впрок». Это действительно было так. Несмотря на его уверения в глубине чувства ко мне, я слишком долго не могла поверить в то, что меня любят. Здесь я имею в виду свой горький опыт, мои неудачные попытки построить семью. Много позже я поняла, что виной всему была моя, открытая для всех, в том числе и для негодевов, душа. К тому же оба мы больше думали в этой ситуации не о себе, а о своих родных. Так и мучились — каждый забывался в своей работе.

В те времена Алексей часто повторял мне, что теперь хорошо понимает слова «моя половина» в их настоящем, а не ироническом смысле — не так как он раньше воспринимал их от других. Он уверял меня: «Ты не только моя половина, ты — моя лучшая половина» (с последним я, естественно, не соглашалась). Теперь я остро ощутила и по-настоящему осознала оставшуюся от этого единого целого половинчатость моего существования, растерянность и незащищенность в опустевшем без него мире. Но все же живу и пишу, как могу. Делаю же я и то и другое только ради Алеши, только ради доброй памяти о нем и надеюсь, что мои записи помогут близким ему по духу читателям лучше понять его стихи, а через них и его. Вернусь все же к хронологии.

Первый раз ко мне в Свердловск Алексей приехал осенью 1983 года, за год до кончины папы, и пробыл у нас недели две. Когда он приехал и позвонил Нине Вадимовне, сказав, что уже дома, она ревниво возмутилась: «А! Так значит, это уже твой дом?» Так-то! Даже у нее ревность, хотя и терпимо ко мне относилась. Оля же не очень-то жаловала поначалу меня — перед ней я тогда особенно робела, да и теперь тоже. Негласной хозяйкой была она. После знакомства с Алексе-

ем мой папа, за год до своей смерти, тогда уже очень больной, почувствовал, насколько мы с Алешей дороги друг другу. Он даже уговаривал маму поменять нашу квартиру на Пермь. Но все осталось по-прежнему и не могло не отразиться на наших настроениях и, думаю, на его стихах. Мы ждали звонков друг от друга. И когда я уходила на работу или еще куда-то с мамой, папа успокаивал меня, говоря, что остается «телефонистом».

В 1984 году, 2 октября, умер мой папа. Кстати, ровно через 15 лет, 2 октября, умерла мама, и 2-го же октября — день кремации Алексея. Такое вот получилось совпадение, связанное с самыми любимыми мною людьми.

На зимние каникулы, после празднования нового, 1986-го года, я приехала к Алеше. Тогда Алексей впервые сделал мне предложение, которое позже моя мама зафиксировала в своем журнале погоды, куда она также вписывала наиболее важные текущие события. Помню, тогда он завел меня в комнату к Нине Вадимовне, она поздравила нас и сказала: «Ну и слава Богу». На старый Новый год она отпустила нас в Свердловск. Мы не узаконивали наши отношения и не афишировали их, так как продолжали жить в разных городах.

Позже Алеша познакомился со всей моей семьей. Мои братья (Женя и Владик, теперь их нет) были ровесниками Бетала и Алеши, и в их внешности и взаимоотношениях проглядывало много общего с братьями Решетовыми, и это не могло не удивить и не заинтересовать Алексея.

И все же от личного вернусь к тому любопытному и интересному, о чем в то время писала Анна Романовна Павчинская из Дома творчества в Гаграх.

2 февраля 1987 г.

Дорогой Алеша, дорогой Гага!

Все мои попытки хоть что-либо узнать о Нине, Ольге Александровне — ни к чему не привели. Почему вы молчите? Я уже все начинаю думать!

Два года назад, будучи в Москве, я заказала телефонный разговор с Березниками (№ взяла из писательского справочника). Мне ответили, что это не квартира, а комбинат.

А теперь случайно узнаю, что ты в Перми. А где мама, бабушка?

А жизнь сама сталкивает. Летом было вот как. К 40-летию победы над Японией ваш Союз художников организовал выставку карикатур Вадима. Она имела успех, особенно сатирические зарисовки с судебного процесса над японскими медиками, готовящими бактериологическую войну. Суд над ними проходил в Хабаровске в 1959 г. И Вадим прямо в зале суда сделал сатирические портреты.

О выставке много писали, рассказывали по радио, по телевидению.

Рецензию по телевидению вел искусствовед, и одновременно в передаче были использованы стихи. Потом ведущий объявил, что читались стихи Алексея Решетова.

Так встретилось творчество дяди и племянника. Я разволновалась и позвонила автору выступления. Им оказался Виктор Козлов. Он рассказал, что с тобой познакомился в Москве, что у него есть томик твоих стихов, подаренный тобой, что стихи твои ему очень нравятся.

Как-то в нашем Союзе писателей я разговаривала с поэтом Михаилом Аслановым. В журнале «Дальний Восток» он ведет секцию поэзии. Как поэта он тебя знает,

но не знал, что ты племянник Вадима. А когда узнал об этом, попросил меня от его имени, чтобы ты прислал в журнал твои новые стихи. Просил настойчиво. Пришли, Алеша, ведь ты в Хабаровске родился, напомни о себе. Пришли мне, и я отнесу в журнал.

И дальше. По просьбе нашего Литературного музея я разбираю архив Вадима. Случайно обнаружила небольшой очерк твоего отца «Елка дедушки Тараса», о дальневосточном революционере Постышеве. Посылаю его тебе, а ты в свою очередь, как сын, мог бы его направить в «Дальний Восток». В редколлегии журнала еще есть люди, которые помнят твоего отца.

...Геннадий с семьей живет отдельно, работает диктором на телевидении, немного пишет — член Союза журналистов. Невестка тоже работает на телевидении — режиссером. Димка (Вадим) учится во Владивостоке в художественном училище. Способный, склонен к графике и карикатуре, как и дедушка. Я — на пенсии. После смерти Вадима часто болею.

Переписываюсь со многими родственниками Вадима по линии отца. Пишут мне из Киева, Минска, Тбилиси и даже из Софии. Всем пишу, все они мне дороги, как был дорог Вадим и дорога память о нем.

...Откликнись ради Бога! Целую тебя, дорогой.

Остаюсь Анна Романовна или просто тетя Аня, как раньше ты меня называл. Большой привет и добрые пожелания от Геннадия.

3 апреля 1987 года — 50-летний юбилей Алексея. Я смогла приехать только на следующий день и застала заночевавших у него Витю и Веру Болотовых. Нина Вадимовна сказала им тогда: «Все, ребятки, приехала Тамара, вам пора домой — я вызываю такси». Помню, больше всех подарков он радовался прекрасно изданной большой книге с работами Пиросмани. Жаль только, что она не сохранилась, как и многие, дорогие для Алешки книги.

Далее по времени идет следующее письмо Анны Романовны.

Хабаровск, 27 мая 1987 г.

Дорогая Нина! Спасибо за такое долгожданное письмо. Так разволновалась, что не смогла сразу написать ответ.

Горько было узнать, что нет больше Ольги Александровны. Человек не вечен, уход его закономерен, но с этим всегда трудно смириться. Моей мамы не стало почти одновременно с Вадимом. Она все страдала, что Вадиму так тяжело жить, что он прикован к постели! Я только сейчас понимаю: сколько мужества было надо для такой жизни, и с каким достоинством нес он свою судьбу, такую горькую. И теперь мне дороги все люди, имеющие хоть малейшее отношение к нему.

Еще при жизни Вадима ему писали из Тбилиси тетя Нина и Николай Владимирович Павчинский — бывший редактор «Зари Востока».

В Киеве жил еще один брат отца Вадима — Петр Владимирович — умер в 1954 г. Теперь там у него остались два сына — Сережа и Владимир и их мать — Ольга Алексеевна. А три года назад в наш Союз писателей пришло письмо из Софии. Писал троюродный брат Вадима — Петр Александрович Павчинский. Он родился в Болгарии, там у него семья. Вадима он нашел по его книге в Софийской библиотеке. Мы с ним переписываемся: чувствуется, что он скучает по родине своих предков,

которую никогда не видел. Среди людей, носящих фамилию Павчинских, ходит утверждение, что они родня, а не однофамильцы. Все они изучают свою родословную, свое «древо» и меня включили в свои поиски.

В прошлом году моя невестка была в Москве. В списках туристов ее фамилию увидела переводчица Марина Павчинская — тоже двоюродная сестра Вадима. Живет в Москве.

Подробности родословной напишу в следующем письме.

...В Хабаровске еще остались люди, которые тебя, Нина, помнят. Это Нина Комарова и писательница Юлия Шестакова. С Ниной Комаровой вы работали вместе в пионерской газете. Тогда у нее была другая фамилия. Братья ее — журналисты в Москве. Ее муж, Петр Степанович Комаров, умер давно, в 1949 г., от той же болезни, что и Вадим. Нина одна растила двоих детей. А Шестакова вместе с вами работала в «Т. З.», помнит тебя и Л. Решетова. А больше уже никого не осталось: в этой газете в то страшное время ушли один за другим, и никто не вернулся назад. Оно, это время, хорошо описано в поэме Евтушенко «Фуку», опубликованной в «Иностранной литературе», № 6 за 1983 г.

Как здоровье у Алеши? Хотелось бы, чтобы он прислал свои стихи, которые просил наш журнал.

...Нина, если помнишь, напиши, пожалуйста, в каком году родился Вадим Владимирович (отец) и где. Его брат — Николай Владимирович, родился в Житомире в 1988 году. У нас есть вырезка из «Зари Востока» с сообщением о его кончине...

Хабаровск, 11 марта 1989 г.

...Очень давно я посылала вам адрес дяди Жоры Петрова. Адрес этот нам приносила женщина, побывавшая в те годы в тур. поездке. Из тех далеких мест он внимательно следил за нашей жизнью, видел рисунки Вадима в «Тихоокеанской звезде».

Нина, ты писала о жене Ложкина. Действительно, в «Тих. звезде» многие годы работал такой фотокор Геннадий Ложкин, потом он скончался здесь же, в Хабаровске. У него осталась жена Тоня, мы с ней встречаемся. Не могу понять, кто та женщина, с которой жизнь тогда тебя столкнула — может, его вторая жена.

...У нас тепло, сегодня +18 °С, скоро пойдет Амур — это обычно бывает в конце апреля. Амур сейчас, как и все реки у нас, сильно загрязнен, рыбы почти нет. Если рыбаки-любители и умудряются поймать какую-нибудь жалкую рыбешку, то она совершенно несъедобна — пахнет канализацией.

...Алеша, может быть, все же пошлешь непубликовавшиеся стихи, которые давно просят в нашем «Дальнем Востоке»?..

Хабаровск, 5 апреля 1989 г.

Дорогая Нина! Рада была получить твоё письмо. Оно, к сожалению, как и мое, шло не очень-то быстро — так уж работает почта.

Позвонила Сутуруину. Он сразу же пришел за письмом (с твоего разрешения). Собирается тоже написать — твоё письмо его заинтересовало. Фотографию Л. С. он тоже забрал, обещал вернуть, как и договорились.

О себе писать как-то нечего. Живем с сыном в нескольких остановках друг от друга, но общаемся, в основном, по телефону. Некогда — такой век, ничего не поделишь. Внук Димка (Вадим) закончил с отличием Владивостокское художественное училище, и его оставили во Владивостоке — ему очень понравился город. По мане-

ре рисунка он повторил своего дедушку, та же графика. Рисовать начал очень рано. Вадим прочил внуку талант художника — так оно и получилось, а вот увидеть этого Вадиму не пришлось, он умер, когда Димке было 7 лет. Кроме таланта он унаследовал от деда красивые волнистые волосы, такие же темные. Как и все теперешние молодые люди, он вымахал на 186 см, немного выше Геннадия.

Геннадий живет рядом с домом, в котором когда-то давно очень недолго жил Вадим. Ему там давали комнату в домах партактива, это против стадиона «Динамо»...

...Нина, вспомни, пожалуйста, сколько было братьев у вашего с Вадимом отца и их имена. Твердо знаю о двух братьях: Петр Владимирович (Киев) и Николай Владимирович (Тбилиси).

В этот раз, будучи в Москве, я встретила с Мариной Эразмовной — очень приятная женщина, работает переводчицей (вроде бы — тетя Вадима), но ей нет и 50-ти, живет в старинном московском доме, у нее сын школьник. Они тоже волнуются — всем им раньше говорили, что у Павчинских нет однофамильцев, что это один клан. А из Минска мне пишет Борис Ростиславович (нашел меня по книге Вадима). Его отец Ростислав Эразмович — брат отца Марины...

12 декабря 1989 г.

...Хабаровск сейчас заполнен памятью об ушедших и горечью воспоминаний и утрат. Митинги, сходы... Все это сейчас показывают по нашему телевидению, передают по радио.

И город совсем изменился. Иногда делается непонятным, в какой Азии мы живем. На улицах города: корейцы, вьетнамцы, кубинцы, японцы, обвешанные видео- и фотоаппаратурой и улыбками. Все что-то строят, чему-то у нас учатся (непонятно только чему), а главное — рубят и вывозят наш лес. Скоро его у нас совсем не останется. А ведь это главное, что мы имеем. Но, видимо, так нужно...

Посылаю вырезки из «Т. З.»...

26 марта 1990 г.

...Нина, ты пишешь о книге вашего с Вадимом отца. Видимо, она еще до меня исчезла в те тяжелые годы, когда бесследно терялись не только книги, но и люди. Единственное, что я помню, как сразу после кончины Вадима ко мне обратился Д. В. — поэт. В печати он встретил фамилию — Ноэль. Узнав автора, он думал, что это Вадим. Я, конечно, ничего ему не смогла объяснить...

Теперь о фотографиях. Было у нас их две. На одной — молодая Ольга Александровна в шифоновом платье без рукавов. На другой — красивая девочка с бантом, озорно выставившая ногу на стол. Это, Нина, — ты. Оба эти снимка в свое время я отправила вам. Неужели, вы их не получили?

...Вале я отправляла фото Эдуарда Карловича и самого Вали, еще мальчиком, с бантом. Осталась единственная фотография, где вы сняты с Вадимом детьми.

Сделать снимок надгробия Вадима мне пока не удалось, Может быть, этим летом получится, тогда пришлю.

Нина, сохранился ли в твоей памяти эпизод из того времени: ты перестукивалась через стенку камеры с хабаровской Фаей Лотовой? Это моя школьная подруга из Красноярска. В Хабаровске мы с ней встретились случайно и дружили. Отбывала она свой страшный срок за мужа. Вернувшись, она рассказывала о перестуке с тобой. Она давно уехала на родину, а муж погиб «там».

Обращаюсь к Алеше. В памяти у меня так и остался милый, трогательный Гага. А теперь ты — такой известный поэт. Мы тут радуемся за тебя. Алеша, хочу еще раз напомнить о просьбе из секции поэзии нашего Союза писателей прислать твои стихи. Пришли, они обещали опубликовать их в «Дальнем Востоке». Ведь ты родился в Хабаровске!..

1991 год. 12 мая в пермской больнице умирает Нина Вадимовна. Алексей сообщил мне это по телефону и попросил приехать в Березники, где 14 мая должны были похоронить Нину Вадимовну рядом с Беталом и Ольгой Александровной. Помню, после этого звонка я на какое-то время от волнения даже потеряла зрение — так испугалась за Алешу и Олю. Моя мама велела мне ехать, чтобы поддержать Алешу. Я немедленно выехала в Березники. Среди хоронивших было много хорошо знавших Нину Вадимовну друзей Алексея из Перми. Ни на похоронах, ни на поминках к Алеше меня не допустили Оля и ее мать. Я, переночевав у Тани Лопатиной, давнего друга семьи Решетовых, пошла на вокзал, купила билет в Свердловск и вернулась, чтобы дождаться ее с работы и отдать ключ. Только я зашла в квартиру, зазвонил телефон. Это был Алеша. Он негодовал из-за того, что я исчезла, не подошла к нему на похоронах и на поминках, что от него скрывали, где я, пока он не учинил скандал и не дознался, у кого я остановилась. Мне было так больно, что, выслушав его, я смогла лишь сказать, что меня к нему не подпускают и что я сейчас уезжаю обратно домой. Тогда и потом, когда он допытывался у меня, кто все это делал с нами, я так ему ничего и не рассказала. Приехать к нему я смогла лишь летом, в свой отпуск. В тот год Оля купила на рынке щеночка, которого в честь бывшего пса называли Милордом. С ним мы нянчились, носили везде с собой в моей маленькой сумочке, даже в лес. Он вырос в огромного, очень самостоятельного и любимого всеми пса, и с ним связано много разных историй. Начался период наших встреч, который мы оба считали счастливым в нашей, если можно так выразиться, многострадальной жизни.

А теперь о нашем официальном замужестве, которое произошло в Перми лишь в феврале 1994 года. Дело в том, что Оля возобновила тогда отношения с будущим своим мужем Олегом Антиповым. Она хотела устроить свою жизнь, а потому «позволила» нам узаконить наши отношения — хватит, мол, жить как нехристи. Предполагалось, что Алексей будет жить со мной и моей мамой в Екатеринбурге, Оля же со своим мужем останется в Перми. Будем ездить друг к другу.

Спустя месяц после подачи заявления в загс и назначения даты регистрации я приехала, отпросившись с работы, из Свердловска в Пермь. Зарегистрироваться мы должны были 11 февраля, в пятницу, а венчаться — 13 февраля, в воскресенье, в пермском Петропавловском соборе.

Февраль в 1994 году был необычно холодным. В 30-градусный мороз мы мужественно дошли до Кировского загса в Перми, где нас быстро, без всяких церемоний и свидетелей, зарегистрировали и выдали готовые уже свидетельства. Весь следующий день перед обручением мы постились, готовились к исповеди.

Вечером Оля приготовила три одинаковые Священные книги, и мы втроем — Алеша, Оля и я — в Алешиной комнате перед иконой Тихвинской Божьей Матери довольно долго стояли каждый со своей книгой и свечой. Оля читала вслух перед иконой то, что положено, — мы следили и, где надо, молились. (Эта икона, а также выданные нам после венчания две иконки и остатки зеленых венчальных свечей мы позднее привезли в Екатеринбург.) Алеша все беспрекословно выполнял. Труднее всего было то, что нельзя было курить с вечера и до конца церемонии венчания, а это почти двое суток. Свои грехи он записал — где он только их «накопал»? (Я не читала, но видела, что это был целый список; но я и тому удивилась, что удалось увидеть краем глаза — настолько преувеличенными они мне показались.) Помню, что он был в тот период очень тих, сосредоточен, серьезен...

Забегая вперед, скажу, что таким же аскетически выдержанным он был в последние три месяца своей жизни...

И в то утро, в день венчания, было тоже за тридцать градусов мороза, а потому пришлось мне вместо приготовленного для такого случая довольно легкого костюма надеть поверх еще и теплый костюм. Алексей был в огромных черных валенках и в тулупе, который я ему когда-то перешила из сторожевого тулупа Володи Михайлюка. Так мы с ним и венчались одетыми во все теплое, так как храм тогда восстанавливался и не отапливался, только Алеша снимал, как положено в церкви, шапку. К утренней службе мы пришли втроем. Оля тогда работала в Петропавловском храме и писала иконы, так что нас служители — отец Николай и его сын, отец Василий, — знали хорошо, особенно Алексея. Мы и раньше не раз бывали в этом храме (были на праздничных службах и в других храмах).

После утренней службы началась исповедь. Алексей исповедовался очень доброму и милому отцу Николаю, который на каждый следующий озвученный Алешей грех удивленно восклицал: «Алексей Леонидович, как же так? Неужели и это? Ничего, Бог простит. И это? И это? Не может быть! Наговариваете на себя? Ну, ничего, ничего — все это простится». А Алеша все продолжал печально, с мрачным и решительным видом зачитывать свои, как он считал, страшные грехи. Я-то знаю, что, скорее всего, это были незначительные, мало от него зависящие проступки, раздутые им до размеров грехов. Это абсолютно точно. Он всегда судил себя строже, чем следовало бы. Но во время исповеди батюшке даже неловко было за него. Он поспешно как-то накрыл ему голову и пообещал прощение, сказав, что будет молиться за него.

В это время я исповедовалась сыну отца Николая, отцу Василию. Алексей всегда восхищался его проповедями, трепетно к ним обоим относился и всегда с теплотой о них говорил. Я тоже рассказала о своих грехах и покаялась. Самым большим грехом отец Василий признал тоску. Он строго сказал, что супруги не должны жить врозь, и нужно сделать все возможное, чтобы жить вместе. Никогда не забуду, как после исповеди, когда я отошла от отца Василия, у меня долго безостановочно текли слезы. Несмотря на все мои старания скрыть их, женщи-

на, стоявшая рядом, стала успокаивать меня шепотом, говоря, что это хорошо и что это — слезы очищения.

Исповедовались мы с Алексеем в разных концах храма, по обе стороны от алтаря. После службы мы нашли друг друга, и когда народ стал покидать храм, к нам подошел отец Николай и сказал: «Потерпите, дорогие, сейчас вот обвенчаем две богатенькие пары и потом спокойно займемся вами».

Наконец мы дождались своей очереди. Почти все, кроме нескольких любопытных, покинули храм. Мы ооченели и от холода, и от ожидания. Естественно, у нас не было, как у предыдущих пар, ни свидетелей, ни друзей, ни близких (кроме Оли), ни людей с камерами, которые могли бы запечатлеть это событие, никому о нашем венчании мы не говорили. Венчали нас оба батюшки, и Оля что-то вслух читала вблизи по Священной книге.

Все было прекрасно и таинственно. Колец своих у нас не было, поэтому пришлось воспользоваться кольцами моих родителей. Кольца эти, вспомнив о том, что при венчании должно обменяться кольцами, дала мне перед отъездом моя мама. Они были нам обоим велики, сразу после венчания мы их сняли и больше не надевали. Своих колец мы так и не приобрели. Когда мы с Алексеем в коронах обходили вокруг алтаря, на меня вдруг нашел какой-то нервный смех — я с трудом сдерживала себя, душила в себе всхлипы. То ли это был смех сквозь слезы, то ли наоборот; то ли смешная ситуация во время этого обхода вокруг алтаря. Возможно, это была невольная реакция на напряжение, которое, как нарыв, прорвалось, когда я увидела Алешу в валенках, тулупе, серьезного, оглядывавшегося на меня, в соскальзывающей с головы короне. В общем, ситуация для смеха была крайне неподходящая. Потом Алеша спрашивал, что это на меня нашло, говорил, что и сам едва сдерживался. Объяснил же он эти оглядывания на меня тем, что очень хотел увидеть меня в короне. Видок, конечно, у нас был еще тот!

Мы поблагодарили отца Николая, отдали ему кагор, гостинцы для внуков — апельсины и яблоки, и он пригласил нас посидеть в трапезной, но мы, поблагодарив его и за это, пошли домой.

Вечером пришли поздравлять Володя Михайлюк с Ритой, пожурили, что мы никого не оповестили. Мы их попросили и дальше не распространяться о нас. Потом пришла Марина, подруга Оли, поздравила нас и подарила старинную кулинарную книгу. Эту книгу Алексей потом, уже живя в Екатеринбурге, читал как произведение искусства. В общем все прошло, как мы и хотели, инкогнито.

Когда мы приехали домой, в Екатеринбург, мама встретила нас хлебом с солью и благословила иконой Казанской Божьей Матери, сохранившейся после ее с папой венчания. (Венчались они, естественно, в советское время тайком.) Вскоре Алеша опять уехал в Пермь.

Летом 1994 года состоялась незабываемая наша поездка по северу Пермской области (через Соликамск в Чердынь и Ныроб) с Федей Востриковым, его женой Ритой и фотохудожниками Владиславом Бороздиным и Станиславом Черниковым. Вернувшись, мы узнали, что Витя Болотов при смерти и дни его сочте-

ны. Алеша так переживал, что, когда мы подошли к его дому, не сразу решился войти к нему, послав меня вперед. Это была последняя — тяжелая, но одновременно и светлая встреча с Витей. Он был рад нашему приходу, тому, что мы поженились, был как-то непередаваемо светел и старался держаться бодро. Даже встал с постели, попросил Веру дать ему висевший на стуле и приготовленный уже Верой, чтобы одеть после смерти, костюм и несколько минут посидел поговорил с нами на кухне. Но из-за сильной боли вернулся в свою комнату на кровать. Вера предложила ему водку, но он не стал ее пить, а попил воды из Ныробского святого источника, которую мы привезли ему. Ушли мы с тяжелым сердцем. На следующий день Вера нам сообщила по телефону, что ночью Витя скончался. Это было 20 июня.

После узаконивания наших отношений мы еще какое-то время продолжали жить в разлуках, хотя они были уже не так часты, но случались и даже после окончательного приезда Алексея в 1995 году. Ему приходилось ездить по разным — служебным и семейным — делам в Пермь. Прописаться в Екатеринбурге он смог лишь в 1999 году, уже после смерти моей мамы, и когда распростился окончательно с пермской квартирой.

Алексей избегал разговоров о себе, старался не обременять никого своими проблемами и не отнимать тем самым времени у собеседника. Лишь очень немногим он мог обмолвиться о личных своих проблемах, мыслях и чувствах, да и то вскользь. Порой он нуждался в доверительном, откровенном общении, советах и в литературном плане. Нередко он находил одобрение и поддержку у своих друзей, к которым всегда очень тепло относился. Перечислю здесь лишь часть этих людей, связанных с писательством. В Березниках и Перми это — Виктор Болотов, Павел Петухов, Юрий Марков, Слава Божков, Лев Давыдычев, Алексей Домнин, Владимир Радкевич, Надежда Гашева, Роберт Белов, Ирина Христолюбова, Дмитрий Ризов, Семен Ваксман, Валерий Виноградов, Федор Востриков, Анатолий Гребнев, Виктор Соснин, Николай Вагнер, Николай Кинев из Кишерти, Александр Старовойтов; свердловчане: Яша Андреев, Майя Петровна Никулина, Саша Кердан, Андрей Комлев, Сергей Кабаков, Володя Чижов и многие-многие другие, близкие ему по духу и творчеству люди. Многих уже нет с нами.

То сокровенное, высказанное так емко в стихах и прозе Алексея, не может не задеть души внимательных и чутких к слову читателей. На хороших же читателей он очень надеялся, ставил порой вдумчивого читателя выше пишущего, верил, что он способен простить заблуждения пишущего или разделить в чем-то его сомнения, т. е. стать собеседником сердца.

Именно таким читателем был он сам. Доверяя читателю, он надеялся, что тот будет искать и, возможно, находить ответы на мучившие его вопросы, и главное — некоторое утешение для себя. К слову, именно так сейчас происходит со мной: через оставшееся его наследие, не оставляющие меня думы о нем, о нас, я продолжаю явственно ощущать некую связь с ним, правда, на новом теперь для

меня уровне — не материальном. То есть как когда-то во время временных наших разлук, я продолжаю мысленно общаться с ним, жду и нахожу его поддержку. И неважно, что это похоже на некое наваждение, главное, что эта связь не теряется. Как-то однажды он спросил по телефону, что я сейчас делаю, чем занимаюсь. Я ответила, что читала (не помню сейчас что именно). На это он мне сказал в обычной своей шутиливой манере что-то вроде: «А ты читай только меня». Тогда я этому не придавала особого значения, так и восприняв эту фразу — как шутку. Сейчас, перечитывая некоторые, в том числе и его любимые книги, я вижу, что важнее и ближе мне все же читать и перечитывать именно то, что им написано и связано с ним.

Я видела, что довольно давно Алексей почувствовал трагизм происходивших в нашей стране перемен, ощутил наметившуюся тогда духовную деградацию человека. Несмотря на кажущиеся после перестройки внешние признаки постепенного материального улучшения жизни, действия большинства людей стали направляться на удовлетворение эгоистических, сиюминутных интересов, на улучшение любыми средствами своего благосостояния. Видел он и то, что есть еще масштабно мыслящие люди, думающие о будущем, о сохранении духовных, человеческих ценностей, а значит, и сохранении самого человека в высоком смысле этого слова. Он хорошо понимал, что именно от этого зависит существование земли и всего живого на ней. Но таких людей становится все меньше, они остаются в одиночестве и от них мало что зависит.

Пусть мы прозрением озарены,
Пусть наш голос становится вещим,
Мы все равно никому не нужны —
Мы примелькались, как старые вещи.

Сталкиваясь с разного рода житейскими негативами, он успокаивал себя, нас с мамой и других, говоря о том, что хороших людей все равно пока еще достаточно. Особенно он огорчался, видя пагубные интересы и пристрастия молодых.

Помню, как он воодушевился и обрадовался, побывав на отчетном концерте, проходившем в музыкальной школе, где я работала. Школа эта была базовой и считалась сильной в профессиональном отношении. Она размещалась в специально построенном типовом здании и была прекрасно оснащена самым лучшим тогда оборудованием и инструментами и укомплектована очень сильными педагогами-профессионалами с консерваторским образованием, в ней уже несколько лет проводилось экспериментальное обучение детей музыке с трех лет. Чтобы перенять опыт, часто приезжали директора, завучи и педагоги из самых разных мест. Нередко они были и на моих уроках, так как я занималась по своему методу развитием у детей творческих способностей, навыков музицирования — импровизации и сочинения. В прекрасном большом зале проводились региональные конкурсы, в том числе ежегодный конкурс пианистов им. Прокофьева.

Концерт, на котором мы были с Алешей, длился более двух часов. Выступали дети со всех отделений, все оркестры: народный, струнный, джазовый, старинной музыки, даже группы развития, несколько хоров школы и т. д. Зал был набит полностью, даже его проходы. Алеша удивлялся после тому, что за весь концерт ни разу не кашлянул, чего он больше всего боялся. Он был поражен самими детьми, их лицами. Дома, после концерта, он восторженно рассказывал моей маме о том, что не ожидал увидеть такую массу прекрасных и одаренных детей. Правда, он также опасался за то, как же они впоследствии адаптируются в жизни. И все-таки он верил в то, что пока есть такие люди, культура у нас сохранится, а значит, и страна не погибнет. И опять возникли в голове его строчки по этому поводу: «...Но одумался, но отдышался — / распугали ворон соловьи./ Только вами я и восхищался,/ молодые потомки мои!» Кстати, Алеша не раз был в классе, где проходили мои уроки. Он даже по моей просьбе писал стихи, которые нравились детям и на которые они потом с удовольствием сочиняли музыку.

Сейчас каждый раз, проходя мимо трамвайной остановки, я вспоминаю, как он встречал меня после работы, и дома мы подолгу говорили обо всем, что было интересного за день. Он знал по моим рассказам обо всех моих учениках, с интересом слушал и часто в проблемных случаях давал дельные советы. Но все же он ревновал меня к работе. Мама говорила, что он скучал без меня, смотрел на приклеенное расписание на кухне, на часы и шел меня встречать. За год до своей смерти он хотел видеть меня чаще и настоял на том, чтобы я ушла с работы.

Несколько слов о нашем быте, не вдаваясь в подробности. Главной нашей общей мечтой было жить в уединении где-нибудь тихо в деревне. Еще он хотел, продав свою квартиру, свозить меня в Хабаровск, Владивосток, Грузию и даже в Париж. Не осуществилось. Любил ходить по магазинам и рассматривать, как на экскурсии, появившиеся в изобилии продукты, особенно овощи и фрукты. Всегда помогал мне готовить и делал это красиво и тщательно. Любил наши гуляния по городу и особенно — наши частые походы в лес за грибами. Сначала мы садились на электричку и выходили там, где нам больше нравилось, а потом облюбовали постоянную станцию — Мраморскую. Алеша помогал не только в моей работе, но также в домашних, хозяйственных делах. Мы часто читали друг другу то, что было интересно обоим, и т. д. Понимали друг друга без слов и часто ловили себя на том, что думаем схоже и одновременно о чем-то начинаем говорить.

О смерти. Самое тяжелое. Это чуть-чуть не произошло весной 2002 года, после того как он первый раз лежал в пульмонологии в Екатеринбурге. Был он там месяц (больше нельзя) и выписался с высокой температурой. Последнее он скрыл. Это было страшное для нас обоих время. К лету он поправился, и стоило это огромных усилий с его и моей стороны. Лишь потом, после выхода 3-томника, куда вошло и стихотворение «Я думал, что не доживу до весны», я нашла черновик этого стихотворения и поняла, что оно относится именно к тому периоду — после его весенней болезни.

Многим известно, что Алеша очень любил жизнь, принимая ее без иллюзий, такой, какая она есть, и всегда справлялся со всеми житейскими невзгодами и неурядицами. Он много размышлял о бренности земной жизни и о неизбежности ее конца и как бы готовил себя к достойному уходу из жизни. Меня поразило мужество, с которым он завершил свой земной путь на моих глазах и в буквальном смысле — на моих руках. Умер он сидя, до последнего мига находясь в ясном сознании: склонил голову сначала на мое плечо. Мне казалось, что на плечо твердо, поэтому я подставила ему ладони, и он склонил голову на них. Так мы сидели какое-то время. Дыхание его постепенно стало ровным, спокойным, потом он повернул голову ко мне, улыбнулся и как-то легко вздохнул... Мой племянник Андрей, который пришел навестить его, сказал, что это конец. Произошло это в 16-30 в воскресенье, 29 сентября 2002 г. Лег он в больницу 23 сентября, и так как нас торопили с составлением 3-томника, работу над которым мы начали за неделю до этого, то мы хотели продолжить ее в больнице. Но на пятый день меня неожиданно вызвала по телефону в больницу его лечащий врач, сказав, что я должна приготовиться к худшему. О подробностях, предшествовавших этому, и о трех днях, в течение которых он боролся за жизнь, когда отчаяние сменялось надеждой, я напишу, возможно, когда-нибудь позже...

Боль оттого, что его сейчас нет, и любовь моя к нему не проходят, а, наоборот, становятся все ощутимее. Все мои мысли и чувства, как и при его жизни, сосредоточены вокруг него, и словесному выражению они не поддаются. По любому поводу и случаю в голове возникают строчки из его стихов — и всегда очень точные, дорогие строчки. Они чаще грустные, но ощущаются, как бы материализовавшись, живыми: успокаивают, поддерживают и отвлекают от образовавшейся пустоты. Если раньше строки «Нет детей у меня. Лишь стихи окружают меня, словно дети...» он, молодой еще, в 1964 году, относил к себе, то теперь они относятся ко мне. Стихи его стали для меня родными, как наши дети. Кстати, ребенку нашему, о котором мы оба мечтали и который у нас зародился, но при нашей нелепой личной жизни — с короткими встречами, неизбежными разлуками и переживаниями по этому поводу — не мог сохраниться и родиться, было бы теперь за 20 лет...

II

**О поэте. Воспоминания
об Алексее Решетове**

**Избранные материалы
о творчестве поэта**

**Избранные интервью
с Алексеем Решетовым**

О поэте. Воспоминания об Алексее Решетове

Об Алексее Решетове написано много — как о молодом, начинающем поэте, так и о более зрелом. И теперь, после его кончины, появляются публикации, но сделаны они поспешно и людьми, мало знакомыми с его жизнью и творчеством. Думаю, все статьи о нем было бы нецелесообразно помещать здесь также из-за их большого количества, поэтому приводятся лишь некоторые. Часть материалов дана в сокращении. Свое же мнение о творчестве поэта может составить каждый, кто внимательно прочел его стихи и прозу¹.

Александр Сутурин

«Когда отца в тридцать седьмом...»

Заметки об отце поэта

<...>

Леонид Решетов родился в 1910 году в Москве в семье типографских рабочих. Окончив школу фабрично-заводской учебы Северной железной дороги, работал сначала слесарем, а потом помощником машиниста паровоза. Там же молодого рабочего из комсомола приняли в кандидаты ВКП(б), а в 1928 году, когда Леониду Решетову исполнилось всего восемнадцать лет, он стал членом партии. В 1929 году после учебы на Центральных курсах марксизма при ЦК ВКП(б) работал секретарем комитета ВЛКСМ на Саратовском заводе комбайнов.

В 1931 году стал студентом Института красной профессуры. Сбылась его мечта о получении высшего образования. Учеба увлекла молодого человека. С интересом ходил на диспуты и дискуссии, в которых участвовал прекрасный оратор Николай Бухарин. Вышедший из состава Политбюро ЦК ВКП(б), он еще долгие годы владел умами молодых.

В 1933 году по решению ЦК ВКП(б) с большой группой студентов ИКП — Александром Сенновым, Афанасием Кимом и Михаилом Кимом — прибыл на Дальний Восток в создаваемые при МТС политотделы. Л. С. Решетова назначили помощником начальника политотдела по комсомолу в Дубининскую МТС Михайловского района Приморской области.

В те годы, когда не хватало грамотных специалистов, коммунисты и комсомольцы совмещали обязанности нескольких человек. Л. Решетов с первого дня приезда возглавил политотдельскую партячейку. Чуть позже стал редактором общедоступной газеты. Нарекли ее «Вызов». Теперь Л. Решетов работал за троих.

¹ Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, примечания Т. П. Катаевой.

— Леонид Сергеевич Решетов, — рассказывал автору этих строк его друг и один из создателей популярной газеты, писатель и художник Вадим Павчинский, — был журналистом по призванию. Любовь к газете, печатному слову жила в нем с юношеских лет. Быть может, этому способствовала типографская профессия родителей, которую Леонид очень уважал... Он начал довольно рано «юнкорить». Будучи юнкором, состоял в литературном кружке при газете «Комсомольская правда». Кружком среди других руководил и Владимир Маяковский. Школа «Комсомолки» дала многое в приобщении к газетному цеху.

С 1934 года мы «Вызов» выпускали ежедневно, готовили и специальное приложение к газете. Читатели регулярно получали страничку для малограмотных, уголок международных обозрений «Окно в мир», сатирический листок «Овод», многокрасочную газету для колхозных ребят «Костер».

Первый год мы работали в «Вызове» вдвоем с Леонидом, в 1934 году прибавился еще один газетчик. Главными же нашими помощниками были многочисленные селькоры. Политуправление Наркомзема СССР переиздало номера «Вызова» комплектом в качестве учебного пособия для будущих газетчиков...

Загруженный политической, комсомольской и газетной работой Леонид Решетов находил время для подготовки материалов и для больших газет — областной «Красное знамя» и краевой «Тихоокеанская звезда». Позже в книге «Годы и строки», изданной во Владивостоке, ветераны-краснознаменцы напишут: «Кристалльно чистая ясность — вот чего всегда требовал от себя и от других Решетов... Это был мастер увлеченно рассказывать о самых обыденных делах — о середняке, который одной ногой шагнул в колхоз, а другой переступить не решается; о конюхе, который, ухаживая за общественным табуном лошадей, втихую подкармливает “своего” серого конягу... В любом внешне неприметном факте он видел проблему большого государственного звучания, требующую умного, человеческого внимания Советской власти...»

Формально Решетов не был штатным сотрудником газеты «Красное знамя». Но писал в нее подчас больше штатных. Его статьи на сельские темы были самыми яркими и впечатляющими.

Сложившимся журналистом и с богатым опытом организаторской работы Леонид Сергеевич в начале 1935 года пришел в «Тихоокеанскую звезду». К известным хабаровским газетчикам Петру Житникову, Елпидифору Титову, Евсею Данишевскому прибавилось новое имя. В газете стали часто появляться очерки, фельетоны, публицистические статьи, написанные Леонидом Решетовым. Работал он неистово, самозабвенно, не щадя своих сил. И, может быть, именно потому, что сам трудился за нескольких человек, он требовал от своих товарищей такого же вдохновенного напряжения. Писал Л. Решетов о хлеборобах Приамурья и строителях Комсомольска, рыбаках Камчатки и Сахалина, железнодорожниках и шахтерах Сучана. С любовью готовил волнующие репортажи о бойцах и командирах ОКДВА, моряках Тихоокеанского флота, пограничниках. Последняя его публикация — большой биографический очерк о маршале

В. К. Блюхере — появилась в «Тихоокеанской звезде» 6 августа 1937 года. Автор много раз встречался с военачальником, прочитал герою написанный очерк: журналист хотел убедиться, что не допустил неточностей.

А через три месяца Леонида Решетова арестовали дальневосточные органы НКВД... <...>

Кама-3. Литературно-художественный альманах. Пермь, 2003

Нина Решетова-Павчинская

Из воспоминаний

В конце сентября 1937 года Леша² был в командировке. Вернулся он числа 5 или 6 октября, и я рассказала ему о погромной статье в «Правде» от 30.09.37 г.

С 04.10.37 г. начался разбор статьи в крайкоме ВКП(б). Видя неизбежность происходящего, Леша был так еще наивен, чувствуя свою невиновность, что предполагал самое страшное для себя — исключение из партии, в которой безусловно состоял 10 лет (начиная с 17 лет). Чтобы оставить себе хоть частичку самого дорогого — он вынул партбилет из обложки (сохранить ее для себя). Два вечера провела я в страшной тревоге, думая, что он уже не вернется. Возвращался он слишком поздно совершенно убитый. До него не дошла очередь, а тех, кого уже приглашали и обсудили, при выходе из крайкома приглашали в «Воронки» и увозили навсегда.

На третий день к разбору остался один Леша. Его начали обсуждать в конце второго дня, и все выступающие были против него, так что результат был predetermined. Можно понять, с каким чувством я ожидала его.

И, несмотря на все, он все же пришел в этот вечер домой. Пришел хотя и взбудораженный, но и какой-то успокоенный или уверенный — не знаю, как определить его состояние в этот вечер...

Итак, все высказались против него, и только когда выступил последний, не высказавшийся товарищ, дело приняло совершенно неожиданный поворот.

Это был сотрудник редакции Полянский — человек тихий и незаметный, которому Леша не очень симпатизировал. Он сказал только, что если исключать из партии таких, как Решетов, то надо сначала исключить всех остальных. «Вы подумайте, что вы делаете?»

И вот после этого недавние противники стали снова брать слово и находить в Решетове все положительное и соответствующее моменту.

Короче, резолюция была такая: объявить выговор за потерю бдительности и послать на самый ответственный участок по борьбе с врагом народа.

Преыдущие два дня я мужественно держалась, чтобы поддерживать его, а

² Близкие Леонида Сергеевича Решетова звали его Лешей.

тут, когда все закончилось как будто благополучно, — заревела в голос, чем даже, кажется, обидела его. Будто бы не рада была такому благополучному исходу.

За полночь поужинали мы, распили на радостях бутылочку вина и улеглись спать, так как в 10 утра он должен был уже выехать в командировку по выявлению врагов народа.

В эту ночь я видела страшный, вещий сон, который запомнился мне на всю жизнь. В доме шум и крик: пришли злые волшебники и хватают людей. Вижу троих — они хватают жильцов нашего дома и бросают их в воду, всего семь человек. Те тонут, и только один поднялся и пошел по воде, как посуху, сказав: «Ничего, Господь милостив». Я видела его только в спину, с вещевым мешком за плечами (все последующие годы мне хотелось верить, что это был Алеша). После этого я увидела себя на перроне какого-то вокзала, забитого несметной толпой женщин, нагруженных мешками, чемоданами, узлами. Я все волновалась, что должен появиться поезд, а мы еще не купили билеты, но меня успокоили, что всех нас повезут без билетов.

Мы сели завтракать на кухне. В 10 часов утра за Лешей должна была прийти машина на вокзал. Кто-то постучал в дверь. Мне ответил Павел — наш дворник, попросил наш топор. Я открыла дверь, а там трое чекистов с дворником. Они сразу же: «Ваша комната, ваша жена?» Я чуть сознания не лишилась не оттого, что они пришли, а оттого, что этих людей я этой ночью ясно видела во сне: эти люди — все вплоть до одежды.

Обыск делали только в письменном столе, но зато сгребли все подчистую: даже все мои документы и все фото, даже детские; сказали, что потом разберутся и вернут. Забрали все фотоаппараты и две китайские бронзовые вазы ручной работы, которым сейчас цены нет. Поводом для их изъятия послужил иероглиф на донышке, напоминающий фашистскую свастику (весьма отдаленно). И они так и записали в протоколе: две вазы с изображением фашистской свастики.

Позднее я узнала у наших китайцев, что этот иероглиф означает нирвану — небытие.

Мама с детьми сидела на кухне, а мне велели собрать Леше необходимое. Он не хотел брать ничего лишнего, считая, что пробудет там не более недели. Хорошо, что я положила, кроме необходимого набора, теплый свитер и завернула все в двухспальное ватное одеяло. Все же на одну половину он мог лечь, а другой укрыться.

Прощался со всеми, а в коридоре, у входной двери еще раз обнял меня, и последние слова его были: «Никогда, ни при каких обстоятельствах не падай духом. Перемельется — мука будет». И ушел навсегда.

На улице накрапывал промозглый дождик, он шел, ссутулясь под вещевым мешком, в своем стареньком рыжем бобриковом пальто, не ведая, что шагает в никуда...

В 10 утра за ним приехал Фетисов, с которым они вместе должны были ехать в командировку. Когда он узнал, что произошло, — побледнел как мел и лишился дара речи.

Я села с ним в машину и поехала в редакцию сообщить обо всем Вадиму, но

он уже полчаса назад был отстранен от работы. Такая же участь постигла и меня. Дети остались без отца: Бетя — 1 год 10 месяцев, Алеша — 6 месяцев.

И так мы с Вадимом сделались безработными, и на работу нас никуда не брали. Я не могла устроиться даже уборщицей. Так было полгода, до марта 1938 года. А жить-то чем-то надо. Вот и стала ходить на барахолку, продавать все, что-то из тряпок, кроме Лешиных неприкосновенных вещей. Продала письменный стол с креслом, Алешину коляску, свои ручные часы (единственные в моей жизни — больше уже не завела). Кроме того, что нужны были деньги, — боялась, что опишут последнее, как это было принято. На второй день после ареста Леши пришел комендант редакции и потребовал казенные вещи — кушетку и старый канцелярский шкаф, служивший нам шифоньером, — боялся, что враги народа захватят социалистическую собственность.

В нашей полупустой комнате остались только полуторная кровать, детская кроватка, этажерка с книгами и обеденный стол.

Все это время я бегала по всем возможным и невозможным инстанциям в надежде узнать что-либо о Леше, но везде получала один ответ: «Вы враги народа, скажите спасибо, что вас еще носит земля».

Однажды в гастрономе я нос к носу столкнулась с его следователем Красильниковым, главным лицом при аресте. Я подошла к нему и сказала: «Товарищ Красильников, разрешите задать вам вопрос?» — «Слушаю вас», — сказал он и подошел ко мне. А когда услышал мой вопрос относительно Леши, сделал удивленное лицо и сказал: «Вы, гражданка, ошиблись, я не Красильников, а Меер — служащий банка, могу даже показать вам свой паспорт». Мне ничего не оставалось делать, как только с усмешкой сказать ему: «Первый раз в жизни вижу человека, который вынужден сам отказаться от себя».

Наш дом постепенно пустел. Из сорока квартир только три остались нетронутыми. По ночам стоял он темный, и светились лишь несколько окон.

Помню, как первым из нашего дома взяли Чугунова — культурнейшего китайца из горкома. Это был безупречно одетый, безупречно вежливый человек совершенно европейского вида. Леша, узнав о его аресте, сказал с недоумением: «Подумать только, вот ведь как маскировался». А когда перед своим арестом он пришел вечером из редакции и рассказал мне, что в Свердловске застрелился, запутавшись с врагами народа, Костя Пшеницын, которого мы — владивостокские комсомольцы просто боготворили, вид у него был совершенно подавленный, и он сказал, что теперь он уже ничего не понимает...

Буквально все знакомые, еще оставшиеся на свободе, затаились от нас и, встречаясь на улице, делали вид, что не видят нас. На одного, самого близкого знакомого, я была очень обижена за такое отступничество, а вот теперь только узнала, что он позднее тоже был взят и расстрелян.

Расстраивал меня Бетуля: после обеда мы выходили с ним погулять. Выходили за ворота, садились на скамеечку, как раньше, когда встречали Лешу с работы, и он, помня это, радостно говорил мне: «Скоро папа придет...» Мне так хотелось считать эти слова вещими.

Была уже зима, и я каждое утро бегала к зданию НКВД. Близко подходить не разрешали, я стояла на противоположной стороне, смотрела на это страшное здание с намордниками на всех многочисленных окнах, над которыми вились в морозное небо клубы пара, и пыталась угадать, над каким же окошком вьется его дыхание, чувствует ли он, что я стою так близко от него и так недосыгаемо.

В конце декабря мы с мамой затеяли генеральную стирку. Ванна была доверху заполнена замоченным бельем. Часов в 12 пришел мужик в коричневом кожаном пальто до пят и назвался комендантом Морозовым. Он безапелляционно заявил, чтобы к четырем часам мы были готовы с вещами, уже будут куда-то вывозить, а куда — нам, как врагам народа, знать не положено. Вывезем — тогда и узнаете.

Что делать, можно с ума сойти от неизвестности. На улице мороз страшный, ребята маленькие. Куда вывозят — в Соловки, на высылку — полная неизвестность, а тут еще укладывать ничего нельзя — белье мокрое.

Может быть, выручило то, что в таких непредсказуемых ситуациях я не теряю присутствия духа. Наоборот, у меня появляется особая энергия и сила. Думая, что вывозят из города, побежала в сберкассу, забрала деньги. Хотела телеграфировать Калинину (дура набитая), да не успела по времени. Прибежала домой, а там к нам пришла мамина приятельница Катя Любомудрова. Вот мы все и впряглись в работу. На всей кухне натянули веревки, нагрели докрасна плиту, налаживая в нее сочинения Ленина (дров не было); я стираю, мама сушит, Катя гладит. В общем, справились со стиркой, уложились и стали ждать машину с комендантом. Явился он, под хмельком, только в 10 часов вечера и милостиво разрешил ложиться спать до утра. Утром соблаговолил сказать, что нас просто выселяют из дома и перевозят в новое жилье. Уговорила его разрешить оставить детскую кроватку (одну на двоих) в общей кухне, чтобы мама с детьми побыла там, пока я устроюсь на новом месте. Согласился с трудом, до следующего утра.

Машина со мной и барахлом заехала во двор соседнего Портового переулка (в ста метрах от нашего дома), подъехала к какой-то развалюхе, утонувшей в снегу по самую крышу, шофер сбросил вещи прямо в снег и укатил.

Вместе со мной прибыла и семья Халфина из нашего дома, которых постигла такая же участь, как и нас, из-за отца, работавшего в редакции.

Разгребли снег, сбили амбарный замок с двери и вошли в помещение — комната метров 40 со множеством окон, заколоченных досками из-за полного отсутствия стекол. Несмотря на утро, в комнате совершенно темно. Пол под ногами прогнил, доски качаются, посреди комнаты полуразрушенная плита, стены по углам отошли друг от друга, и в отверстия навалило снега. В общем, вид хуже не придумаешь. Достаточно сказать, что сын Халфина, взрослый человек, сам отец, упал в свое кресло, закрыл лицо руками и заплакал чисто по-женски. Я же, поручив всем утепляться и обжигаться, побежала кормить Алешу. Алешка насосался досыта и сладко уснул у меня на руках, а я стала рассказывать маме о нашем новом жилье. Вдруг дверь в кухню распахнулась, и ворвалась молодая жена Халфина. Она только крикнула: «Ниночка, мы горим!» Я передала Алешу

маме и, как была, раздетая, бросилась бегом по лютому морозу спасать пожитки. Перед нашей хибарой стояла толпа народа и две пожарные машины. Я заметила у входа несколько чекистов.

Морозов бежал и кричал: «Сволочи! Враги народа! Нарочно подожгли!» А беда случилась из-за того, что интеллигентный Халфин понятия не имел о топке плиты, да еще разрушенной, а согреться было необходимо. Искры попали на чердак, и там загорелось, но настолько непригодно для жилья было это помещение, что пожарник, находившийся на чердаке, вдруг по пояс провалился через потолок и повис...

И все же нашелся и среди чекистов сознательный человек; он подозвал Морозова, отчитал его за издевательство над людьми и велел утром устроить нас по-человечески. Халфины получили где-то комнату и уехали, а нас поселили в этом же дворе в бывшую квартиру Арсеньева.

Квартира: две комнатки по 6 квадратных метров, одна метров 20, общая кухня, маленькая застекленная верандочка. Никаких удобств — ни воды, ни канализации — все во дворе...

В квартире уже жили семьи арестованных. В одной комнатухе жена работника посольства в Харбине Тося Сердюк с маленькой дочкой Идой. Во второй комнатке — жена военного Ефросиния Карачевская с сыном Олегом, учеником 10 класса. В большой комнате — хозяйка всей квартиры (в прошлом) Евдокия Хохлова, жена работника Хабаровского НКВД. С ней жил сын Борис, хороший, красивый парень 17 лет. Маленькую годовалую дочурку Дуся увезла к родным в деревню, боясь своего ареста.

Вот эту комнату мы перегородили занавеской и стали жить на новом месте. Там уже стоял хозяйский обеденный стол, и мы смогли поставить только свою кровать, на которой спали вчетвером: с одной стороны мама с Бетей, с другой — я с Алешей. Когда приходил Вадим (мой брат) — ему стелили под столом, больше места не было.

Так нигде и ничего не могла я узнать о Леше. Единственное, что разрешалось женам, — это передать раз в месяц 50 рублей, вложенные в конверт, и через несколько дней получить конверт обратно с распиской мужа о получении.

Эти дни передач были дня нас днями надежд и огорчений, и все же ждали их с нетерпением и тревогой. По росписи пытались гадать о многом, и хотелось что-то прочесть в каждой буковке.

Процедура этой передачи была очень сложная, так как нас собиралась у здания НКВД буквально тысячная толпа, и, чтобы упорядочить эту громадную очередь, одна-две из инициативных женщин раздавали порядковые номера. Раздавались они ночью за два дня до передачи, и получившие их сразу же уходили домой, так как не разрешалось собираться большой толпой, да еще на виду у всех. Но, понятно, все спешили прийти первыми, чтобы поскорее сдать заветный конверт с деньгами. И, конечно, было много злоупотреблений с раздачей номерков: выдающий их старался первые номера оставить для своих знакомых. Учитывая все это, я решила эту миссию взять на себя. И вот на швейной машин-

ке без ниток я прострочила бумажные полосы, чтобы легко было отрывать талончики с номерами, написанными зелеными чернилами, чтобы не было подделок, и, приняв ряд предупредительных мер, взяла раздачу номерков на себя. Правда, первую ночь приходилось проводить на морозе, а днем прятаться в каком-нибудь укромном местечке. На вторую ночь я отдавала оставшиеся номерки другой женщине и шла отсыпаться домой.

Сдача конвертов с деньгами шла медленно, так как принимавший их сверялся по огромной книге. И мы, подходя к окошечку, трепетали от страха: примут или нет? Если принимали, значит, жив и еще здесь. Если не принимали, значит, ушел в этап или из жизни. А бывали случаи, что прием денег прекращали, чтобы принудить подписать предъявленные обвинения, а потом снова начинали брать. Поэтому, несмотря на отказ, женщины продолжали упорно ходить, пока что-нибудь не прояснялось.

В феврале 1938 года я получила обратный конверт с такой распиской, что и ребенку было бы понятно: писавшему изобразить каждую букву в ней стоило больших трудов...

13.04.1938 г. Леша был осужден и в этот же день расстрелян. Я, понятно, не знала об этом и продолжала упорно ходить с передачей и, наконец, то ли надоела принимающему, то ли он пожалел меня и сказал: «Не ходи, не ходи больше, вот смотри — выбыл он», — и показал книгу, в которой фамилия Леша была вычеркнута красным карандашом.

С тех пор неотступно мучили меня два вопроса: в чем его обвинили и где нашел он последний приют?

Все это я узнала только через 52 года.

Кама-3. Литературно-художественный альманах. Пермь, 2003

Е. Воловик

Соль земли

Рассказ о рабочем и поэте Алексее Решетове

На Урал я ехала пассажирским поездом. Он останавливался на каждой станции, вздыхал всеми пятнадцатью старенькими вагонами и продолжал свой путь. Так, наверное, ездили в эти края сорок-пятьдесят лет назад, когда не были еще популярны быстроходные лайнеры и фирменные экспрессы. Почему-то запомнились названия станций: «Грузди», «Утес»... Бревенчатые дома собирались кучками, как грибы-грузди. Где-то вдали, за этими поселками проступали корпуса заводов, копры шахт, многоэтажные дома. Приметы сегодняшнего дня.

И снова за окном играло солнце в верхушках огромных елей.

Поезд мой приходил в Березники вечером. Так что было время подумать.

И снова вспомнился наш с Алексеем Решетовым междугородный телефонный разговор накануне отъезда из Москвы:

— Вообще-то я человек неразговорчивый. Так что не знаю, стоит ли Вам приезжать.

Для меня вопрос ехать – не ехать не стоял. Я знала, что Алексей Решетов, член Союза советских писателей, вот уже больше двадцати лет работает электрослесарем на солемельнице Первого калийного комбината в Березниках. А главное — я только что прочла маленький сборник стихов «Рябиновый сад», изданный в 1975 году «Современником», и поразились, сколько чистоты и нежности, любви и щедрого человеческого тепла было в его крошечных стихотворениях.

Такие стихи нужно читать с открытым сердцем, способным воспринять все, что чувствует поэт, готовым вместе с ним в тысячный раз благодарно прикинуть к земле, в которой — начало всех начал, увидеть, как догорает, «играя свою трагическую роль», костер, почувствовать совестливый ожог, как мальчишка, оказавшийся на ходулях перед безногим инвалидом...

Темы, казалось бы, исписанные, исхоженные. Звездочки над ними, как три сосны, меж которыми не сыщешь новой тропы. Решетов такую тропинку нашел, отмечает известный поэт Борис Слуцкий. Приветствуя появление одного из его первых сборников, Слуцкий пишет: «...Решетов Алексей Леонидович настоящий поэт и заслуживает, чтобы его читали далеко за пределами его города».

Решетова уже читают люди, живущие далеко от Урала. «Рябиновый сад» разошелся мгновенно. Жаль вот только, что другие сборнички его стихов и повесть «Зернышки спелых яблок» — достояние только пермяков. Достать их в Москве мне не удалось.

Дверь открыл невысокий худенький человек лет сорока с большими голубыми глазами. Он пригласил меня в комнату, и я по привычке осмотрелась. Все здесь было предельно скромно. Кровать, письменный стол, портрет Хемингуэя на стене. И книги, много-много книг. А книги, как и все, что было нажито семьей за многие годы, пришлось оставить в Хабаровске. Алексей помнит, когда книг в их доме было еще больше. Это были книги его отца, Леонида Решетова, главного редактора политотдельской газеты «Вызов», потом — ведущего публициста «Тихоокеанской звезды». Тогда они жили в Хабаровске. Отца не стало очень рано. А книги в семье берегли, словно оставалось в них что-то от него, какая-то живая частичка. Даже когда застывали в войну в холодной комнате, книгами не топили. Тогда, в голодные военные годы, они остались втроем — пятилетний Алеша, шестилетний Бетал и бабушка Ольга Александровна. Бабушка работала вахтером в «Приморзолоте», а братья сидели в комнате безвылазно всю зиму — надеть было нечего. Все радости на свете заменяли сказки Пушкина, которые читал Бетал. Ради Пушкина и освоил Алеша тогда грамоту, чтобы самому прочесть волшебные строки.

И еще одно чудо отчетливо запомнилось ему с тех лет. Два больших красных яблока, подаренных братьям в новогоднее утро. Бабушка раздобыла их за немалые деньги, чтобы порадовать своих внучат. «Яблоки мы съели, — вспоминал потом он в своей повести, — а их зернышки закопали в горшок от давно зачах-

шого цветка. И поливали до тех пор, пока бабушка не убедила нас, что это пустая затея. Так холодно, разве они уцелеют? И вот, думая теперь о своем детстве, я всегда сравниваю нас самих и эти яблочные зернышки...»

Только человеческое тепло спасло мальчишек в те суровые годы. Раз выжили они, не погибли, значит, нет ничего на свете сильнее, чем доброта человека.

<...>

Мама их оказалась жива. Она всю войну работала на Урале и не знала, где ее дети. Сколько же было радости, когда они, наконец, нашли ее, приехали в этот город, который стал для них теперь родным, чтобы больше его не покидать.

В первом классе Алеша не учился. Пошел сразу во второй, в Зырянскую школу. «Ну что с тобой делать, — вздыхала учительница, — совсем не умеешь считать. Если и читаешь плохо — не смогу тебя принять». Но читал Решетов отлично, четко, с выражением произнося каждое слово. «Ладно уж, — сказала учительница, вписывая фамилию мальчика в классный журнал. — Посмотрим, что из тебя получится».

Не думал Алеша, что получится из него поэт и горный техник. Мечтал стать художником. Красок не было, рисовал белилами на фанере. Уходил далеко в лес или на Каму и рисовал. Картины свои выставлял в сарае. Посетителями этой выставки были дворовые мальчишки. Алеша слушал их восхищенное присвистывание и счастливо улыбался... Много лет спустя в своих стихах он выразил все, что не сумела сказать его кисть.

Как-то само собой получилось, что после школы он пошел в горно-химический техникум. В техникуме давали форму, платили стипендию. И вообще уральская земля казалась Алексею чем-то вроде малахитовой шкатулки, полной сокровищ. Приложи усилия — откроешь ее и добудешь неистощимые богатства. В этих краях таким богатством была соль.

Бетал заканчивал институт в Москве. До защиты диплома оставалось две недели, и примерно столько же до появления на свет его первенца. И у Алексея все складывалось хорошо. Он уже работал горным мастером, готовился к выпуску первый сборник его стихов «Нежность».

Жизнь, такая щедрая на доброту, бывает неожиданно жестокой и несправедливой. Бетал стал альпинистом. На одном из трудных восхождений сорвался. Думал пустяк, но последствия оказались трагическими...³

Когда Алеша с матерью получили тревожную телеграмму, они еще не знали, что Бетала нет в живых. Вернулись из Москвы домой, и в это время из роддома привезли маленькое крикливое существо — Ольку. Она не понимала, что в доме

³ Е. Воловик указывает придуманную в семье причину гибели Бетала. Эта история рассказывалась всем, чтобы истинная причина, самоубийство Бетала, не дошла до его маленькой дочери. Но отличным альпинистом он действительно был. И под «скалой-крутизной», на которой погиб брат, Алексей в своем стихотворении «Золотые врата» имел в виду трагедию, произошедшую в силу сложившихся сложных жизненных обстоятельств.

горе, и жизнеутверждающий крик ее казался неестественным в этих притихших стенах.

Олюшка заняла главное место в сердце Алексея. Она стала не просто его племянницей, а его дочерью, его домом, его радостью в жизни. Своей семьи у Алексея не получилось. (Главной причиной, конечно же, была жертвенность Алеши ради памяти о брате. — Т. К.). Когда он, убитый горем, несколько месяцев пролежал в больнице, девушка, жизни без которой он не представлял, ушла к другому⁴. Так и остался он «приговоренным к последней и пожизненной любви». Но не родилось в сердце ожесточение, не окаменело оно, а еще больше света, еще больше нежности стали излучать стихи поэта:

...Светолюбивы женщины.
 Нельзя
 Представить даже,
 что за темень будет —
 Исчезни вдруг
 их ясные глаза
 И маленькие матовые груди.

Тогда забота об Ольге, дни, насыщенные до предела на руднике, стали его спасением.

Решетов никогда не боялся работы. Наоборот, его всегда тянуло к ней, туда, где люди, видеть, как захвачены они своим делом, как сосредоточенно-напряжены их лица. В детстве замирал перед огненным фейерверком брызг, что рассыпались у станка точильщика, позднее, когда впервые спустился в шахту, не мог оторвать глаз от того, как, откалываясь от монолитов стены, покорно ложится руда к ногам шахтера.

— Если над копром горит звезда — значит, план выполнен, — объяснял мне Алексей Решетов по дороге к Первому калийному. Услышала я в словах этих гордость — простую бесхитростную гордость рабочего человека.

Мы взобрались на высокий четвертый этаж солемельницы, потом прошли еще по каким-то узеньким лесенкам, и я увидела, как поднимаются сюда прямо из недр земли огромные ящики-скипы, как шумно выдыхают они руду, как несется эта руда дальше, по транспортерам, перемалываясь в огромных жерновах дробилок. Дрожат стены, напряженно гудят машины. За эти машины, за то, чтоб не сбивался, не захлебывался их мерный труд, чтоб беспрерывно поднимались из шахты очень нужные стране минералы — силвинит и карналлит, в ответе он, дежурный электрослесарь Решетов.

Мой спутник взял в руки один из кристаллических осколков, погладил его пальцами по шершавой белой поверхности и сказал: «Это самое ценное. — чистая соль. С ней можно варить картошку».

⁴ Если быть точным, с этой девушкой, Верой Нестеровой-Болотовой, Алексей познакомился в 1963 г., а те трагические события произошли в 1960 г., т. е. через три с половиной года.

В его обязанности входит следить за работой моторов, пускателей, автоматов, трансформаторов, датчиков, реле. Забарахлит какая-нибудь «релюшка» — остановится поток, остановится солемельница. А ей нельзя простаивать: солемельница — связующее звено между шахтой и фабрикой.

Здесь, на руднике, трудно точно придерживаться узких рамок этого административного предписания. Как-то у Решетова я прочла такие строки: «Я знаю, насколько опасен рудник, когда разъяренная сила, как вепрь, ломает, как спички, основную крепь...» Внизу, в шахте, и здесь, наверху, может случиться всякое...

Если забивает проход большой глыбой — негабаритом, или руда завалит ротор дробилки, или из-за обвала сходит с рельсов кратцер-кран — машина, похожая на огромного клыкастого мамонта, — Алексей не делит обязанности на свои и чужие. Он берет лом и кувалду и вместе с товарищами принимается за нелегкую работу.

У него, наверное, с детства осталось: всегда приходиться на помощь людям, делиться последним куском хлеба, чувствовать себя виноватым за все плохое, что совершается на свете. Я поняла это, прочитав одно из стихотворений Решетова:

Мы в детстве были
 много откровенней:
 — Что у тебя на завтрак?
 — Ничего.
 — А у меня хлеб
 с маслом и вареньем,
 Возьми немного хлеба моего...
 Года прошли, и мы
 иными стали.
 Теперь никто не спросит
 никого:
 — Что у тебя на сердце?
 Уж не тьма ли?
 Возьми немного света
 моего.

Мог бы, конечно, поэт найти себе дело и более близкое литературному призванию — скажем, работать в «Березниковском рабочем» или в пермской газете. Мог бы... Но не хочет.

— С этой работой я слился, — говорит мне Алексей Решетов. — Изменить ей — значило бы изменить самому себе, людям, которые стали мне родными. А этому не может быть оправданий. И потом я упустил для себя что-то очень важное, ведь труд воспитал во мне поэта.

И полон чуда, веры, торжества
 Тот миг, когда естественно и просто
 Приходят вдохновенные слова
 На лист, необитаемый, как остров.

От нелегкой работы на руднике грубеют руки, но не сердце. Оно остается таким же спокойным и светолюбивым. А вечером, после смены, в тишине родных стен рождаются лирические строки.

Труд. 1978. 7 окт.

Владимир Михайлюк

Тогда, в Березниках...

Расширены глаза, как у детей,
Попробуй жить и не растратить крови,
Переживая тысячи смертей
И чьих-то несложившихся любовей.

Алексей Решетов (Поэты. 1964)

<...>

В Москве гибнет Бетал. Трагедия усиливается стечением жутких обстоятельств. На другой день жена погибшего рождает дочь. А по приезде в Москву мать с Алешей узнают, что Бетал покончил жизнь самоубийством — повесился...

В тот злополучный субботний вечер он остался в общежитии один, хотя друзья его звали в кино. То ли на него накатила хандра одиночества, то ли произошло расстройство души, но позже он стал стучать в комнаты в поисках кого-либо. И как назло — никого. Только в одной из комнат в конце длинного коридора шла вечеринка. Бетя постучался в дверь. Не открывая ее, женский голос спросил: «Кто?» Бетал назвалса. «А что тебя принесло, Решетов?» — спросили. «Мне плохо». — «А кому сейчас хорошо?» — отшутились под общий смех за дверь. «Но мне в самом деле плохо!» — не переставал стучаться Бетал. «Приходи утром, окажем помощь». В комнате заиграл патефон и зашоркали подошвы туфель.

Когда друзья Бетала поздно вечером вернулись из кино, он был мертв.

А стечение угнетающих обстоятельств продолжалось. Те самые студентки, к которым стучался Бетал, узнав о его гибели, пришли повиниться и просить у матери прощение за то, что не открыли ему. Лучше бы они не приходили! В глазах Нины Вадимовны и Алеши они предстали убийцами. Ни мать, ни брат уже никогда до конца своих дней не забудут про эту упущенную возможность спасти Бетала от петли...

Чтобы доставить тело Бетала в цинковом гробу в Березники, у них не хватило денег, и они вынуждены были прибегнуть к кремации. В очереди в крематории наслушались всего, но что особенно глубоко их задело — подвыпившие исполнители кремации, мол, перепутать могут и выдать урну с чужим прахом. Однако есть страшное окошко, глядя в которое, можно проследить: ваш ли покойник идет в печь.

Алеша отважился смотреть в это окошко и... теряет речь на три месяца. Он совсем онемел, не в силах ни с кем разговаривать. Близкие думали, что он уже не вернется в реальный мир. И потом, когда Алеша пришел в себя, он никогда никому не рассказывал, что в том окошечке увидел...

<...>

С Алексеем Решетовым мы встретились в 1961 году в Березниках, когда по заданию редакции газеты «Молодая гвардия» я поехал готовить целевой номер, посвященный городской комсомольской организации. В нем нужно было представить и молодых поэтов, и, главное, Решетова, у которого годом раньше вышел первый сборник стихов «Нежность». До него еще никто из березниковцев не издавал книги стихов.

Встреча наша произошла возле Дворца культуры калийщиков, рядом с его домом. Алеша показался мне застенчивым и робким. Когда я попросил у него стихи для газеты, он ответил:

— А вы лучше напечатайте Витю Болотова. У него стихи — не то что мои, а не печатают... И зря. Он учится на третьем курсе Литинститута и работает в многотиражке титано-магниевого комбината.

Я обрадовался новому автору, записал о нем все, что рассказал Алеша, но настоял, чтобы Алексей все-таки тоже принес мне несколько своих стихотворений. Он сходил за ними домой и проводил меня до троллейбусной остановки.

В 1963 году по заданию уже другой редакции, газеты «Звезда», я приехал на строительную площадку Второго калийного рудоуправления, находившуюся на пятнадцатой версте от Березников. Была зима. Падал густой снег, крупный и пушистый, как гусиный пух. Меня обогнали парни в шахтерских касках. Я долго глядел им в след, жалея, что меня нет среди них. Чуть позже в моей трудовой книжке появилась запись: «Принят на должность монтажника», а через несколько месяцев: «Переведен учеником проходчика вертикальных стволов». Немного спустя мне дали пятый разряд.

Жил я, снимая угол в старинной деревне Круглый Рудник, состоявшей из одной улицы и двух переулков. Слева ее огибала речка Зырянка с хитрющими неуловимыми хариусами, а справа вдоль деревни тянулся овраг с бурлящими ключами, родившими родниковую речушку, далее за оврагом шли колхозные поля и березовые сколки.

Бригада проходчиков, в которой я трудился, начала бить первый ствол на стройке. Мы пробивались сквозь мергеля и крепкие, как гранит, песчаники строго вертикально на глубину пятисот метров, где залегали пласты силвинита.

Проходка велась круглосуточно, посменно, продолжительностью шесть часов. В рабочие дни я никак не мог вырваться в Березники, настолько уставал, и лишь в пересменку мне удавалось встретиться с Решетовым и то, если у нас совпадали выходные. Но и в те редкие встречи мы постепенно узнавали друг о друге подробности из нашего сиротского детства, о том, что в 10 лет у меня погибла мать, а у него в полгода — отец, что его мать и мой отец очутились в одном лагере в Соликамске, хотя их арестовывали в разных концах страны —

кого на Украине, кого — на Дальнем Востоке. Вот уж истинно неисповедимы пути Господни!

Эти-то неисповедимые пути и сблизили нас с Алешей, таких разных, но с одинаковой судьбой. Решетовы меня приняли, как родного. В мой приезд Нина Вадимовна накрывала стол в своей большой комнате, а когда к вечеру я собирался уезжать к себе в деревню, все трое — Алеша с бабушкой и мамой наперебой предлагали мне остаться ночевать. В те же дни Алексей подарил мне свой первый сборник стихов «Нежность» с такой дарственной надписью: «Вова, родной — долго со мной дружи — это моя просьба корыстная: Алеша Решетов!», а внизу вместо даты дарения в скобках был назван день «пятница».

Прочитав эту трогательную надпись, я понял, как Алеша одинок, и мне искренне захотелось быть ему другом, а друг — это другое «я», как верно сказал отец Павел (Флоренский).

Позже у Решетова будет много друзей, большей частью в Перми, очерченных стихотворной строкой Виктора Болотова.

Определился круг знакомых.
Загадочный, по сути, круг.
В каких он выписан законах —
Но вот — определился вдруг!

В этот круг входили детский писатель Лев Давыдычев, Алексей Решетов, поэт Виктор Болотов, редактор книжного издательства Надежда Гашева и ее муж поэт Борис Гашев, детская писательница Ирина Христолюбова, прозаики Роберт Белов, Геннадий Солодников и Дмитрий Ризов, кинорежиссер Григорий Мещеряков и сценарист Виктор Соснин, березниковские поэты Павел Петухов и Юрий Марков, и автор этих строк.

К сожалению, Решетов редко бывал в нашем кругу, он жил на отшибе, в Березниках, разве только, когда приезжал в Пермь или кто-то из нас навещался к нему. Павла же Петухова и Юрия Маркова, рыцарски преданных Решетову, бабушка Оля и Нина Вадимовна не очень-то жаловали и неохотно отпускали к ним Алешу из-за того, что такие встречи сопровождались выпивками, а в городе вечерами было беспокойно. Мне же, в мое пребывание в Березниках, когда бы я ни спрашивал Нину Вадимовну, можно ли нам с Алешей уехать на выходные дни ко мне в деревню или пойти в город, она отвечала:

— Володя, с вами — хоть куда! А с другими — ни в какую!

Такой чересчур строгий режим, установленный для Алексея бабушкой и матерью, предопределен, как уже было сказано, гибелью Бетала, страхом за жизнь единственного внука и сына. Сугубая эта боязнь усиливалась еще тем, что Алексей постоянно влипал в какие-то скверные истории, а для более точного определения, позаимствую строку у Беллы Ахмадулиной, — «как мальчик попадал в беду». За ним словно увязывались несчастья.

Как-то Алексей пошел покупать бабушке лекарство. Возле аптеки на тротуаре лежал мужчина, мимо которого проходили люди, не обращая на него внима-

ния. И только Решетову понадобилось выяснить, что с ним. Пока он нащупывал пульс, подъехала вызванная кем-то машина. Как только из нее вышли два милиционера, какая-то женщина-дура, не разобравшись, закричала, показывая на Алешу:

— Это он его убил!

Милиционеры схватили Алешу. Один заламывает руки, другой шарит по карманам, находит удостоверение члена Союза писателей, читает его и буквально захлеб злорадствует:

— А-а-а! Достоевский-Шолохов попался!

Алексея заталкивают в машину и вместе с пришедшим в себя мужчиной увозят.

Эту сцену наблюдала женщина, знавшая Решетовых, позвонила Нине Вадимовне, та бросилась к первому секретарю горкома партии Кондратову, который недавно возглавлял горный цех и знал хорошо начальника молодежной смены Решетова. Он-то и вызволил Алексея из милиции. Другой раз Алексей заступился за пьяного ветерана войны, с которым милиционеры обошлись грубо, и сам вместе с ним загремел в вытрезвитель, хотя был трезв, как стеклышко. Еще в другой раз попытался спасти от живодеров бездомную собаку и был избит. И так — постоянно. Не удивительны опасения за Алешу в семье...

1963 год мог стать для Алексея переломным. В его жизни произошло несколько приятных событий. В Пермском книжном издательстве вышла повесть «Зернышки спелых яблок». Готовилось повторное издание книги стихов «Белый лист». 21 стихотворение этого сборника были написаны в 1963 году, многие из них вошли в золотой фонд решетовских творений, определивших незаурядный талант поэта и оставшихся навсегда в памяти читателей.. Это «Белый лист», «Убитым хочется дышать», «Мы в детстве были много откровенней», «Светолюбивы женщины», «Шахматы», «Первобытные девчонки», «Уж если я умру и не воскресну», «Когда музеи закрывают» и другие.

Стихи писались вдохновенно. Только так могли родиться изящные строки:

И полон веры, полон торжества
Тот миг, когда естественно и просто
Приходят вдохновенные слова
На лист, необитаемый, как остров.

В том же 1963 году в жизни Алексея появилась возлюбленная. Вполне возможно, что это она вдохновила его на такое яркое стихотворение, адресованное ей.

В.Н.

Я встреч с тобой боюсь, а не разлук.
Разлуки нас с тобой не разлучают:
Во тьме ночей и в путанице вьюг
Мои глаза твой профиль различают.

Но вот ты рядом. Листья и цветы
На легком платье у тебя весною.

О, как чиста, о, как прекрасна ты,

Какая даль между тобой и мною!

Какая даль — без края и конца!

О снежная жестокость расстояний —

Ни огонька, ни милого лица,

Ни наших встреч, ни наших расставаний.

В этих стихах молодого Решетова — признание в любви Вере Нестеровой.
<...>

Увидел я ее у себя в деревне, куда она приехала вместе с Алексеем. Красивая. Она же, мне кажется, в своем юном возрасте себя таковой не считала или не придавала своей внешности особого значения, была душевно занята чем-то другим, более важным. Позже я узнал, что Вера пишет стихи.

Я радовался, что они нашли друг друга. Казалось, вот-вот кончится Алешино одиночество, и он, наконец, выйдет из угнетенного состояния, в которое его завела кончина брата. Но напрасно я так думал... Нерешительностью Алексея, его робостью воспользовался наш общий друг Виктор Болотов, которому Вера тоже нравилась. В ту пору он оправдывался перед нами тем, будто Алексей сам толкнул Веру в его объятия. Тогда мне верилось, что это так и есть, но теперь, когда стали известны письма Виктора к Вере, все видится иначе: Виктор вероломно, решительно и настырно вторгся в их еще неокрепшую дружбу.

Вера! Вера!

Ты слышишь меня?

Если ты хоть капельку любишь меня, приезжай сюда. Нам дадут комнату. Я уже все детали обговорил. Мы поженимся — так должна кончиться, вернее, начаться сказка о принце и Прекрасной Принцессе, в противном случае, в мире будет одной несправедливостью больше.

Или тебе больше нравится Алеша?

23 июня 1963 года. Березники.

Любимый нами Виктор торопился. Осенью ему предстояло идти в армию, потому он действовал по-военному, главное, ввязаться в бой, а там — видно будет.

Виктор был, бесспорно, влюблен. Его письма к Вере восхитительны. Не зря Борис Пастернак написал: «Любимая, жуть, когда любит поэт!»

В октябре 1964 года Вера приехала к нему во Владивосток, где он служил в армии. Они сыграли свадьбу, Виктор писал матери Веры: «Я проникаюсь глубокой благодарностью к Вам, Екатерина Сергеевна, за Вашу прекрасную Веру, за мою прекрасную Веру... И знайте: мы с ней счастливы, как никто в этом мире. Иногда мне кажется, что все это сон...»

В 1965 году Вера вернулась в Пермь из-за возникшей трудности: нечем было платить за снимаемую комнату. И во след ей прилетело письмо.

Милая Вера!

Только что исчез твой голос из моей комнаты. А мне стало так тяжело, как уже давно не бывало. Я не встречал людей светлее и лучше, чем ты, и боюсь, что не встречу. Пишу это и так горько, горько — я представляю, как ты мило (только ты так умеешь) улыбаешься своими вечно изумленными глазами, читая эти строчки, и не веришь ни слову.

...Я люблю тебя. И так, как я люблю, тебя уже никто не полюбит.

Помнишь вокзал? Я тогда был не в себе, я болтал всякую чушь: меня обуяла вовсе не свойственная мне застенчивость. А когда ты махала мне рукой, во мне возникли стихи, возьми их, это тебе.

*Ты — вдали.
Ты мне машешь рукой.
Ты светло удаляешься,
Будто —
За изгиб уходящей рекой,
Иль звездой,
Заходящей под утро.
Да, прощай.
Это — просто.
Прощай.
И следы твои росы омыли.
Повстречаю тебя невзначай
Как явление в естественном мире.
И природа затихнет, чиста.
Будет смыслом ее и значеньем
И святая твоя простота,
И души твоей светлой свеченье.*

Это были, пожалуй, самые счастливые годы в жизни Виктора. Он отбывал воинскую обязанность, а в Перми секретарь писательской организации Л. И. Давыдычев готовил к изданию его первый поэтический сборник. Он служил на Тихом океане, а к нему в такую даль приехала девятнадцатилетняя девушка и стала его женой. Разве это не счастье?

Но как же будет не похожа их дальнейшая жизнь на первый медовый год во Владивостоке! И все из-за того, что творческая судьба Болотова начнет складываться более трудно, чем, скажем, судьба Алексея Решетова, хотя и его удел был нелегок. Но об этом — по ходу событий.

В феврале 1965 года я ушел с проходки, и, при отъезде в Пермь, Алексей передал мне двадцать стихотворений Веры Нестеровой, переписанных его рукой, видимо, в подвернувшееся свободное на работе время, на оборотной стороне служебных бланков отдела капитального строительства калийного комбината. Кроме них, три стихотворения были написаны самой Верой, одно из которых, «Хан Батый», с моими инициалами В. М. — посвящалось мне.

Не приведи судьба мечтать,
Как Бату-хан десятилетний.

И алой бурей проскакать
Под стоны нескольких столетий...

С моим возвращением в Пермь начнется наша переписка. В письмах ко мне Алеша еще долго писал о Вере и ее стихах.

Дорогой Володя!

Спасибо тебе за поздравление в черный день моего торжества. Прими и ты мое пожелание всего, чего тебе охота, в свой день рождения. Будь счастлив, пора у нас быть им.

Иру я не видел еще, это мудрено с моими предками. Боятся, что потеряю девственность. Увы мне. Ругаемся по поводу эмансипации круглые сутки. Бабка стала невозможной. Одна надежда — подсохнет грязь, буду ходить в лес по радости.

Вера прислала несколько стихов — сила, и я рад, что она нас давно переплюнула. Поэт импрессионизм, Гоген (слово «Моне» зачеркнуто. — В. М.).

*А я в своем зеленом доме
В одежде легкой, голубой,
Как будто цапля в водоеме,
Стою с поникшей головой.*

(Эти же стихи Алексей, возможно, послал Виктору и писал о них, или Вера сама отправляла их с отзывом Решетова. Это видно в ответе Виктора Вере, который почти дословно повторяет мнение Алексея: «Стихи твои (Моне, Гоген) меня умилили — в них действительно есть и Моне, и Гоген. Хотелось бы еще, пожалуй, больше вешности. Но, может быть, это бы испортило. А сейчас в них солнечный свет и грусть — синяя! — импрессионизма!» — В. М.) *Это письмо, возможно, передаст тебе Юра Марков, или получишь по почте. Послушай Юрины песни «Не будите прохожих» и «Песнь песней».*

А Веру хватит держать в черном теле, надо ее печатать, я убежден в этом. Это уже не для нее важно, а для тех, кто любит стихи. Я, видно, долго не буду писать — несколько раз пробовал — ни в дугу.

... *Слава Богу, выскочил Болт. (Пока Виктор служил на флоте, в Перми вышел первый сборник его стихов «Наедине с людьми». «Болт» — так звали Болотова его друзья. — В. М.) Пришли 1–2, 3, 4, 5 и так далее его книжечек, пожалуйста. Пиши, звони. Я тебе ничего не могу подарить сейчас, кроме своей души и ... Нобелевской будущей премии. Вылью за твой путь и здоровье при первой оказии. Живи долго.*

Спасибо тебе за Заболоцкого, которого с наслаждением читаю. Валерианка, камфора, на сердце от него легче. Трудно лишь в том отношении, что видишь — сам перед ним карлик, ж...а, прикинувшаяся соловьем.

Грустно, старик! Радость наша — всегда после ужина горчица.

Поклонись ребятам, бывшим молодогвардейцам.

Обнимаю тебя, старик, будем уповать на будущее.

Твой Леха.

11.4.66 г.

Пойдет ли рецензия на Витю? Теперь он подкован и надо помогать кому-нибудь из наших близких, пишущих.

По возвращении из Березников я не вернулся в «Звезду», откуда был переведен в «Шахтспецстрой», а стал работать в редакции газеты «Молодая гвардия», в моей журналистской колыбели. И вскоре мы с заведующим идеологическим отделом Юлианом Надеждиным и ответственным секретарем Борисом Гашевым выбрали три Вериных стиха — «Матрешка», «Пушкин», «Апельсин» — и опубликовали их с ее фотографией под рубрикой «Проба пера. Знакомьтесь: Вера Нестерова». В сопровождающем тексте говорилось, что Вере 19 лет, что она работает в Перми лаборантом и печатается впервые. Но сейчас мне хочется добавить, что эти стихи были написаны в раннем возрасте. <...>

Матрешка

Какой чудак задумал так играть
И сохранять веселую беспечность,
Строгая дерево, таинственно молчать,
В матрешку помещая бесконечность?

И вот встает цветистый долгий ряд
Матрешек — правнучек и бабок,
Одна в другой, и судьбы их летят,
Как звезды, соблюдая свой порядок.

Матрешка — вечность. Края и конца
Не видно тут. Все из огня возникло!..
И даже там, где рушатся солнца,
Праженщину молекула воздвигла.

Приникла к стеклам этого огня.
Как соты — стены. Жар и вдохновенье!
«О! скоро ли ты выпустишь меня?» —
Кричит дитя в утробе.
Дуновенье...

...И свет, и воздух, и вода, и снег
Обрушились и тут же замолчали,
И слышался лишь дивный женский смех...
И смерть, и жизнь глубоко прозвучали.

...Хотелось бы еще привести стихотворения из неопубликованных, но трудно какому-нибудь отдать предпочтение.

<...>

Купались ли вы когда-нибудь в сирени? Верина героиня нашла такое пространство в стихотворенье «Сирень», в которое можно нырнуть, и тогда не только героине, но и читателю станет так легко-легко, хотя в реальной жизни почувствовать себя легко в наше время невероятно трудно.

А я купальщицей войду
В твой дым голубовато-сизый,

И улыбаясь, упаду
В объятия этой грозной силы.

Исчезнут шумные дома,
Дороги, тяжкие сомненья...
На свете есть сирень одна
И это светлое мгновенье.

В одном из писем Алексей напишет: «Вера будет писать, и что ее приятно отличает от многих — у нее есть безверие в себя». Между прочим, это — свойство и самого Алексея. Его искреннее сомнение: будет ли с ним Вера счастлива, — и привело к тому, что они «не сложились».

В связи с этим приведу еще одно письмо Алексея.

Вова!

Как у тебя дела? После твоего бодрого звонка появился Юра Марков и сказал, что видел Лебеденко, приехавшего из Перми, и вы с Ирой догорели (редактор Владимир Мальцев пытался нас с Ириной Христюковой уволить. — В. М.). Я прикинул по времени и не знаю, кому верить. Хотя надежд на добрые исходы в этом прекрасном мире мало.

Сука — Мальцев. Знает ли он это? Я, например, знаю, что сам изрядная сволочь, но хоть испытываю от этого угрызения по ночам. Впрочем, не важно.

Приехал бы без всякой командировки и вытащил Веру дня на три. Грош найдем и тут. Я пока на больничном, был приступ сердечный, да скорая помощь не позволила забыться и уснуть.

Вере только написал витиеватое письмо, что можно поделать? Она не хочет предать Витю, как предал я ее. А что делать было, как не предать, когда со мной она бы мучилась побольше, чем с ним, когда добрые мои качества нарисовало ей ее воображение, а на самом деле их нету. Мудрость заключается в том, что не надо подпускать к себе людей, чтобы больно их мучить, избегать близости; скорлупа и чтение — вот средства.

Увы, понимаем мы что-то лишь после драки. Тебя я изрядно подвел, но ты мужчина, ты стерпишь. В общем, попытайтесь приехать. Человек я сейчас буду скучный, писать не потягивает, правда, коммерческие дела надо вести с переизданием «Белого листа».

Веру я люблю, а тут, видимо, жить будет негде, коли они не расстанутся с Болтом, не разведутся, а разведутся, так она будет его жалеть, как, может, жалеет сейчас меня, а он на мою роль не согласится. А что я ей дам, тело мое донкихотовское? А душа у нее в сто раз богаче и тоньше, ей нужны люди высшего духа. И скучно ей будет. Тысяча и одна сказка про белого бычка. А один поляк сказал, что ни одна женщина не согласится, чтоб мужчина тысячу и одну ночь рассказывал ей сказки.

Если ты уже что-то собрал из зверячего сборника, пришли, ради бога, я постараюсь сейчас читать — впервые за шесть лет не пью. Притом звери — как цветы и дети, лучше нас. Ты думаешь, что я для приличия тебе говорю о твоём творчестве хорошее, из стеснительности, но мне не до них. Какое-то эмигрантское настроение. Сбежать бы на Круглый Рудник.

*Обнимаю тебя, крепись.
Алексей.*

Кажется несколько странным, что Алексей Решетов думал о людях лучше, чем они есть, а себя считал хуже других. То ли сказалось раннее сиротство, сокрушившее в нем самые заветные ростки самолюбия, или, может быть, с крещением уже в зрелом возрасте он проникся смирением, обвиняя себя в несуществующих, придуманных им каких-то неприглядных сторонах своего характера... Но я думаю, не будь у Решетова двух пристрастий — питья и печали — его следовало бы признать за святого человека, настолько он был смирен. Правда, это вовсе не значит, что он не мог вспылить, восстать против кривды. Увы, как в поговорке: и первый человек греха не миновал, и последний не избудет. Все-таки лучше всего думать о себе так, как думал Алеша: что его грех больше греха всех других. Решетов никогда не «прикидывался», не «рисовался», не пытался «слыть»... Он всегда находился на поводу у своего трудного для него самого характера, прежде всего, требовательного к себе самому. Подлинный облик поэта в его стихах.

Алексей часто вспоминал деревню Круглый Рудник — и в письмах, и в разговоре: «Попить бы фужорчик на Круглом Руднике из родничка! И пива не надо...»

Здесь родник, конечно же, незабываем. Глядя на него, начинаешь верить в легенду, что подобные гремячие источники рождаются от удара молнии. Вот уж поистине точен Даль: «...отомкнутое недро земли», отмычка к ним — ключ. Ключ бьет из-под горы. К нему подведена долбленая колода, по которой бежит, бушуя, водяная жила, а затем падает с высоты полутора метров с такой силой, что едва не вышибает из рук ведро, несмотря на то, что в долбянке нагромождены камни, сдерживающие напор потока. Хочется смотреть и смотреть, как спадает по уступкам вода, и как тут тебе не задуматься о подобном же течении времени. А ручей стремится свою ключевину все дальше и дальше вдоль деревни и в конце ее, напоив всех, круто поворачивает в лес к речке Зырянке.

В последний раз Алеша с Верой гостили у меня в середине лета, когда у родника на другом пологом склоне долины еще цвело ржаное поле. Мы втроем сидели возле единственной в логу разлапистой ели со спадающими книзу, почти до земли, ветвями и пили «Варну», а две бутылки «Столичной» охлаждались в ручье, ожидая, когда моя хозяйка Фекла Степановна принесет вареную картошку и жареные, первые в то лето, грибы — красноголовики и обабки.

Фекла Степановна прониклась уважением к моим друзьям с той поры, когда зимой ко мне в гости приехал Лев Иванович Давыдычев. Перед этим он похоронил мать и опубликовал в «Звезде» навеянный ее смертью печальный рассказ, который я прочитал хозяйке, а она заливалась слезами при чтении. К его приезду она настряпала и наморозила около пяти сотен пельменей с разной начинкой — и с мясом, и с квашеной капустой и редькой, с картошкой и жареным луком... Пельменей не покажется так уж много, если учесть, что заявился еще и Решетов с Марковым, и каждый за один присест съедал по 40 пельменей. А на столе были еще рыбный пирог, колбаса, капуста с огурцами, соленые грибы. А чтобы мы не опьянели, Фекла Степановна предусмотрительно изладила нам тюрю — что-то вроде окрошки, но только с натертой злой белой редькой, сдоб-

ренной уксусом, — на квасе, с луком, яйцом, картошкой... Это было сильно отрезвляющее блюдо, которое, по выражению Феклы Степановны, хорошо «прошибат»... Такой уж на Круглом Руднике был говор. Мой знакомый дед Марушко так рассказывал о ловле хариусов в Зырянке: «Бывалочи, сидишь и хваташь, хваташь его — токмо черемухово удилко хлопат».

Тюря шибко прошибла нас, и застолье затянулось почти до рассвета. Алеша с Юрой читали стихи свои, мы со Львом Ивановичем — чужие. В тот вечер Давыдычев познакомил нас со стихами покончившего с собой одаренного поэта, бывшего фронтовика-разведчика Евгения Можаяева, с которым он учился в университете. Стихи были так чисты, откровенны и пронзительны, что мы после их чтения приумолкли:

Но все печально, все изменчиво,
Мечты растаяли, как дым.
И слава, ветреная женщина,
Давным-давно живет с другим.

И мне, хоть я того не требовал,
Опять напомнила звезда,
О том, чего со мною не было
И не случится никогда.

Позже Фекла Степановна не раз вспоминала это застолье: и то, как складно и хорошо мы говорили, и что ей отродясь ничего подобного не приходилось слышать, и какие мы памятливые, и где мы все это только берем.

А теперь она приняла моих гостей, Алешу и Веру, как своих родных, сама вызвалась приготовить нам картошку с грибами.

Мы ждем Феклу Степановну, когда она показывается на ступеньках спуска к роднику с чугуном, закутанном в старый ватник, в нашем стане началось оживление. Вера бросила плести венок, кинулась ей навстречу, а мы с Алешей стали выкладывать на расстилку свои припасы. Нам хотелось, чтобы хозяйка посидела с нами, но Фекла Степановна не согласилась. Чтобы ее как-то задержать, и зная, что она любит слушать стихи, я попросил Веру прочитать что-нибудь. Та застеснялась. Я настаивал, назвал даже, что именно прочитать — «Новый год», и продекламировал начало:

Морозный день. И щеки милых алы!
А здесь — в толпе — огонь и новизна.
В бокалы наливаются пожары
Искрящегося, красного вина.
И я сижу, такая молодая,
Среди гостей, предметов и острот...

Вера отбежала от нас на небольшое расстояние и запросила оттуда защиты:
— Фекла Степановна, это они изголяются надо мной!
— Ух, они! — пригрозила нам хозяйка.

— Ладно, Вера. Учитывая твоё несовершеннолетие и красоту, мы милостиво прощаем тебя, но при условии, что ты прочитаешь Фекле Степановне хоть одну строчку из твоих стихов.

И тут произошло неожиданное. Вера внезапно приняла неведомо для чего красивую позу и, вскинув руку ладонью кверху, направив её в нашу сторону, взволнованным голосом произнесла:

— Поймите ж вы, в дождливых городках и в золотых окрестностях столицы мне не помогут желтые тюльпаны.

Печаль была в интонациях её голоса. Теперь, когда нет в живых Алеши, а с Верой после инсульта можно разговаривать только с переводчиком, я думаю, что она тогда в одной строчке стихотворения, целиком оставшегося неизвестным, пророчески предсказала свою нелегкую судьбу... А ведь перед ней в ту пору была возможность иной жизни — не поторопись она вскоре на Дальний Восток...

Улучшив момент, прерывая наше молчание, в ответ на Верины слова Фекла Степановна, сказав: «Кушайте скорей, а то ведь картова остынет», ушла... Вера распеленала чугунок, Алеша принес из ручья холодную «Столичную», и мы сами не заметили, как её опорожнили. Решетов если пил водку, всегда плохо закусывал, только курил, а тут — налег на грибы, и хоть бы в одном глазу... Сильно припекало солнце. Меня потянуло ко сну. Мне и надо было уснуть, чтобы оставить Алешу и Веру наедине. Но мне показалось, что как раз этого Алеша боялся. Лег на траву и не подавал признаков бодрствования.

— Ладно, мальчики, — сказала Вера, — вы лежите, а я пойду собирать васильки...

— А ты лучше позагорай, — посоветовал я, крепко двинув рукой Алексея.

— Да я без купальника... — ответила Вера.

— Зачем он тебе, — настаивал я. — Залезай в рожь, и никто тебя не увидит.

Вера ушла. Я вспомнил, что у меня в старом блокноте есть маленькое исследование о ржи... Вот она, рожь, стоит у нас в изголовье, и Алеша рядом, и Вера во ржи...

— Леша, — позвал я. — У тебя есть стихотворение «В гостинице, в номере “люкс”», где на стене копия картины передвижника:

Как славно написана рожь.
Как вольно она колосится!
Как жаль, что сюда не войдешь
В обнимку с молоденькой жницей.

— Ну и что? — открыл Решетов один глаз.

— А то... Помнишь у Некрасова:

Расступись ты, рожь высокая,
Тайну свято сохрани.

— Ну? — повторил вопрос Решетов.

— Не нукай... А еще третий поэт, Роберт Бернс:

И кому какое дело,
Если на межи
Целовал кого-то кто-то
Вечером во ржи?

Так вот, Алексей Леонидович, если ты такой умный, скажи, почему вы, поэты, все сердечные дела связываете с рожью, а не с овсом или просом?

— А потому, что рожь высокая.

— А кукуруза... Выше ведь...

— В кукурузе вечно сидит дед Щукарь, а на подсолнухе висит его капелюх, дескать, занято.

И Алеша рассмеялся...

— Остроумно, но не верно... — парировал я, настроясь на серьезный лад.

— А почему?

— Это точно, рожь высокая, но суть в другом. Кто мешает молодой любви в деревне? Зимой — старухи, летом — комары да мухи. Рожь ценна в этом случае тем, что в ней можно скрыться, и она защитит от всякого гнуса, комарья и мух. Видишь, она то перекачивается волнами, то едва-едва колышет колосками. Крылатую нечисть разгоняет. Так что лезь, Алеша, в рожь вслед за Верой.

— Ты это вычитал, или сам успел проверить?

— Вычитал, — соврал я.

— Не ври! Если бы ты не привел моего стихотворения, я бы тебе поверил...

— Да я его просто приобщил.

Договорить нам не удалось, пришла Вера с охапкой васильков. Ее подбородок утопал в цветах, из васильков выглядывали ее глаза.

— Девочка ты моя, зачем тебе столько цветов? — встретил ее я.

— На все общежитие, в каждую комнату...

— Мы их загоним по рыжику за букет, на пиво... — отозвался Алеша.

Это был последний эпизод не щедрого к молодому Алеше счастья. Тут оно его лишь коснулось и прошло мимо.

Однажды я ехал после работы в Березники, рядом со мной в кузове под брезентовым тентом сидел на лавке сварщик Михаил Ершов. Мы давно с ним не виделись. Говорили о разных разностях. Он недавно прочитал о дельфинах, много о них говорил, как они спасают людей в море, а мы, люди, позорные, беспощадно их убиваем... Миша горячился...

Я и рассказал Алеше при встрече в тот же день про наш разговор под тентом... Его впечатлило не столько то, как убивают дельфинов, сколько переживания по этому поводу сварщика. Я был с ночной, после трудной смены: приходилось на вытянутых руках скалывать отбойным молотком выступы породы на стенах ствола. Адский труд! После ужина меня свалил сон. А в полночь Алексей меня разбудил, сунул мне в руки исписанный листок бумаги. Я протер заспанные глаза:

Дельфины, милые дельфины,
Мы вас научимся беречь —
Уже почти до половины
Мы понимаем вашу речь.

Я сразу очнулся. Это — чудо. В течение каких-нибудь трех часов был создан этот шедевр поэзии. Сейчас стихотворение стало хрестоматийным. И оно сохранилось без малейшей переделки, сразу — как есть, оно так и было создано. Оно вышло из-под пера Алеши безукоризненно точным.

Напечатано оно было в 1968 году в переиздании «Белого листа», ставшего ярким событием в культурной жизни Прикамья. Молодежная газета, как и следовало ей, откликнулась рецензией Дмитрия Ризова. И вдруг в ответ областная партийная газета разразилась погромной статьей, в которой и «Дельфины», и другие решетовские шедевры объявлялись слабыми стихами, а сам он обвинялся в надмирной скорби и прочих грехах, чуть ли не чуждым народу. «В “Дельфинах” поэт предстает не как певец, “любезный народу”, зовущий его на борьбу за все прекрасное на земле, а как некий, не очень понимаемый, притом притесняемый подвижник».

Сколько же талантов было загублено в те времена!! Сколько стихов не дописано и песен прервано на полуслове!.. Увы, вот и автор клеветы на стихи Решетова не то что «до половины», а ни в зуб ногой не понял вразумительной речи поэта, будучи начисто лишенным способностей поэзию воспринимать.

Другой раз Алеша таким же образом разбудил меня по поводу другого стихотворения. Помнится, я пробурчал, что он мог бы, мол, и до утра подождать.

— Ты что, спать сюда приехал? — парировал Алеша.

Он прочитал мне только что написанное стихотворение «Мама». Хоть и спроsonья, но я сразу врубился, что ему необходимо уточнить у мамы, можно ли так ему о ней писать.

Ты слышишь, мама, я пришел —
Твой милый мальчик, твой Алеша.
Нигде я, мама, не нашел
Таких людей, как ты, хороших.

В стихотворении он пришел на могилу матери, которая мирно спала в другой комнате.

Руками желтыми всплесни:
Какое солнце над востоком!
Не бойся, мама, мы одни
На этом кладбище жестоком.

Стихотворение из разряда шедевров. Оно просится на музыку. Но, потеряв маму в десять лет, я, честно говоря, растерялся.

— Что же теперь делать с ним? Порвать? — нерешительно сказал Алексей.

— Зачем рвать? Но и ждать тоже нехорошо... Если уж оно написалось, лучше показать ей.

— Я тоже об этом думал...

И Алеша уверенно пошел в другую комнату, где спали бабушка, племянница Олеся и Нина Вадимовна.

Мне было слышно, как, не включая света, он наизусть стал читать стихотворение. Затем послышался голос Нины Вадимовны.

— Все правильно, Алеша. Так должно быть, чтобы сын приходил на могилу матери, а не мать на могилу сына. И ничего страшного в том нет, что преждевременно писано. Шьют же для себя к смерти одежду, делают гробы. От смерти никуда не уйдешь.

Алеша вернулся, подошел к книжной полке, достал из зачатки початую бутылку водки, сходил на кухню, принес кусок хлеба, звеньшко колбасы, и мы выпили с ним на сон грядущий в остатках ночи.

На этом и закончу рассказ, надеясь потом когда-нибудь его продолжить.

Кама-3. Литературно-художественный альманах. Пермь, 2003

Игорь Неверов

Алексей Леонидович Решетов

<...> когда я ближе познакомился с Решетовым, я понял, что это — человек необычайной скромности и нулевой пробивной силы, да простит он мне такую характеристику. А в нашей сегодняшней жизни человеку с такими качествами очень трудно найти свою нишу, будь он трижды талантлив. Не без труда, но мне удалось собрать деньги на издание нового сборника поэта. Низкий поклон руководителям предприятий, организаций, изыскавшим средства на выпуск книги! В конце 1994 года в издательстве «Пермская книга» тиражом 2000 экземпляров сборник стихов Решетова «Иная речь» вышел в свет. <...>

К своему 60-летию он уже получил областную премию в области культуры, был выдвинут на соискание Государственной премии и вошел в ведущую тройку российских поэтов. Но, к сожалению, на московском уровне лоббировать было некому. <...> Говорит о многом и то, что стихи Решетова включены в антологию русской поэзии XX века, составленную Е. Евтушенко. Но вернемся к юбилею поэта. Праздновали его во Дворце культуры металлургов. Зал был полон. Были, естественно, поздравления, подарки, читались его стихи, выступали артисты. Алексей Леонидович получил поздравление от международного экипажа космической станции «Мир». В Звездном знают Решетова, его новый сборник я подарил космонавтам. <...> Есть «Иная речь» и в Германии, Югославии. Ансамбль «Золотое кольцо» обещал написать песню на слова А. Решетова (в составе ансамбля — наш земляк).

<...> «Поэт в России больше, чем поэт». Так сказал Евгений Евтушенко. И я с ним согласен. Но если у него нет широких плеч и крепких локтей, то в новой России он — нищий. Недаром говорят, что для того, чтобы стать у нас знаменитым писателем, надо умереть. <...>

*Отрывок из книги И. Неверова «Никому не отдам свою биографию».
Пермь, 1998*

Юрий Марков

Ушел... и не с кем говорить

«В молчанье твоего ухода упрек невысказанный есть...» Эти строки Бориса Пастернака, посвященные Марине Цветаевой, вполне можно отнести и к Алексею Леонидовичу Решетову. Вот его самого стихи из почти предсмертных, необработанных; привожу их с позволения вдовы Тамары Павловны. Стихи, по-моему, хороши и к месту:

По Господней воле
Я не только здесь,
В этом чистом поле.
Я и в небе есть.

Несмотря на кажущуюся определенность, я не думаю, что эти строки рождены предощущением скорой смерти. Собственная смерть Алексею Решетову, скорее всего, была в ее трагический миг большой неожиданностью, несмотря на его продолжительную и тяжелую болезнь (бронхиальную астму). Незадолго до этого печального события я несколько раз разговаривал с ним по телефону, получил от него письмо — ни одного намека на предчувствие скорой развязки. Наоборот. Судите сами (из последнего письма): «Юра, дорогой! Очень рады, что тебя наши славные медики починили, отремонтировали (Я прошел через шунтирование. — Ю. М.), даст Бог, мы еще поживем на этом свете. И по фужерчику выпьем». Письмо датировано вторым сентября 2002 года, 29 сентября его не стало.

...Наша первая встреча произошла в редакции газеты «Березниковский рабочий». Алексей уже выпустил книжку стихотворений «Нежность» (1960 год), на подходе была книжка прозы «Зернышки спелых яблок». Затащил меня в редакцию Саша Медведев (поэт, сейчас живет в Москве). Признаюсь, с большим трудом затащил.

Несмотря на только еще начинающий возникать ореол известности Алексея в Березниках, доминировал на литобъединении не он, а его друг Виктор Болотов, резкие оценки и жесты которого по поводу стихотворений членов «лито» меня тогда обескуражили и вызвали чувство неприязни. Только спустя время, уже после службы Виктора на Тихоокеанском флоте, я понял, насколько он сам был ранимым, незащищенным человеком. Уже когда Витя с женой Верой Ефимовной Нестеровой жил в Перми, я, не расставаясь в ту пору с гитарой, бывал у

них в гостях, наши беседы и дружеские возлияния заканчивались моими песнями. Виктор частенько просил спеть романс на стихи Ф. Тютчева «Я встретил вас — и все былое...» и всегда, слушая, плакал...

Это были слезы обо всем невозможном и не случившемся в его жизни. Резкое лицо, колючий взгляд, скрежет зубов и катанье бутылок под столом (была у него такая привычка) — все это было всего лишь слабым его щитом от наседающего времени... В конце концов, Виктор не выдержал напора душевных передраг.

В ту давнюю встречу в «лито» в Березниках Алексей Решетов был, в отличие от Виктора, немногословен, больше слушал, делая изредка замечания. Я и в последующие годы их дружбы замечал, что Алексей всегда уступал Виктору, отходя в тень.

Встреча в литобъединении для меня близким знакомством ни с Алексеем, ни с Виктором не закончилась. И принят в доме Решетовых-Павчинских я был не сразу. Но маленький город, объединяющая страсть к литературе сделали свое дело. Мало-помалу я стал бывать в доме № 8 кв. 4 по улице Ленина. Это был красивый старый дом с аркой. Сколько всякого в нем и вокруг него происходило!.. Постепенно я познакомился с друзьями Алексея: Толей Акуловым, Костей Шестаковым, Чеховым. Позднее к нам присоединились Паша Петухов, Слава Божков. Но наши встречи с Алексеем чаще происходили все-таки на солемельнице первого рудоуправления, где он проработал около тридцати лет. Именно там мы, приходившие повидаться, — Саша Медведев, Слава и я — читали Алексею свои новые стихи, и случалось, да простит нас Господь и начальство рудника, выпивали.

Потом возникла петуховская кухня, в которой мы просиживали ночи — я с гитарой на коленях — в жарких спорах о стихах, женщинах и о любви. И все же чаще мы, мальчики, пишущие стихи, собирались отдельно от Решетова и Болотова — триумvirатом: А. Медведев, С. Божков и я. Издавали свой устный журнал.

Время, несмотря на безденежье и даже откровенное нищенство, было великолепное!

И тут возникла Вера Ефимовна Нестерова.

После окончания Закамского химико-механического техникума (какое совпадение — Алексей тоже закончил химико-механический техникум, только в Березниках) она приехала на практику в Березники. Жила в общежитии на улице Фрунзе, дом 20, где и я проживал в ту пору. У меня был приятель Юра Плишкин, гитарист, влюбленный в подругу Веры — Люцию; та, в свою очередь, рассказала ему о Вере, о том, что она пишет стихи. Так мы познакомились. Я в свой черед рассказал Вере об Алексее, и она, преодолевая смущение, пошла к нему со своими стихами. Я предупредил ее, что в доме у Решетовых не очень-то принимают посторонних женщин. С ней, как ни странно, все обошлось...

А вот стихи, позднее посвященные Алексеем Вере:

Я встреч с тобой боюсь, а не разлук.
Разлуки нас с тобой не разлучают:
Во тьме ночей и путанице вьюг
Мои глаза твой профиль различают...

Думаю, все творчество Алексея тех лет прошло под впечатлением от встречи с Верой Нестеровой, вскоре оказавшейся роковой для обоих — Вера выбрала Виктора.

В это время в Березниках собрались некогда гонимые властями люди со всего Союза. Далеко не ординарные. Для нас с Сашей Медведевым, да и для Болотова и Решетова так и остался, например, загадкой человек по фамилии Фирстов — Юрий Фирстов. Инженер с химического завода. Жил он по тем временам обеспеченно, в общежитии. Витя Болотов часто рассказывал с нескрываемым детским удивлением про то, как их с Алексеем Фирстов угощал в кафе «Отдых» коньяком и шоколадом. Мы же с Сашей просто не вылезали от Фирстова. Тот писал стихи, стол у него всегда был накрыт, но нам интересен он был не только этим. У него были пластинки и магнитные ленты со старым Лещенко, Вертинским, Окуджавой, Козиным. Он и сам немного играл на гитаре. Я уж не говорю о сборниках поэтов, редко или совсем в это время не издаваемых, он их нам давал читать.

В общем, Фирстов (впоследствии Александр Медведев, уже живя в Москве, выяснил, что это была ненастоящая его фамилия) был загадочен, одинок и, безусловно, человек высокой культуры. Как неожиданно он появился в нашей жизни, так внезапно и исчез.

Новый виток в наших отношениях с Алексеем возник, когда он познакомил меня с Львом Ивановичем Давыдычевым. Было это в году 1965, в сентябре. Лев Иванович, Владимир Михайлюк и Алексей Решетов были приглашены на встречу журналистов города с актерами березниковского драмтеатра, в кафе «Березка». Мне было тогда 18 лет, я писал песни и пел их — по тем временам редкое занятие. Алексей рассказал обо мне Льву Ивановичу. Так я оказался в «Березке» за их столиком, с гитарой.

Для меня тот вечер оказался более чем памятным... Я встретил здесь свою будущую жену — Надежду Александровну Ворожцову, которая родила мне двух прекрасных дочек — Катю и Настю. В последнем письме А. Решетова ко мне — все-таки судьба ходит кругами — он написал о Насте: «Настя — русская красавица на современный лад, чем-то неуловимо приятным на тебя похожа, простой, бесхитростностью, что ли». Дело в том, что Настя, живя в Екатеринбурге, заходила к Алексею с Тамарой по моей просьбе. Отсюда и эта строчка в письме. Старшую мою дочь, Екатерину, Алексей и Тамара знали давно, а Тамара и вообще была первой ее учительницей музыки. Анастасию, уже взрослую, они увидели впервые. Алексей, вообще, всегда с теплотой отзывался о моих домочадцах, особенно о Маргарите Владимировне, теще, которой нынче уже 92 года. Да вот из того же последнего письма:

Храни тебя Бог, дружище! Поклон Наде и всем твоим домочадцам. Обнимаю крепко. Твой Леша Р. и Тамара К.

Сонечка ваша не пошла ли в школу?

Как быстро летит время!

...Соня, конечно, пошла в школу, а вот Алексея нет. Ушел... и не с кем говорить.

... Я с большим уважением относился к родным Алексея. Это и понятно. Такие судьбы!

Несколько слов о его бабушке и матери. Ольга Александровна Павчинская (бабушка) была очень живым для своих лет человеком. Запомнилась она мне с горящим взором, часто с экспрессией в движениях, с рассказами о гусарах, о былых временах. Мать, Нина Вадимовна Решетова-Павчинская, была, напротив, замкнутой, ушедшей в себя. Я всегда дивился стойкости Нины Вадимовны. Казалось, она внутренне от всего пережитого окаменела. Я и сейчас думаю, что она никогда не плакала — имея в виду годы нашего знакомства, когда почти все большие горести были уже позади.

Но интересовалась она всем и даже любила некоторые мои песни.

... Вечер в «Березке» продолжался долго. Я пел на нем и Окуджаву, и свои песни. Потом мы — Лев Иванович, Михайлюк, Леша и я — поехали на Круглый Рудник, в деревню, где тогда жил и работал проходчиком шахтных стволов Володя Михайлюк. Здесь продолжили петь и пить до утра. В эту ночь В. Михайлюк сочинил мелодию на стихи А. Решетова «Ты слышишь, мама, я пришел». Сейчас Алеша действительно ушел к своей маме, но нам, его друзьям, от этого еще грустнее... <...>

В 1982 году Алексей переехал в Пермь. Видеться мы стали немного реже.

Ну, и напоследок самая трудная для меня тема, наши личные отношения с Алексеем Леонидовичем. После стольких лет знакомства и дружбы (39) возникает сам собой вопрос, особенно если учесть, что Алексей старше меня на девять лет, был ли он моим учителем в стихотворчестве?

Скорее всего, нет. Мои стихи основаны совсем на других принципах, чем у Алексея. Но общение с ним, часто тяжелое, человек он был не простой, давало лично мне много. Поначалу я приносил ему стихи, и он делал основательные пометки на полях рукописи. Потом я стал делать это все реже. Было неудобно его отвлекать — прочтение, и тем более рецензирование, — не простое занятие, если производится на совесть. Зато наши совместные пирушки, бессонные ночи у Павла Петухова, у самого Алексея, у меня и были тем кладезем, из которого мы черпали науку стихотворчества, учась друг у друга. Алексей как никто среди нас походил на поэта внешне, особенно в молодости: большие глаза, тонкая шея, узкое лицо — все вместе говорило об утонченности его натуры... которой приходилось, однако, вкалывать кувалдой на солемельнице. Но главное в Алексее все же было — его душа, вся в сомнениях и надрыве, хотя внешне это было не заметно. К своей жизненной неустроенности, которую со стороны не было видно, — я имею в виду поэтическую судьбу — он постоянно добавлял все новые и новые испытания. Думаю, без этих его экспериментов над своей душой мы бы сейчас не имели того, что имеем, — лирику Решетова.

Волею обстоятельств я оказался причастен и к личной жизни Алексея. С обеими главными женщинами его жизни — Верой и Тамарой — познакомил его я.

Вообще, женщина в творчестве Алексея Решетова играет заглавную роль. Но для написания более обстоятельных воспоминаний нужно, чтобы прошло время, улеглась боль потери, и только тогда можно будет подробнее и спокойнее изложить суть былого.

. Судьба Алексея Решетова логически подошла к концу, хотя эта логика и не укладывается пока в сознании. Но жизнь поэзии Решетова продолжается. Scripta manet (написанное остается).

24 октября 2002 г. Березники

Кама-3. Литературно-художественный альманах. Пермь, 2003

Надежда Гашева

Собеседник сердца

Алеша Решетов окликнул нас впервые давно, на перевале прошлого века, который он потом назвал високосным. Окликнул негромко, но мы сразу услышали. Мне было в ту пору 19 лет, с Алешей мы друг друга не знали. Шестидесятые годы только начинались, и поколению еще не присвоили их имя. Не знаю, как другие шестидесятники, а я тогда не успела понять, какого поколения мы люди, что за история там, за нами, тем более — там, перед нами. Но Алеша окликнул нас, и как-то сразу историческая даль, совсем еще не далекая, стала проясняться.

...И умещались двести хлебных граммов
На сводке с фронта в двадцать строгих строк...

Сердце дрогнуло. Это же про нас. Это мы с братом, маленькие, посреди военной зимы в городке Березники, в очереди за хлебом. А отец на фронте. А черный репродуктор-тарелка громыхает маршами.

Алеша Решетов окликал меня всю жизнь, и каждый раз тревожно и благодарно я слушала его голос: и в те благословенные дни, когда мы встречались, сначала редко, потом все чаще — ведь мы подружились. И через расстояния, когда приходили только стихи, а порой письма. Несколько десятилетий, пока он был с нами на земле. В день, когда его отпевали в Екатеринбурге. И теперь — снова и снова.

Нежность, как и прежде, звучит в его голосе. Она подарена всем читателям, ну, а с друзьями он бывал нежен без всяких стихов. Впрочем, не только нежен, бывал и насмешлив, и едок, и труден. Но менее всего я стану говорить об этом: дружба, как и любовь, чувство потаенное. А здесь речь о поэте, который, по счастью, был еще и моим другом. И собеседником сердца.

Таков уж оказался его природный дар: стихи сразу ложились в память, но именно потому, что сначала вздрагивало сердце. Удивительно было читать в те молодые наши годы простую, часто горькую, иную речь Решетова:

Убитым хочется дышать.
Я был убит однажды горем
И не забыл, как спазмы в горле
Дыханью начали мешать...

Это ведь он о себе — узнаю я после. Это — погиб его любимый старший брат. Страшная и неизбежная беда. Это ведь он обо всех — понимаю я. О своем горе, о твоём. О своем брате, о любом брате. О своем отце, о миллионах отцов, не вернувшихся к родным семьям с войны, расстрелянных по тюрьмам, погибшим в лагерях ГУЛАГа... Как точно, как печально окликал меня Алеша:

Мы с тобою живем по соседству
И почти двойники по судьбе.
Но тюремная азбука сердца
Моего — непонятна тебе...

...Тюремная азбука сердца. Он знал ее с младенчества, с года рождения.

Когда отца в тридцать седьмом,
А вслед за ним и мать забрали...

Отец мой стал полярною землей...

Ищите без вести пропавших...

Не женское дело сидеть в лагерях...

А в небе серый гусь-салага
Летит, отстав от косяка,
Куда-то в сторону ГУЛАГа...

Это просто надо себе представить и понять: мальчик, выросший на голодном пайке беды, войны, среди кромешного быта, тотальной лжи, правового беспредела, никогда не видевший расстрелянного отца и вынужденный молчать о нем... Они же все, вся семья, под особым надзором, мать вернулась из лагеря, и бабушка через полстраны привезла в место ссылки двух мальчиков...

— Когда я увидел маму, я был поражен — какая она красивая! — говорил Леша.

И это после лагеря, бараков в Казахстанской степи... Нина Вадимовна сохранила свою красоту до дня смерти. Она и Ольга Александровна (баба Оля) сохранили не только семью — высокую духовность. А мальчик Алеша оказался поэтом, он чувствовал острее других, больше, сильнее. Дело вовсе не в том, что он все понял сразу, в юности. Во все нет, мы с Лешей не раз говорили об этом. Но поэту знание дается как-то иначе. «Вертикальная звездная даль» говорит с его душой, надо лишь слушать, надо, по возможности точно, не отступая, не уступая, передать потом потаенный огонь, принятый в душу. Алеша не отступал, не уступал. Он, как и все мы, рос на барабанной, по большей части лживой, советской поэзии 40-х и 50-х. Правда, была классика прошлых веков,

чья-то память хранила иную речь писателей и поэтов, находившихся под запретом. Существовала иная музыка, иная живопись — искусство все-таки вечно. И Алеша догадался на берегу своей дороги дальней, как ему придется жить и писать.

Однажды в день его рождения, 3 апреля, мы говорили об этом за праздничным столом в Перми. Мама Алеши была еще жива, и на столе стояла любимая Лешина еда, простая и вкусная, и он сидел в голубой новой рубашечке, подстриженный, принаряженный, даже и веселый.

— Давай сравним, — предложила я. И прочитала:

В младенчестве моем она меня любила
И семиствольную цевницу мне вручила...

(Пушкин, «Муза»)

Я, как волк, появился в апреле
В этом яростном мире большом.
Мне авдотка играл на свирели.
Я лежал на земле нагишом...

(Решетов)

...Леса, где я любил, где чувство развивалось,
Где с первой юностью младенчество сливалось
И где, взлелеянный природой и мечтой,
Я знал поэзию, веселость и покой...

(Пушкин, «Царское Село»)

Скучно было в бараке:
Жили, еле дыша.
Лишь при помощи браги
Оживала душа.
И тогда уж весенней
Становилась зима.
И являлся Есенин
И Шульженко сама!..

(Решетов, «Колокольный глагол»)

...Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались,
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас...

(Пушкин, «Была пора...»)

...Я с детства помню слезы ранних вдов,
Заиндевший громкоговоритель
И снег в морщинах сбившихся платков...

(Решетов, «Память»)

В жизни Алеши не случилось веселости и покоя царскосельских садов, вместе «станци гордых лебедей» он видел, как «друг друга лобзают лебедя на ковре». Все было другое, вся жизнь в России. Все, кроме грозного времени, грозных судеб и пути поэта.

Алеша, видимо, отродясь знал это. Потому и звучит через все его творчество, во всех книгах имя: Пушкин.

И не видать в окне Россию,
Всю погруженную во мглу,
И только перышком гусиным
Скрипит сверчок в своем углу.
И льются нянюшкины песни,
Как будто слезы по щеке,
И драгоценных женщин перстни
Горят на пушкинской руке.
И на одной из стен лачужки
В глухом неведомом краю
Тень стихотворца тенью кружки
Пьет участь горькую свою.

Путь был обозначен и принят. Началась тайна Решетова, которую многие пытались разгадать, и я в том числе, но так и не разгадали. «Сверчок» — прозвище юного Пушкина среди арзамасцев. Решетов пишет это слово со строчной буквы. Он словно прячет (да и не прячет!) знание и мысль, он надеется на читателя, доверяя ему, а сам стремится достичь неслыханной простоты, то есть самого сложного в поэзии.

Тогда, за именинным столом, где мы говорили о Пушкине, о временах, о сверчке, Леша глянул на меня своими серо-голубыми глазами лемура, усмехнулся:

— Молоток! Продолжай копать.

Это вовсе не означало, что Алеша радовался сравнению с Пушкиным. Если бы он так меня понял, он бы, по обыкновению, сказал:

— Дурен вкус, матушка.

Но он понял меня правильно. Мы ведь говорили о неслыханных переменах и временах. Каюсь, «копать» я не продолжила, хотя порой и приставала к Леше со своим восхищением. Например, как он легко и естественно вплетал в стихи поговорки, пословицы: «Я в России живу не на птичьих правах». Или: «Потому что упрямо хватался за соломинку с крыши родной». В ответ он опять усмехался:

— Это сделано на приеме. А прием не должен быть виден. Чтобы без белых ниток.

Алеша до того старался скрыть «белые нитки» и даже мастерство свое, что не сразу и поймешь, как перевернул он мир, чтобы показать «до чего же мы счастливы были! — пели розы, цвели соловьи».

<...>

— Если бы я знал, как это делается, я бы объяснил, — говорил Леша мне. — Но я не знаю.

И еще говорил:

— Есть строчки, как личное клеймо. Просто «Буря мглою небо кроет». Или «Белеет парус одинокий». И все. Но таких мало.

Я вспомнила беседу Чехова с Буниным:

— Лермонтовский «Парус» стоит всего Брюсова и Урениуса, — сказал однажды Чехов.

— Какого Урениуса?

— А разве нет такого поэта?

— Нет.

— Ну, Упрудиуса. Вот им бы в Одессе жить. Они думают, что самое поэтическое место в мире — Николаевский бульвар: и море, и кафе, и музыка, и все удобства — каждую минуту сапоги можно почистить.

Как Бунин, как Чехов, как прежде Пушкин и Лермонтов, Алеша избегал всякой вычурности, аффектации, «подачи» себя. Просто, еще проще... Но жил Решетов в иной России, чем названные классики, и ее он впитывал, и настаивал:

Поскольку и я простолюдин.

Нам будет легко на земле...

Для его бабушки, дворянки, слово «простолюдин» значило ровно то, что оно значило в XIX веке. Но для Леша звук был другим.

Вглядитесь в круг героев поэзии Решетова. Хозяйка маков Кузьмичиха потеряла на фронте трех сыновей; дядька раздувает самовар сапогом, дошедшим до Берлина; безногий сапожник Глушков оставил свой «одиннадцатый номер» в том же Берлине, но понимает горе немки Шарлотты; старый художник в пасмурном подвале учит мальчишку, сына прачки и убитого солдата, как добиться, чтоб «не было подвала и войны, а было рисование с натуры»; ослепший на фронте скрипач водит смычком, как будто режет черный хлеб; старуха кланяется грибам и зовет синявку голубушкой; «женщина пилит двуручной пилой толстые бревна одна»; девочка на кладбище уснула не вечным сном... <...>

Я берусь утверждать, что до Алеши в нашем крае не было поэта, который так твердо следовал бы избранным путем. Он не писал о ГЭС и ГРЭС, нет в его стихах никаких пусков заводов, фабричных труб и терриконов, хоть он и насмотрелся на них в жизни. Пейзаж, герои, мысли, заботы его лирики совсем и н ы е. В четыре, восемь, двенадцать строк он под высоким напряжением укладывает самые простые слова, но живые, живые! И они сами находят путь к нашему сердцу.

Алеша сознательно выбрал свой путь, свой круг тем и понятий, свою лексику. Когда мы начали готовить к изданию сборник «Иная речь», предполагалось, что это будет тоненький сборник, и войдут в него лишь неопубликованные стихи. Леша готовил к ним предисловие. Потом замысел изменился, сборник стал более солидным по объему, а предисловие осталось у меня. Хочу привести эти слова:

«Название книжки “Иная речь” — не претензия на что-то необычное. Сборник мог называться и “Тревога”, и “Старость”, и просто “Стихотворения”.

Как раз я люблю традиционную форму письма, мне кажется, что она ближе к единопониманию человечества.

Просто в конце высокосного нашего века, на ущербе собственной жизни, хотелось бы говорить сдержанней и разумней, чем прежде).

Сегодня видно, что с самого начала и до конца его речь была иной, оставаясь и сдержанной, и разумной. Его принуждали сменить темы и лексику — он отказался. Да разве он не знал, как это делается? Знал, конечно. Но знал и цену компромиссу. Цену этим грубым подделкам под стихи. Он считал это грехом. Об одном «классике» говорил мне:

— Ему стих написать, все равно что поссать.

Ну да, в бытовой речи он не чурался грубых слов, он знал эту лексику, ведь чуть не 40 лет работал на калийном комбинате, трудился и в шахте, и на солемельнице. Но, спускаясь под землю, он не опускался в языке. С первой книги до последней лексика (и круг понятий) были выверены по высшему образцу: земля, небо, мама, отец, дом, хлеб, любовь, смерть... Фундамент любого языка. Фундамент жизни людей.

Это далеко не всегда нравится людям, чудовищно изуродованным «идеологией». Я помню, как мы с Лешей «прятали» по сборникам «печальные» слова. Их особенно рьяно подчеркивали разного рода рецензенты из Москвы и бдительный главный редактор издательства Б. Д. Гринблат. Установка была одна: больше бодрости и оптимизма! И что вышло? Леша всем дал урок поведения поэта. Он, вообще-то, был терпелив и скромн.

— Ну, уберем этот стишок, — говорил.

Всегда «стишок», а не «стихи» или «стихотворение». Словно стеснялся. Звонил иногда.

— Я новый стишок написал. Хочешь, прочту?

Словно бы я могла сказать «не хочу»!

Так вот, Леша терпел. Дошло дело до верстки, то есть второй корректуры. Еще 6–7 «печалей» велят выкинуть из книги. И тут он взорвался:

— Я возвращаю аванс и забираю рукопись!

Это было прекрасно и сильно. Но я думала: ведь книга не выйдет! Больно. Разорительно. И читателя тоже жаль.

Но Леша оказался прав. Твердость и достоинство поэта победили. Текст больше не тронули, и книга вышла.

Чуть ниже я расскажу еще две истории — о завистниках, о доносах. Но прежде вернемся к темам решетовской лирики, к лексике.

«Обвалами друзей моих поубивало», — написал он на исходе XX века. Это не только образ, это из его биографии. Сам он чуть не погиб однажды в шахте. Знал такие дела не понаслышке. Леша хотел написать повесть «Трещина». Рассказывал мне замысел, эпизоды. Он думал о трагической картине своего детства, юности, жизни. Трещина — та самая, конечно, что всегда проходит через сердце поэта. Эпизоды были мрачные: гибель товарищей, детей, женщин. Изло-

манные судьбы. Унижения. Дикость. Дефицит духовности. Но и доброта, великодушие, благородство...

Леша, конечно, осознал уже к тому времени, что произошло в стране. Жаль, что он не написал «Трещину». Это была бы пронзительная повесть. В «Зернышках спелых яблок» уже был обозначен, хоть и предельно смягчен, ее зачин.

Шекспир сказал: «Тот не ограблен, кто не сознает, что он ограблен»... Леша создавал...

...Только все ж у бараков
Есть хоть капля еды,
А на кладбищах братских
Ни листка лебеды.
.....

Только что мне пеллагра,
Голод, мат, неуют,
Если завтра нас в лагерь
Пионерский везут!

Рифма сделана сознательно, а слово «лагерь» обозначила разрядкой я как редактор. Чтобы обратили внимание. И в другом стихе разрядка не авторская, а редакторская: «Как вы, милые, пахали под землю в дни войны». Стихотворение о женщинах-горнячках исполнено нежности и боли. Алеша знал, как они «пахали», и в этом слове отзвук другой бабьей доли — крестьянской. Одни на земле пахали, другие под землей. Но сам Алеша свои находки скрывал, не высвечивал, не подчеркивал. Я его просто уговорила. А уж «негасимые лампы я зажег бы в вашу честь» мы подчеркивать не стали. Авось внимательный читатель сам догадается, как соединить электролампадки на шахтерских касках с негасимым Вечным огнем... Мы говорили с Алешей об этих женщинах-горнячках, как они тянули лямку всю войну, а потом наша страна вступила в очередную конвенцию (из гуманных соображений), и женщинам запретили работать в шахте. Так их лишили заработка и перевели на подсобные работы — пахать на земле, в несколько раз урезав зарплату. А ведь сколько вдов там было...

<...>

...Еще после первых окликов Алеши, в свои 20 лет, я впервые оглянулась вокруг осознанно. В 1961 году праздновали 30-летие Победы. Впервые после войны прозвучало: «Фронтовики, наденьте ордена!» А ведь это им было заказано 30 лет. Ну и, ясное дело, никто никогда не сказал: «А вы, зэка, наденьте номера». Колонны ветеранов, редая, хоть 9 Мая получают долю почета. Колонны зэка остались там, вдали. Вдовам солдатским прислали похоронки. Вдовам и детям «врагов народа» — оскорбительные бумажки: «за отсутствием состава преступления реабилитирован». У моих ровесников разные судьбы.

Я гляжу сегодня на фотографии ушедших, в лица уцелевших еще друзей, людей одного поколения. Вот Витя Болотов, поэт, Алешин друг. Отец Вити погиб на фронте. Леша очень ценил Витины стихи, придумал название для его посмерт-

ной книжки: «Море и поле». Это ключевые слова Витиных стихов. Два умника, они любили поговорить. Однажды пришли к нам вдвоем, и третий умник, тоже поэт, Боря Гашев, беседовал с ними до утра. А я слушала всех троих и понимала: так мыслить мне не по силам. Тогда они еще были молоды, бессонная ночь казалась пустяком, главное было — решить вечные вопросы... Вечность, как написал в конце своей жизни Владимир Радкевич, всех троих уже «пригласила в гости». Больше мне таких речей не услышать.

Вите Болотову посвящены стихи Алеши. Он не был так щедр на посвящения, как Радкевич, у которого их даже выпрашивали, а тот посвящал и даже перепосвящал. Леша был, я бы сказала, и тут верен себе. Он посвятил стихи Льву Давыдычеву, который был старше, потому Леша относился к нему с неизменным пиететом. Посвящены стихи Володе Михайлюку, чей отец был репрессирован, мать погибла. Есть посвящение Ирине Христоробовой (и ее отец погиб на фронте). Диме Ризову (отец тоже погиб на войне). Юре Маркову. Паше Петухову. Роберту Белову. Вите Соснину. Вере Нестеровой. Горжусь, что есть посвящение и мне. Это был круг людей близких, круг друзей. Одна из составляющих системы ценностей Решетова.

Еще он посвящал стихи своей жене Тамаре. Жизнь не слишком баловала Алешу, а все-таки улыбнулась ему. Тамаре сегодня и уже навек — тяжелее всех нас. Было бы хоть небольшим утешением для нее работать над посмертной книгой Алеши, тем более, что она с ним и работала над рукописью почти до последних дней Алешиной жизни.

Я помню, как он постепенно обретал вкус к такой работе. Когда готовилась к публикации «Чаша», он еще, можно сказать, шел у меня на поводу (в смысле построения книги). Главным образом, потому, что ему не ясны были мои уловки (и не волновали). Я приехала в Березники, и тут Леша меня помучил. Он мог не спать несколько ночей сряду, ему хотелось поговорить. И мы говорили, и пили водку, и ходили по городу (городу моего детства), а Леша рассказывал и вел меня к друзьям — к Паше Петухову, к Юре Маркову, к Славе Божкову. Он рвал цветы с клумбы и дарил их мне (так же он поступал и в Перми). Ночной город. Дневной. А рукопись все лежала. А в ней, по условиям того времени, кое-что надо было прятать — то есть ту же печаль и, вообще, вторые, и третьи, и девятые смыслы.

Уловка была проста: мы обозначили в книге разделы. И, скажем, в раздел «Волшебная книга природы» поместили «Дельфинов», которые вовсе и не о природе, да и вообще поэт «о природе» не пишет. И так далее. Уловка, как ни странно, удалась. Возможно, впрочем, была молчаливо принята. А возможно... Я-то знаю: они стихов не помнят. Я не раз в своей редакторской практике тихонько возвращала убранный руководством (рецензентом) текст в другое место, порой под другим названием, или просто сняв название. Строчки, конечно, увечили. В 90-е годы мы все восстановили. Например, в «Монологе Фауста»: «А за окнами в сумерках серых ждет чудес Академгородок». Намек на возможные последствия научных достижений, на белоокровие и подобные болезни в год выхода «Чаша» «не прошел». До чернобыльской катастрофы оставалось несколько лет...

<...>

Зато как он расстроился и разозлился, когда в Москве некая редакторша попыталась переделать его строчку «Я был пацаном голопятым!» Дама была явно глуха и предложила вариант: «Мальчонкой я был голопятым...» Я даже написала даме письмо. Ответа не последовало. Получив экземпляр московской книжки, Леша открыл ее и... разорвал.

Мне грустно это вспоминать. Лучше, конечно, вспоминать удивительные беседы с Лешей, то, как он легко читал на память чужие стихи, никогда не запинаясь. Как он озорничал на каких-нибудь банкетах (терпеть их не мог).

— Леша, что тебе положить?

— Игурец.

(Это, между прочим, игра от усталости — слово исказить, чтоб не было сплошной «поэзии».)

И ведь вправду на банкете в Березниках, где его, юбиляра, чествовал весь город, где вокруг сплошное начальство и рядом сидят еще и немцы, только в его тарелке лежал одинокий «игурец». А он шепнул мне:

— Поллитру берем, и деру!

<...>

Леша не всегда был сдержан, а язвить умел, и уже выпив, меньше всего был пайнкой. Да и просто завистников хватало. Были, значит, и доносы. Первый, о котором знаю — дикий: якобы Решетов слишком много пишет о сексе! Письмо ревнителя нравов было послано в Москву, в Комитет по печати (тогда был такой, и Б. Гашев предложил его закрыть за неблагозвучие: «попе!»). А еще граф А. К. Толстой писал в XIX веке:

Способ, как творил Создатель,
Что считал он боле кстати,
Знать не может председатель
Комитета о печати.

Однако председатель Комитета во все времена думал иначе, и все издательства страны были подчинены этому заведению. Пришлось мне писать длинное письмо с цитатами из Лешиных сверхцеломудренных стихов о женщинах, о любви и посылать в Комитет. Благо, сделать это было легко. Обошлось. Когда я рассказала историю Алеше, он быстро вычислил доносчика. Леша ведь был человек очень умный, очень наблюдательный. У него был дар поэта, но и цепкая память и хватка прозаика: он видел, как человек ест, пьет, жестикулирует, двигается; он слышал, как человек говорит. Я даже боялась иногда Лешиного быстрого взгляда. Думаю, он был прав, назвав своего «недоброжелателя». Но это случай патологический. А второй — из разряда того абсурда, каким пронизана была наша жизнь настолько, что абсурдность не сразу осознавалась, а лишь много после.

Меня позвали в ту комнатку Союза писателей, где мы обычно курили с Лешей. Там сидел молодой человек из КГБ. Незадолго до того происходило об-

суждение новой книги стихов Алеши. Собратья по перу дружно зарубили цикл стихов «Голоса ночных незнакомцев». Их бесстыдно назвали «лабораторией поэта». Дескать, пока сырые стихи:

...Или враг трудового народа
Побежал — разлюбил Колыму, —
Нажимаешь на спуск — и свобода
Обеспечена тут же ему...

(«Монолог зазывалы из тира»)

Гэбешник спросил: «Не можете ли вы сказать, как стихи Решетова попали на Запад?» Я удивилась, ничего не слыхала про это, но голова сработала быстро:

— Думаю, дело простое. Рукопись лежала в Союзе писателей перед обсуждением, любой мог прийти и почитать, переписать. А уж кто это был — ума не приложу. Не Алексей же Леонидович! Ему такое и в ум бы не впало.

Это, кстати, правда. В ум не впадало не только на Запад что-то послать, но и в Москву, в Питер. А я ведь точно знаю: сразу его стихи действовали, и москвичи, и питерцы удивлялись: «Да кто он такой? Откуда?» И уносили книжку, бережно ее прижимая. Один только раз Леша спросил:

— Как ты думаешь, какой стишок послать в Болгарию? Они там сборник составляют «Сто шедевров современной лирики».

Слово «шедевр» его смущало. Он, кажется, послал «Шахматы». Тоже ведь стихи о маленькой пешке, что «с тобою делит все беды шахматной игры».

<...>

Как обманчива «простота» стихов Решетова. Как много, напряженно, по-своему он думал о мире. И знаки культуры не случайны: «Мыслитель» Родена, Фауст, Демон, «Блудный сын» Рембранта, Владимир Даль. И снова — Пушкин, Пушкин, Пушкин... И — точность слов. Если речь о цирке — вдруг появляется ренское колесо (цирковые люди удивляются — откуда он знает?). Если речь о художнике, он мажет маргарин на хлеб не ножом, а мастихином. Подробность. Точность. Уважение к другой профессии. В известном стихотворении Алеши «Баллада о волшебном слове» в первоначальной редакции не было слова «счастливо», а было немецкое «глюкауф» (счастливо). Так называлась газета немецких горняков, и слово «глюкауф» было паролем для уходящих под землю. Я думаю, что здесь Леша опять был более точен, чем те, кто изменил его текст. Он ведь очень трепетно относился к слову, сам замечал прежде всех свои неудачи, горевал, если не мог их поправить. Говорил мне:

— Это ведь не точно — «золотые врата». Надо золотые ворота. Но не влезает в размер. («Золотые ворота, пропустите вы меня». В детство.)

И еще говорил:

— Что я написал! «Летят хлопотливые пчелы на флоксы ее и виолы...» На флоксы и виолы пчелы ведь не летят. Давай думай, как быть.

Мы изменили строку: «И падает дождик веселый на флоксы ее и виолы». Строка стала хуже. Пение буквы «л» наполовину ушло... <...>

Займствований он гордо избегал. Лишь однажды сокрушенно признался:

— А ведь «жгучий ельник» у меня из Мандельштама. Я только сейчас понял.

Я убедила его, что такие «перезвоны» цепи поэзии — дело не только законное, но общепринятое. Как-то он встретил меня смеясь:

— Мать только что поймала меня на плагиате. Я принес ей новый стишок, а она почитала и говорит: «Да ведь это же песня “Липа вековая”»!

К чему я все это вспоминаю? Да все к тому же. Чистый звук такой простой, но иной речи Алеши Решетова поражал нас всю жизнь именно потому, что он свой дар хранил в чистоте. На рынках книжных душой своей не торговал. В работе был честен. Талант в землю не зарывал, а до смысла этой притчи, как и других священных текстов, доискивался сам. Он не просто читал Библию, он думал. Он шел к Богу и слушал Его.

Прощай, Алеша, собеседник сердца. От всех твоих радостей и печалей остался свет. Я помню свет твоих умных глаз, свет твоей улыбки. Свет твоих стихов остался не только нам — всем, кто захочет взять хоть немного этого света...

Думаю, Россия, как это и бывает, не осознала тяжести потери. Алексей Решетов был большим русским поэтом, и дар его был равен его уму, а это редкость. Стихи его по-настоящему не прочитаны. Но он сделал, что мог, преодолевая удары судьбы и соблазны времени. Он оставил нам «Нежность». Будущим поэтам — «Белый лист». Подарил «Рябиновый сад». Выпил свою невеселую «Чашу», чтоб нам было легче. Прощально помахал: «Жду осени». И отбыл со «Станции Жизнь», завещав оставшимся «Иную речь».

Кама-3. Литературно-художественный альманах. Пермь, 2003

Надежда Гашева

Белый лебедь нашего предместья

Трехтомное собрание сочинений Алексея Решетова вышло в свет. Оно создано по инициативе администрации г. Березники, напечатано в Екатеринбурге, поддержали издание правительство Челябинской области, министерство культуры Свердловской области и Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева. Только Пермь не участвовала в проекте — ее правительственные руководители не жалуют своих поэтов, а вернее, вечно путают белое с черным (или серым). Оттого и в своих амбициозных культурных проектах «сбрендившая» (от слова «бренд») Пермь как-то не вспомнила об Алексее Решетове и тем более не побеспокоилась о читателях.

А я как раз к читателям и хочу обратиться. Перелистывая томики сочинений Решетова, я вспоминаю некоторые подробности рождения стихов, историю их публикации или запрета оной. Мы дружили с Алешей, мне повезло работать с ним, иногда я записывала стихи под его диктовку. Одно из стихотворений —

«Музей погибших» — в трехтомник не вошло. Возможно, Решетов забыл этот текст. Стихотворение кончается строчками:

О, как прекрасен человек!
 Как молод и крылат!
 Но губы, сжатые навек,
 В запасниках лежат.

Горько это, когда лежат в запасниках произведения искусства. Еще Владимир Даль сетовал: «У нас все родное теряется в молве и памяти». Алексей Решетов уехал в Екатеринбург, и Пермь не озаботилась: как он там живет, что пишет? А кто озаботился, тот не смог помочь. Надо было настаивать, скандалить, чтобы автор сам составил, издал и увидел трехтомник. Этот упрек я и к себе обращаю. Но ведь в Перми в последнее время вообще мало издают талантливых авторов.

А теперь полистаем томики посмертного собрания сочинений Алексея Решетова. Все начинается со стихов, написанных в конце 50-х — начале 60-х годов. Тогда на стадионах и в огромных залах звучали стихи совсем иного настроения. Нежность и пристальное внимание к движению человеческой души и высокая печаль оставались в тени. Гремели столичные трибуны, а Решетов не поддавался этой моде. Он упрямо, с самого начала и до конца, говорил с читателем по-своему. Тихо напоминал: *убитым хочется дышать...* За строчкой *Я был убит однажды горем* стоит боль — и вправду спазмы в горле не давали Алеше дышать и говорить после гибели любимого брата. Решетов совсем замолчал, и это продолжалось долго — сошлюсь на воспоминания В. М. Михайлюка. В том-то и дело, что строчки стихов Решетова всегда оплачены глубоким чувством. Поэтому они и находят дорогу от сердца к сердцу. Он удивлялся: *Петь устала, говорить устала, / Только нежной не устала быть.* Он тревожился: *Что у тебя на сердце — уж не тьма ли? / Возьми немного света моего.* Он пугался: *Потерять, как женицину, природу, / Мучиться и сохнуть без нее.* Прозревал: *Тень стихотворца тенью кружки / Пьет участь горькую свою.* Настаивал: *Заплакать, если больно будет, / Смеяться. В рамки не влезать.*

В любые рамки он и не собирался влезать, а особенно чурался всяческого шаманства на публике. Он этому всегда сознательно противостоял, потому что признавал только закон и власть искусства. Он знал, как всякий поэт, что его задача — не искать славы, а говорить читателю правду о трагическом времени. Он пренебрегал словесной игрой, а искал простые и точные слова, соответствующие аскетическому быту и строю жизни соотечественников. А когда у него вырывались слишком сильные, на его взгляд, строчки, он начинал сомневаться, пытался их заменить, успокоить. Помню, как я уговаривала его оставить в стихотворении «Март» строку: *И хрипит, задыхается март, как февраль с перерезанным горлом.* Алеша считал ее чересчур дерзкой, но я сослалась на Льва Толстого, хвалившего Фета за лирическую дерзость. Тот же спор возник у нас о строчке: *Пуškai и идет каждый вечер на мокрое дело закат.* Алексей согласился

оставить строчку, но нехотя, и я поняла почему — он добивался неслыханной простоты, прозрачности, ясности. Он говорил: «Не надо делать стихотворение на приеме. Белые нитки не должны быть видны». И приводил в пример пушкинское «Буря мглою небо кроет». Свои приемы он прятал, так что не сразу и разглядишь. Но я помню, что Алеша оценил мое верное прочтение тайнописи стихотворения «Михайловское».

И не видать в окне Россию,
Всю погруженную во мглу...

Это ведь не только о жизни страны 19 века написано, это вечная история.

И только перышком гусиным
Скрипит сверчок в своем углу...

Тоже вечная в России история. Решетов делал вид, что случайно написал со строчной буквы арзамасское прозвище Пушкина, что глагол «скрипит», равно присущий сверчку и перу, сам собою так точно стал на место. Да ведь и Пушкин, назвавшись Сверчком, только улыбнулся, а сам знал, что мирное имечко не сулит уюта тому, кто принял его пред грозным временем, пред грозными судьбами. В стихе Решетова *льются нянюшкины песни, как будто слезы по щеке* — и звучит издалека первая русская колыбельная: «Спой мне песню, как синица тихо за морем жила»... И возвращается нянина тревога за опального ее питомца. А *драгоценных женищин перстни* точно обозначают, что на самом деле дорого поэту. И решетовская *лачужка в глухом неведомом краю* посылает братский привет пушкинской *ветхой лачужке*: обе печальны и темны. А когда *тень стихотворца тенью кружки пьет участь горькую свою* — опять откликается Пушкин: «Выпьем с горя, где же кружка?..» И тут уже обозначены судьба и ее выбор — участь все та же. И все это уложено у Решетова в 12 строк. <...>

Еще одна любовь Решетова скрыта в стихотворении «Все, что мог, я отдал букинисту». В нем память о любимых книгах детства, но не только. Решетов знал, какой это ковш душевной глубины — детство.

Как я в детстве любил
Небеса и безумца Икара...

...Озябших бабочек жалеть,
На первый снег ступить бояться...

Я с детства помню слезы ранних вдов...

Пахнет смолой в бараке,
Солнышком и травой...

Лет с восьми, но не боле,
А быть может, и в пять,
Радость сердца от боли
Я устал отличать...

Алексей не был библиофилом-собирателем, он просто любил книги. Помню, как он вдруг сказал, что хотел бы перечитать «Лесную газету» Бианки. Я подарила ему эту книжку, а он по-детски обрадовался. В стихе об отданных букинисту на Кузнецком мосту в Москве книжках (а именно там были книжные развалы) есть и сожаление о них, и «общение» с героями: Гулливер присвистнул, Гаврош презрительно сплюнул. А потом произошло расширение мира:

Но волшебная книга природы
Остается со мною пока —
Ее степь, ее вешние воды,
Ее листья травы — до листка.

Мы работали тогда с Решетовым над его сборником «Чаша». И Леша обрадовался, когда я догадалась (хотя и не сразу), что возникли в этом четверостишии «Степь» Чехова, вся ее ширь, открывшаяся мальчику Егорушке, вся даль, звенящая в русской песне; и «Вешние воды» Тургенева, трепет первой любви, отзвук тютчевского стиха и романса; и «Листья травы» Уитмена, новые ритмы поэзии 20 века, а еще — близкая душе Решетова пристальность взгляда. Он ведь и сам умел так глядеть:

Надо мною мышиный горошек
И прозрачные крылья стрекоз...

Взгляд ребенка, лежащего на земле. А следующие две строки этого стихотворения Алеша считал неудачными. «Недовернулся», — говорил он о себе. Потому что взгляд должен был оставаться детским. Я тогда сказала ему, что из его стихов можно сделать целую библиотечку маленьких книжек для детей с простыми и ясными названиями: «Мама», «Бубенчики капли», «Молодильный холодок», «Жалоба удода», «Туманы сентября». Это и впрямь можно и даже нужно сделать, чтобы благородный и благодарный взгляд поэта на мир стал достоянием детей и помог воспитанию ума и вкуса, защитил ребят от фальшивого словоблудия. Потому что у Решетова есть небо — *на три кедра возле речки опирается оно*. Есть земля — *в ней кости и зеленые медали солдат, которых девушки не ждут*. Есть мама — *нигде я в мире не нашел таких людей, как ты, хороших*. Есть хлеб — *русская чернышка с владимирских полей*. И простые растения земли — *полынь, рябина, ива, бересклет...* И птичка-синичка, маленький ежик, веселая белка, свободолюбивый волк, бездомный пес, закадычная черепаха... Решетов говорил: «Мы не старшие, а младшие их братья». И писал о них с братской нежностью: *природе дорог каждый ее ученик*.

Аскетический мир пейзажа, быта, людских судеб в поэзии Решетова — его осознанный выбор. *Я — поэт из черни... Поскольку и я простолюдин...* — Алексей на этом настаивал всю жизнь, несмотря на свое родство по крови с грузинскими князьями. Он знал черно-белую жестокую графику жизни Отечества:

Я из черного теста, из пепла войны,
И стихи мои, как погорельцы, грустны...

В стихах Решетова разных лет постоянно обозначен контраст: черные «маруси» и «воронки» у подъезда, черный «мессер» — знаки гибели; черные птицы возле Иудина древа — знаки предательства. Но всему этому противостоят белый лист и белая ночь, снега белая холстина и вообще весь белый свет. А еще — милые акварельные краски детства в скупом их российском наборе 40-х годов: крылья красной бабочки чердачной, свет алой герани, зеленоватые глаза золотой кошки, красный пламень лесов, синее крыло синички, лазурит знакомой речки, синие цветы горького цикория у тюряги, багровая рубаха костра...

Зная о вечном противостоянии Добра и Зла в этом мире, Алексей Решетов твердо помнил, какова миссия поэта в нем.

Правда — моя королева,
Я — ее старый солдат.

В начале 80-х годов у Алеша «зарубили» стихи, вошедшие позднее в цикл «Голоса ночных незнакомцев». Там был и «Монолог сказочного солдата» с такой концовкой:

Я бравый сказочный солдат,
Но очень стыдно мне
Морочить головы ребят
Неправдой о войне.

Я шла к Алеше домой, чтобы сообщить ему: стихи не прошли, и вдруг на раскисшем снегу увидела оловянного солдатика. Его и принесла поэту в утешение. Алеша обрадовался — в детстве он ведь играл солдатиками, вырезанными из газеты... А что цикл не прошел — к этому он был готов. Горькой правды «Монолог Фауста» не вынесли даже собратья Алеша по цеху и не рекомендовали стихи к печати — испугались.

...Я пытаю железо и серу,
Задеваю огонь бородой,
А за окнами в сумерках серых
Ждет чудес Академгородок...

Чудо обернулось трагедией Чернобыля. А ведь поэт предупреждал:

Я готов под последней любовью,
Лишь бы трепет испытывать вновь,
Подписаться и собственной кровью,
Но годится ли белая кровь?..

Алеша держал удары судьбы. Их было много в его жизни. Он знал, что опасна *волчья стая серых дней*, что бывает *ночь чернее копирки*. В этой ночи служба поэта все та же, что в Михайловском: он — хранитель памяти, хранитель огня и речи. *А от вторых до третьих петухов не более полутора веков*. Решетов выбрал свою позицию в юности и не изменял ей всю жизнь. Он не поддавался суете,

соблазнам изменчивых дней. И очень своеобразны были его поиски истины или выхода:

...И не писал своих героев,
А впалой грудью защищал.

(1965)

...Только глажу новую тетрадь —
Белую голодную ворону.

(1969)

Прийти к Мыслителю Родена,
Спросить, о чем его тоска...

(1970)

Может быть, и в живых я остался,
И беда не накрыла волной
Оттого, что упрямо хватался
За соломинку с крыши родной.

(1973)

...И мне не однажды хотелось
Из черной осенней реки
Достать и согреть своим телом
Дрожащие в ней огоньки.

(1974)

Твоя душа к созвездьям уплывала,
Моя — лежала возле ног твоих.

(1982)

Написать строку бессмертную,
Целовать подругу власть
И, пройдя по снегу первому,
Неожиданно упасть.

(2000)

Закончим наши размышления о свете поэзии Алексея Решетова и нечетком зрении современников еще одной цитатой:

Белая лебедь над нашим предместьем
Вдруг высоко поднялась.
И превращается в траурный крестик,
Все недоступней для глаз.
О, до чего наши очи нечетко
Видят далекий предмет.
Вечно мы белое путаем с черным,
Будто и разницы нет.

Поэт не путал белое с черным. Завещал это и нам. И хотя уже улетел от нас траурный крестик, свет поэзии идет от белых крыл.

Ирина Христюлова

«Я жил далеко на Урале»

Он писал друзьям удивительно теплые письма. Его обращения, обороты речи были словно из 19 века. О таком эпистолярном жанре уже и забыли. Но именно так писал Алексей Решетов. Нежность, искренность, юмор...

Я процитирую, хотя и не целиком, одно письмо Леши, так как оно имеет продолжение какое-то в дальнейшем.

*Иринушка, Гриша! Добрые ангелы мои! Здравствуйте! Свет и мир вашему крову!
Я только что очухиваюсь по причине безденежья. Сижу на родной солемельнице в ночную смену. Праздник, шахтеры филонят, и мы тоже.*

Посмотрел, наконец, твоего «Скакуна». Грустно и светло мне стало, фильм тихий, нежный, ненастырный.

А вот что я хотел спросить на трезвую (полу) голову: кому нужен фильм обо мне? Дело в том, что я уже один раз снимался, это была мука и делалось «ради Ручьева», как мне сказал Давыдычев. Потом Ручьева похоронили, все было зря.

Надо ли это кино тебе, Гиша, и тебе, Ира? Или самой телеконторе? В последнем случае я откажусь без зазрения совести.

А Пермь меня пока не тянет, опять близких вас, мои дорогие, будут заслонять всякие там... В Березниках тоже не мед. Юрка Марков, уехавши в отпуск, где-то в Москве или у тетки в Одессе. Сын помещика Паша Петухов пьет без меня, так как мои бабки всех мужиков прогнали по телефону.

Только что написал письмецо и Михайлюку... Да, видно когда вы меня сажали в поезд, понравились проводнице или что-то значительное ей сказали. Она меня выгрузила, как фарфоровую вазу. Спасибо, братцы, вам вечное за встречи и проводы.

Обнимаю вас, добрые друзья!

В письмах Леша всегда ставил числа, но никогда не ставил год. Видимо, в момент написания год казался величиной постоянной. И в этом письме дата — 2 мая, а вот год приблизительно 1979-й. Тогда он с бабушкой, мамой, племянницей жил в Березниках и работал на солемельнице Второго калийного комбината.

А продолжение письма в том, что фильм о Решетове был все же снят на Пермском телефильме. Только на несколько лет позднее. В жизни произошло много изменений. Решетовы уже жили в Перми. Многим была знакома их трехкомнатная квартира в доме на углу улиц 25 Октября и Кирова. И казалась уютной Лешина комната с пружинной железной кроватью и старым письменным столом, который иногда превращался в застольный. Это значит бутылка вина, нарезанный хлеб, ну, и еще что-нибудь вроде картошки и лука.

В теплое время года мама Нина Вадимовна всегда сидела в лоджии, где росло много цветов, с ней — любимая собачка Бланка.

Фильм о Леше мы все-таки сняли. В Березниках. Возможно, поэтому он не очень сопротивлялся съемкам (еще раз съездить в дорогой город!), хотя по-прежнему не любил кинокамеру и побаивался ее.

Когда исполнилось 40 скорбных дней после кончины Алексея Решетова, по Пермскому телевидению был снова показан этот фильм (он назывался «Белый лист»).

В фильме есть эпизод: Алексей на могилах бабушки Ольги Александровны и брата Бетала ставит свечку. Потом идет по кладбищенской дорожке. Сутулый, погруженный в свои мысли, с дешевой сигареткой, которую он докуривает, притаптывает каблуком.

Сейчас Леша лежит на этом кладбище. Вся семья вместе.

Но не хотелось бы об Алексее Решетове вспоминать только похоронно. В 65 лет пережито вместе со страной несколько исторических эпох. Кардинально менялась жизнь, кардинально менялись взгляды людей. А Алексей оставался сам по себе. В своих стихах он никогда не пытался угнаться за бурными событиями, тем более политическими, он следовал за своей страдающей душой «и писал своих героев, а впалой грудью защищал».

Решетов прожил не так уж долго и не так счастливо, как мог бы при его-то таланте. Но, видимо, талант и мешал его бытовому благополучию. У него не было желания пробиваться локтями, эта сторона его просто не интересовала. Он сам никуда не посылал свои стихи. Приносил только в городскую газету «Березниковский рабочий», да и то потому, что там работал его друг Паша Петухов. Гонорар в городской газете был, конечно, минимален. Леша иронизировал: «А на бутылку хватит?»

Стихи по другим изданиям рассылали обычно его друзья. Помню, Лев Иванович Давыдычев попросил меня на машинке перепечатать рукопись будущего сборника Решетова. Сам Алексей ни о чем не просил и даже ничего не знал. В дальнейшем очень много сделала для издания его стихов редактор Пермского книжного издательства Надежда Гашева.

Алексей никогда никому не завидовал, не жирел на своем таланте, когда стал известен. Он, как ребенок, радовался каждой удачной строчке своих друзей и всегда расхваливал их как мог.

При всей своей доброте, он был человеком острым. Мог завернуть мимоходом такое словечко! Как-то я приехала в Березники. Показываю Леше фотографию: мы с Гришей в ЗАГСе, регистрируемся. Тогда они еще не были знакомы. Леша посмотрел фотографию и вместо того, чтобы поздравить, заметил мимоходом: «А это не Остап Бендер?»

Потом он посвятил Грише стихотворение:

Пусть голова поседела,
Все-таки жизнь хороша,
Только бы раньше, чем тело,
Не умирала душа.

Сейчас, наверное, их души встретились, как и с другими, кто был дорог Леше и ушел раньше.

Вот Витя Болотов...

Алексей очень высоко ценил Виктора Болотова как человека и как поэта. Он всегда настаивал, что стихи Виктора талантливее, чем его. В этом не было никакого кокетства. Березники, действительно, могут гордиться, что в 60-е годы у них жили два таких ярких поэта, как Решетов и Болотов. Тогда они были молоды, очень молоды, но у Решетова уже вышли две книжки, а Виктор печатался опять же в «Березниковском рабочем». Он выпустил первую книжку, отслужив на флоте. А служил Виктор на Тихом океане, на острове Русском, где когда-то жили мама Алеши Нина Вадимовна и бабушка Ольга Александровна. Через много-много лет здесь же оказался и матрос Виктор Болотов — как знак судьбы, он словно бы шел по их следу...

Решетов и Болотов никогда не были в поэзии соперниками, но были соперниками в любви. Так вот сплелась их судьба, они оба были влюблены в одну девушку — Веру Нестерову, оба посвящали ей замечательные стихи. Сейчас трудно искать причины и следствия ее выбора, она вышла замуж за Виктора и уехала во Владивосток. Решетов провожал ее на поезд...

Отношения Болотова и Решетова до самого последнего дня жизни (Болотов умер на несколько лет раньше) несли в себе свет и бескорыстие.

* * *

Алексей не любил перемен, боялся неизвестности. Он всегда держался за привычный уклад жизни. Боялся дурных вестей. Как раз они во многом определили его судьбу, характер взаимоотношений в семье. В ней судорожно держались друг за друга, как будто их могли разлучить в любую минуту. Бабушка Ольга Александровна, мама Нина Вадимовна, дочка брата Олесья... Смерть брата Бетала сплела их в один узел, из которого нельзя было выдернуть даже ниточку.

В молодости мир талантливого поэта Алексея Решетова в основном ограничивался одной тропой: от дома до калийного комбината, недалеко, через площадь, в дырку в заборе, потом обратно по тому же маршруту...

Откуда же брались стихи?
Что короче нашей жизни дивной?
Этим чувством нам и надо жить,
Чтобы стало песней лебединой
То, что мы успеем совершить.

Откуда появился сборник «Белый лист», который всех ошеломил своей чистотой, нежностью? И высоким профессионализмом... Загадка. Она и пребудет всегда загадкой.

Леша никогда не видел моря, никогда не летал на самолетах. Под небеса его не тянуло, а вот о море он мечтал. Правда, Финский залив поздней осенью он

видел, вероятно, этого хватило его воображению. Еще он мечтал о Тбилиси, родине его предков по материнской линии. Черты его лица были грузинскими, там, в Грузии, его бы приняли за своего. И племянница Олеся — ну внешне просто чистая грузинка. Но и в Грузии Алексей не бывал.

Его еле-еле уговорили перебраться из Березников в Пермь. Дали хорошую квартиру. Все упрямылся, все держался «за соломинку крыши родной». Хотя «родное» — горькое. Город ссыльных. Да вот дорогим стал.

Есть фотография: Надежда Гашева, Анна Бердичевская и я в новой квартире Решетовых ожидаем их приезда из Березников. Моем полы, окна, пьем сухое красное вино. И вот пришла автомашина. Нина Вадимовна взволнована, озабочена. А Леша раздражен. Все ему не нравится — и дверь хлипкая фанерная, и замок не на место вставлен, и еще, и еще, к чему можно придраться. Когда они прожили в Перми уже много лет, он все еще ворчал: «Зачем только я из Березников уехал!» Но это ворчание уже было «просто так»... А может быть, и нет...

Нина Вадимовна завещала похоронить ее в Березниках. И Алексей тоже. Их завещание выполнили.

В Пермь Решетов приехал не на голое место. Здесь были его старые друзья. И все-таки он постарался выделить в этом многолюдном городе свой уголок.

Когда Леше было плохо и физически, и духовно, он шел в Союз писателей по улице 25 Октября — здесь много транспорта, но зато мало людей... Когда все нормально — выходил на шумную улицу Карла Маркса (ныне Сибирскую). Его портфель всегда был раздут, в нем находилась трехлитровая банка для пива. Пивной ларек у него тоже был один. Он мог и возле него, сидя на пригорочке, пить пиво. А бывало, и друзья в это время были рядом с ним, и милые его сердцу женщины. «Дерево возле пивного ларька, ты мне любимой моей показалось...»

Но нелюбовь к переменам не всегда бывала фатальной. Случалось, он в этом своем пристрастии и ошибался. Так на склоне лет он встретил женщину, которую полюбил и женился на ней. Между прочим, они могли встретиться и раньше. Тамара Катаева, окончив Свердловскую консерваторию, преподавала в Березниковском музыкальном училище. Но судьба свела их позднее, когда Решетов жил в Перми, а Тамара — в Екатеринбурге. И она стала его судьбой, взяв на себя и ношу провода Алексея в последний путь. Их счастье было связано с потерями. Умерла мама Нина Вадимовна. Произошли большие изменения в жизни любимой племянницы Оли. Тамара стала Леше его последней «спасительной соломинкой». Ради нее он переехал в Екатеринбург, в город для него совершенно чужой. Но он хотел в него вжиться, привыкнуть. Не успел. Таким местом для него стала его квартира в многоэтажном екатеринбургском доме, где всегда рядом была его верная Тамара.

* * *

Есть у Решетова:

Я жил далеко на Урале.
В почти не доступной дали,
То льдины у ног проплывали,
То сено на лодках везли...

В фильме «Белый лист» Решетов говорит: «Бессмертие писателя в его читателе». Читатель поэта Алексея Решетова будет жить долго.

Кама-3. Литературно-художественный альманах. Пермь, 2003

Анна Бердичевская

Взгляд Блока

<...>

Решетов стоит у стены, худой, с узким, бледным, безошибочно узнаваемым лицом поэта, в берете, в шарфе вокруг шеи. Его дымчатые глаза полуприкрыты веками, смотрят неведомо куда. Туда, где нет никого из нас. Взгляд Блока, тот самый.

Поэты, на мой взгляд, красивы. Все. Даже те, у которых совсем «не поэтическая внешность», Николай Заболоцкий, например.

И Решетов был красив.

Он читал стихи, и каждый в зале, в точности, как и я, понимал, что это читает настоящий поэт. Берусь утверждать, что молодой Решетов, читающий глухо, в одну дуду, как бы и не для народа, был абсолютно всем народом, сразу и целиком, понимаем и принимаем. Более того, слово «народ», когда читал Решетов, приобретало тот самый смысл, который в обиходном сознании почти исчез. Совестно как-то после множества лет проживания на своей территории, но в ссылке и в зоне, при начальниках, чувствовать себя и своих соседей русским народом... Когда читал Решетов, переставало быть совестно. Мы узнавали себя. Приходили в себя.

Кама-3. Литературно-художественный альманах. Пермь, 2003

Алексей Решетов и музыка

Об Алексее Решетове написано и сказано не так уж и мало, и еще немало, надеюсь, будет сказано. И все же я возьму на себя смелость приоткрыть то, о чем еще не говорилось и никогда не будет сказано много в силу специфически сложившегося окружения Алексея Леонидовича. Знающим его людям известно, до какой степени он не был человеком публичным; как он тяготился общественным вниманием к себе и как трудно он допускал до близости к себе. Поэтому его окружение никогда не было многочисленным. Еще меньше среди его знакомых было музыкантов, а тем более ставших близкими ему по жизни. И если уж мне довелось последние девять лет быть рядом с Алексеем, то и поделюсь той частью моих наблюдений, размышлений и постижений, которые идут от особо направленного мною интереса к нему как от музыканта.

Мне еще далеко до той храброй самоуверенности, которая позволила бы говорить: я в Решетове все понял, постиг и оценил. И все же...

Впервые я услышал стихи Алексея Решетова тому назад более 30 лет. Был покорен ими сразу и безоглядно на мнения других. Я еще не знал тогда, какое место он занимал в литературном мире, каков был вес его поэтического имени. Я просто влюбился в эту дивную поэзию, и как школьник, увлекшийся коллекционированием, стал собирать стихи Решетова, где мог. Главным образом тогда это были вырезки из газеты «Березниковский рабочий» и пермской газеты «Звезда». Уже тогда я почувствовал, какая бездна музыки в них заключена. Уже тогда я задавался вопросом и до сих пор задаю себе: куда смотрят композиторы? Ниже я попробую ответить на него.

В 1993 году мой старинный друг Тамара Павловна Катаева, ставшая к этому времени женой Алексея Решетова, познакомила и сблизила нас. Так открылась для меня возможность не только через стихи, но и через непосредственное общение с ним заглянуть во внутренний мир этой необыкновенной души. Мне, конечно, было интересно узнать, как сопрягается его художническая и вообще человеческая жизнь с музыкой. Но сразу осязательно почувствовать эту связь было очень трудно, так как Алеша не считал себя вправе высказываться о музыкальных явлениях, произведениях, музыкантах и композиторах, с самого начала наших контактов признавшись: «Я в музыке ничего не понимаю». В дальнейшем я понял, что это как бы и так, только далеко и далеко не совсем так. У Алексея Решетова, действительно, нет широкой музыкальной эрудиции, основательно разработанного музыкально-восприятивного слуха и слышанья. Не слишком богат арсенал пережитых впечатлений, хотя с чем сравнивать — богат он или не богат? И все же, по большому счету, это так. Но...

Шаг за шагом я постепенно обнаруживал, до какой же степени в Решетове живет безошибочное чутье, позволяющее отделить музыку, содержащую настоящую красоту, от бесцветной посредственности, не говоря уж о безобразиях,

вызывавших в нем судорожные корчи, творимых музыкальными оборотнями, которые под видом сверкающей «звездности» вкармливают в ненаполненные души прежде всего молодых музыкальную убогость и гниль, пользуясь тем, что этому поколению не довелось подышать воздухом песенного цветения 30-х — 40–50–60-х и отчасти 70-х годов.

Углубляясь в это открытие на еще более тонком, закрытом для неопытного слуха уровне, я поразился: с какой эстетической осмысленностью Алеша реагировал на музыкальный звук вообще; на различные изгибы музыкально-звуковых комбинаций! Вот когда я воскликнул про себя: какой благодарный для музыкального педагога это был бы материал (пусть простится мне эта казенная терминология)!

Но, пожалуй, самым неожиданным для меня открытием стало поразительное у Алексея чувство музыкальной формы. Вообще, у музыкантов это чувство специально развивают в процессе обучения. И я-то знаю, как трудно дается развитие этой способности, которая у большого множества даже зрелых музыкантов слишком явственно сохраняет следы ущербности. Объясню на примере.

К тому времени, когда мы с Алексеем познакомились, у меня был написан на его стихи — «Ты одна перед Богом ходатай...» — бесхитростный полуроманс-полупесня. В стихотворении две строфы, поэтому музыка, повторяясь, проводится дважды. Эту вещь я с дочкой Олей записал на кассету и предложил Алеше прослушать. Через некоторое время я снова навестил своих друзей — Тамару и Алешу. И вот тут Алеша мне сообщил, что он к двум имеющимся строфам этого стихотворения присочинил еще одну, разместив ее между 1-й и 2-й строфами. Объяснил он свое решение так: двукратное проведение этой музыки недостаточно; нужно еще одно проведение. В глубине души я и сам это понимал, но не смел просить об этом Алексея. Постараюсь объяснить, в чем тут дело.

Возьмем камертон. Если по его вершине ударить, то он в течение какого-то времени будет звучать. От того, с какой силой будет произведен удар, — то есть какой заряд вибрирующей энергии будет ему передан, — будет зависеть протяженность звучания, то есть время разряда. Нечто подобное происходит в музыке. Музыкальная тема по мере своего формирования накапливает некий энергетический заряд. Сколько нужно времени, чтобы самораскрыться до исчерпания этому заряду (то есть как бы «разрядиться»), зависит от начального запаса музыкальной энергоемкости. Если нарушается условие соответствия звучащего времени с начальным зарядом музыкальной энергии, вот тогда и возникают либо скучные длинноты, либо досадное ощущение незавершенности, прерванности высказывания, недопетости. И я до сих пор пребываю в удивлении, откуда у Алексея, с его, казалось бы, нетренированным слухом, такая безупречная реакция на согласованность, или наоборот, на рассогласованность элементов музыкальной конструкции.

Можно рассказать о том, как под воздействием музыки у Алексея разглаживались морщины на лице, возвращая почти детское очарование его выражению и улыбке, так не часто посещавшей его в жизни; о том, с какой возвышающей

трепетностью и мгновенной самоорганизацией внимания он реагировал на колокольные звучания в музыке — как цитированные натуралистически, так и ассоциативно; или о том, с какой поощряющей теплотой Алеша зажигал свою жену Тамару на свободные импровизации, разделяя вместе с ней наслаждение творчеством, и еще о многом другом.

Искренне считал себя отодвинутым на обочину музыкального искусства — и в этом Алеша не кокетничал. Он вообще не способен был на фальшь — тем не менее испытывал глубочайший пиетет к музыке и музыкантам, объясняя это так: по его внутреннему убеждению, первичным было не «слово» (вспомним Библию: «В начале было СЛОВО...»), а музыка. И по его же внутреннему убеждению, музыка — это единственный язык, на котором можно общаться с Богом. Это нужно пояснить. Алексей Решетов был — это все знают — человеком верующим, в религиозном понимании. Но его религиозность не та — крикливая, самолюбующаяся, трибунная, воинствующая, которая нынче в моде, — а тихая, ненавязчивая, редко вообще себя обозначающая, а потому особо сокровенная. Бог для него высшее, непостижимое воплощение совершенства, противопоставленного нашему трагическому, дисгармонично устроенному миру. Устремленность к этому совершенству способна наполнить смыслом человеческую жизнь. И вот найти язык, способный осуществить это устремление, наверное, мечта каждого художника. И, как мне кажется, Алексей никогда не был собою доволен, потому что, обладая гениальным чувством совершенства, он не ощущал в себе найденность этого языка. Думаю, что по этой причине он безнадежно завидовал музыкантам — он сам не раз это говорил, — полагая, что именно они, счастливики, обрели этот дар. Не может не тронуть этот наивный, но действительно красивый взгляд на музыку.

Будучи человеком абсолютно не тщеславным, к тому же несклонным к широкой дружественности, Алексей никогда не предпринимал попыток расширить круг своего общения, вовлечь в него музыкантов и композиторов. Да и вообще ничего не делал, чтобы расширить зону своей известности. Потому подавляющее большинство музыкантов за пределами Пермской области даже не знали о существовании такого уникального поэта. Ведь что уж там говорить, во множестве примеров композиторская инициатива стимулируется самими поэтами, хотя, конечно, обратных примеров не меньше. Так возникают творческие СОЮЗЫ: поэт — композитор. В случае же с Алексеем Решетовым образовался противоестественный вакуум. Редкие прорывы через этот вакуум — как это было с Е. Рушанским из Ленинграда или с Вл. Кобекиным из Свердловска — погоды, к сожалению, не изменили.

Но мне все-таки верится, что время музыкального переоткрытия поэзии Алексея Леонидовича Решетова придет непременно.

Кама-3. Литературно-художественный альманах. Пермь, 2003

Михаил Смородинов

Материнский причал

В конце августа 2002 года вернулся из Екатеринбурга пермский прозаик Владимир Михайлюк, несколько дней гостивший у Алексея Решетова, своего давнего друга. И привез мне «персональный подарок от Леши» — коллективный сборник стихов российских поэтов «Материнский причал».

— Как там дела у мастера? — спрашиваю Михайлюка.

— Задыхается, ходит с ингалятором, но смолит, как черт. На жизнь и жену не жалуется. Потихоньку пишет.

Тогда, в августе, я и предположить не мог, что буквально через месяц весть о смерти Алексея Леонидовича молнией обуглит сердце.

Стал читать «Материнский причал». Наряду с произведениями классиков — Есенина, Твардовского, Рубцова — достойно смотрелась лирика наших земляков. Причем самой объемной и запоминающейся оказалась подборка решетовских миниатюр — искренних, пронзительных, щемящих. Например:

Ты слышишь, мама, я пришел —
Твой милый мальчик, твой Алеша.
Нигде я, мама, не нашел
Таких людей, как ты, хороших.
Руками желтыми всплесни:
Какое небо над востоком!
Не бойся, мама, мы одни
На этом кладбище жестоком.
Уж сколько зим — не знаю сам —
Скребется вьюга по окошку.
А ты все бродишь по лесам,
Сбираешь ягоду морошку.

Перечитал это давнишнее стихотворение и вспомнил почти дословно связанный с ним нелицеприятный разговор с Алексеем о житейской и художественной правде. Впрочем, об этом чуть позже, поскольку сперва необходимо четко определить степень наших с Решетовым отношений. Это сейчас, после его смерти, чуть ли не каждый окололитературный деятель спешит записаться в друзья одного из лучших лириков России. Событьильников и прихлебателей у него, как случается с большим талантом, хватало. Настоящих друзей можно сосчитать, пожалуй, по пальцам одной руки (я говорю вовсе не о сотнях тысяч истинных поклонников решетовской лиры).

Наши взаимоотношения Алексей обозначил сам двадцать лет назад надписью на сборнике «Чаша» (1981 год): «Мише Смородинову — соратнику, близкому человеку». Не только творчески, но и житейски мы особенно сблизились в середине восьмидесятых, когда семья Решетовых переехала в Пермь.

Трехкомнатная квартира в доме, на углу улиц Кирова и 25 Октября, стала

местом паломничества творческого люда: писателей, артистов, художников. Но, в первую очередь, тараканьим нашествием оказались непрошеные визиты к Решетову местных графоманов и соискателей рекомендаций на прием в писательский Союз. Кстати, Алексей Леонидович в данном случае исповедовал «непротивление злу» и на рекомендации не скупился, считая, что в Союзе писателей СССР, особенно в Москве, даже на секретарских должностях графоманов множество. И шесть или шестьдесят новых общей картины не изменят.

К сожалению, «соискатели» славы и рекомендаций несли корифею горячительный бакшиш авоськами. Не все вели себя достойно, некоторые пытались доказать свою гениальность кулаками. Не раз Нина Вадимовна, мама Решетова, звонила мне, и я срочно приезжал на «разборку», выдворяя разбушевавшегося гостя. После таких «проводов» путь в квартиру Решетовых ему был заказан. Надо сказать, что Нина Вадимовна крепко держала в руках штурвал семейного корабля. Она вела хозяйство, даже в магазин сходить Алексею доверяла лишь изредка.

Говорила она негромко, но веско, и ее сын-поэт робел перед матерью, как мальчишка, и зачастую называл ее на «вы». Нина Вадимовна при всей своей строгости любила всяческую живность, особенно собак и цветы. Даже в насквозь прокуренной комнате Алексея, служившей и кабинетом, и спальней, на подоконнике стояли горшки с геранью и алоэ. В цветах — с весны до поздней осени — был выходящий во двор балкон квартиры. Что же касается собак, то их в ту пору было три — подобранных на улице беспородных маломерных созданий. Пол в коридоре всегда был украшен газетными заплатами на месте луж от собачьих конфузов: Леша или его племянница Олеся выводили собак на прогулку только «по-большому».

Мне нравилось беседовать с Ниной Вадимовной. Она много читала, в основном мировую классику, сама в молодости писала стихи. Единственным богатством Решетовых, живших чуть ли не по-спартански, были книги, в том числе полная «Библиотека мировой литературы». Нина Вадимовна неохотно вспоминала прошлое, мужа, погибшего в сталинских застенках, свои собственные мытарства, лагерные и барачные, скупко комментировала снимки в семейных альбомах. Никогда не жаловалась на жизнь. После нелепой гибели своего первенца, Бетала, она очень беспокоилась за судьбу Алексея и, на мой взгляд, не одобряла профессию поэта, которая выбрала его. Ее опасения, в первую очередь, касались богемного окружения, не скупающегося на славословия и чрезмерное восхваление сыновнего поэтического таланта.

Но и гордость за него была сильна. Вспоминается далекий от поэзии эпизод. Звонит Нина Вадимовна мне по телефону и сетует, что после посещения их квартиры буйным непризнанным гением вдребезги разлетелся унитаз вместе с бачком. Местный слесарь требует за восстановление непомерные деньги. Что делать?

В ту пору я работал дежурным на центральной тепловой подстанции жилого массива, соответственно, приятельствовал с нашими слесарями-сантехниками.

Срочно отыскивали «списанную» новехонькую сантехнику и покатали вдвоем со слесарем Павлом к Решетовым. Паша блеснул мастерством, и через полтора часа новенькое голубое «удобство» зафурчало. Нина Вадимовна поставила на стол бутылку водки, соленую капусту, нарезала колбасу. Сама примостилась с краешку, на табуретке. Паша (бывший военный, комиссованный по болезни, парень весьма начитанный) неожиданно для меня попросил разрешения на тост, причем стихотворный. И стал проникновенно читать:

В эту ночь я стакан за стаканом,
По тебе, моя радость, скорбя,
Пью за то, чтобы стать великаном,
Чтоб один только шаг — до тебя.
Чтобы ты на плечо мне взбежала
И, полна ослепительных дум,
У соленого глаза лежала
И волос моих слушала шум.

— Удивительные стихи у вашего сына, — сказал Павел, обращаясь к Нине Вадимовне. — Вы можете им гордиться, и за это и вам, наверное, надо выпить.

Это был единственный случай за много лет, когда на моих глазах Нина Вадимовна осушила рюмку сорокаградусной. Может быть, такая «рецензия» работяги, сантехника сказала ей о таланте сына и его нужности людям больше, чем десяток критиков, вплоть до Кожина. А через несколько дней состоялся наш с Алексеем разговор по поводу стихотворения «Ты слышишь, мама, я пришел...». Недоброхоты Решетова, офутболенные им графоманы за глаза злословили, что он этими двенадцатью строками отправил на кладбище и заживо похоронил родную мать. И я недоумевал тоже, поскольку знал: Решетов в своих стихах не «прятался» за лирического героя, и там, где говорится от «я», говорится от него, Алексея.

— Так ведь эти стихи не о маме Нине, а о маме Оле, о моей бабушке. Отца и маму посадили в тридцать седьмом, и в Хабаровске нас растила бабушка. Так получилось, что я до восьми лет, а Бетал до девяти с половиной называли бабу Олю мамой. Да ты возьми, не поленись, перечитай «Зернышки спелых яблок», там все написано. «Мой милый мальчик, мой Алеша», — говорила мне только мама Оля, то бишь бабушка Ольга Александровна...⁵

В общем, все стало на место. А повесть Решетова «Зернышки спелых яблок» я, разумеется, перечитал. Брат Алексея, Бетал, выведен там под именем Петьки. Вполне возможно, что барачная пацанва его так и называла, а не каким-то экзотическим именем Бетал. Лирическая, грустная и умная повесть Решетова испод-

⁵ И все-таки Алексей Решетов не сказал автору этих воспоминаний правды. Пронзительное стихотворение — чисто решетовское объяснение в любви живой матери, возникшее среди вдруг охватившего его страха при мысли, что он однажды может ее потерять. Об этом подробно — в воспоминаниях Владимира Михайлюка. — Прим. Дм. Ризова.

воль дает чувствовать, сколь много значит для автора понятие «родная кровь». Вспомним анекдотический эпизод о Витьке, дворовом всезнайке.

«А я знаю, кто Пушкина убил!.. Дантес убил.

Через две минуты мы уже знали, как было дело. Оказывается, Дантес поступал к Пушкину поздно ночью. Тот уже разделся и лег спать. Запоздалый гость попросился переночевать.

Пушкин ответил: “Вчера придешь, мукой отоварю”.

В общем, не пускает.

А Дантес не отстает.

Пушкин тогда говорит: “Все равно мы на одну коечку не влезем”.

Дантес все свое: “Ничего, я на самой железке, с краешку”.

Ну, лег с Пушкиным и убил его...»

И вполне естественно недоумение героя: как можно убить того, с кем «на одной коечке, на железке с краешку, под одним одеялом». Ведь так, рядышком, спят только самые близкие. Так, рядышком, бок о бок в Хабаровске, Соликамске, Березниках не одну тысячу раз ночевали Бетал и Алексей. Духовная близость объединяла братьев — и даже тогда, когда старший уехал учиться в Москву. Алексей в ту пору набирал силу как лирический поэт, его талант высоко оценили пермские корифеи — Радкевич, Давыдычев, Домнин. И тут — весьма темная история с самоубийством Бетала в Москве. Позднее в стихах о нем Алексей напишет о гибели старшего брата «на скале-крутизне», подразумевая под этим образом всю нелегкость нашей жизни.

А в тот момент потрясение было таково, что поэт буквально онемел, не воспринимал окружающее. По сути, он оказался на грани сумасшествия. Как рассказывал мне Алексей Михайлович Домнин, один из профессионалов-психиатров выдал единственно возможный в данной ситуации рецепт: «Надо заставить Алексея заплакать, иначе он никогда не вернется в реальность». Почти сутки Алексей Домнин и Авенир Крашенинников, сменяя друг друга, пробивались к сознанию окаменевшего Решетова, стыдя, браня, утешая и взывая к его мужеству. И добились-таки: из глаз поэта покатались невероятно крупные дробины слез, вымывая из души чувство отторженности от мира. Собратья по перу, близкие по духу люди, вернули его к жизни. Однажды, вспоминая этот эпизод, Леша сказал, что он был его вторым рождением — пермским.

Мне очень импонировала решетовская сдержанность, его нежелание влезать в окололитературные свары и дразги. Имея отменный поэтический вкус, он образно и метко характеризовал некоторых стихотворцев: этот слишком шумит и весь пар выпускает в гудок, этот напоминает разобранный самолет — есть крылья, фюзеляж, шасси, мотор, а вот взлететь — никак. Алексей не любил шумных аудиторий, публичных выступлений, не блистал, как Радкевич, умением сходу выдать сногшибательную эпиграмму. Для него более близки были застольная дружеская беседа и ночные творческие бдения. Как-то раз я спросил его напрямик, кто является его земной Музой, ведь не просто же он холостякует столько лет.

— А у нас с Болотовым одна Муза, еще с березниковских времен. Может, я сам виноват, что Вера выбрала не меня, а Виктора. Впрочем, я же не лукавил: «Я встреч с тобой боюсь, а не разлук, разлуки нас с тобой не разлучают...» И другое: «Ты у меня, как Родина, одна — жизнь без тебя страшна, как ностальгия».

По большому счету, личная жизнь Алексея Леонидовича обернулась этой самой ностальгией. Стихотворение то заканчивалось таким четверостишием:

И снится мне: качаются цветы,
И белый аист нам несет ребенка,
И голову закидываешь ты,
И на поляну падает гребенка.

Решетов горевал: «Нет детей у меня, лишь стихи окружают меня, точно дети...» Подспудное желание утешить его, близкого мне человека, я попытался вложить в посвященную ему оптимистическую «Притчу о принце», которая, с легкой руки барда Сергея Гнядека, стала песней:

Был принц довольно замкнут,
как все холостяки.
В его воздушном замке
гуляли сквозняки.
Любимой Несмеяне
он дал бы тайный знак,
но у него в кармане,
как в замке, был сквозняк.
И сквознякам гулялось
в ночь и средь бела дня.
Сквозняк унес, как парус,
крылатого коня.
Принц не о замке детства
слезу сронил в ладонь:
не роскошь же, а средство
передвиженья — конь!
Ночь сыплет соль на раны,
сквозняк задул звезду.
Вдруг...

вводит Несмеяна
коня на поводу.
А дальше — свадьба, дети!
Коню дают овса...
Бывают же на свете
такие чудеса!

Увы, чуда не случилось. Ушла из жизни Нина Вадимовна, и отныне для Алексея Решетова, носившего на груди православный крестик, материнским началом стали зазвездные кущи, откуда никто не приходит назад. Тема смерти в творчестве Алексея Леонидовича стала довлеющей, что, на мой взгляд, весьма замет-

но в сборнике «Иная речь». По сему невеселому поводу я подарил Алексею свою эпиграмму «Монумент»:

Иная речь, огонь во зоре
И лирика, как пьедестал.
В стихах твердя «Мemento море»,
При жизни памятником стал!

На эту дружескую усмешку Алексей отнюдь не обиделся, он как истинный мастер лучше других сознавал свой творческий уровень, свое место в лирическом строю. Выражаясь по-армейски, он был правофланговым. В 1999-м, накануне его отъезда их Перми в Екатеринбург, состоялась наша беседа, опубликованная в «Звезде». Текст статьи имеет смысл привести дословно.

«Пермское радио сообщило, что Решетов переехал в Екатеринбург.

Долгое время Алексею пришлось “сидеть на двух стульях”: друзья и соратники, к которым прикипел душой, — в Перми, жена Тамара — в Екатеринбурге, и переехать ей в Пермь пока невозможно из-за болезни матери. Сам же поэт уже не в том возрасте, чтобы челноком снова между городами.

Подумалось: с его отъездом ощутимо понизится уровень поэтической радиации, заставляющей светиться человеческие души. Большой талант не только своим творчеством, но даже простым присутствием гонит обратно в потемки лезущих на люди пошлость, оголтело-кичливое графоманство, кичащееся черт знает как добытым писательским билетом.

И все же... Не мог Алексей уехать так, молчком, не попрощавшись с друзьями, с Пермью, не такой человек. Звоню на всякий случай домой, не надеясь на ответ, и вдруг — его голос и ворчливое:

— Чего вы торопитесь меня из Перми выпроводить? Радио сказало? Ну и соврало, как сарафанное. Приезжай, потолкуем... Да, семейство Решетовых “сидит на чемоданах”.

— Столкнулся с канителью оформления разных бумажек, — сетует Алексей Леонидович. — Так муторно ходить по кабинетам, выстаивать долгие очереди перед чиновными дверями. Знал бы, так бы все пустил на самотек, сидел и занимался своим делом — над рифмой корпел. Ну, да это не главное, а вот, посмотри, только что прислали из издательства сигнальный экземпляр.

Беру в руки новый сборник стихов Решетова “Не плачьте обо мне”, изданный в Красноярске в серии “Поэты свинцового века”. Серьезное и очень теплое предисловие, написанное Виктором Астафьевым, прекрасная решетовская лирика, многие знакомые полюбившиеся стихи.

— Это что, избранные вещи?

— Не совсем. Там восемьдесят новых стихотворений. Вообще я очень благодарен Виктору Петровичу и Марии Семеновне Астафьевым, в ножки им надо поклониться. Ведь здоровье-то у них не ахти, а вот — всячески способствовали изданию.

— Странное название: “Не плачьте обо мне”...

— Так это строка из библейского текста. А серию я бы назвал иначе, был

золотой век литературы, был серебряный, Блок обозначил девятнадцатый век как железный. А двадцатый — не свинцовый все же, а скорее високосный век. И в конце его в России поэзия почти умерла. Вот мы на днях вспоминали... Среди песенных поэтов в недавнем прошлом звучали Окуджава, Высоцкий... Назови кого-нибудь из нынешних, работающих в этом жанре...

Или вспомни, как всколыхнули в шестидесятые годы всю читающую Россию Вознесенский, Евтушенко, Ахмадулина. Пусть их сейчас почти не слышно, однако попытайся опять-таки назвать имена сегодняшних поэтических властителей дум. Ага, никого... По крайней мере, так могут заявить завтрашние историки поэзии. Неправда это: просто публицистика ушла глубже в лирику. А посему:

Тот, кто вечной славы ищет,
Возомнив, что он пророк,
Не посмеет, не освищет
Наших выстраданных строк.

— Алексей, и все же давай проясним вопрос с твоим отъездом.

— А что прояснять-то? С Прикамьем расставаться совсем я не намерен. Я теперь жалею, что в свое время уехал из Березников. В Пермь-то перебрался лишь потому, что здесь жили великолепные Лев Давыдычев, Владимир Радкевич. Они из жизни ушли. А мне надо возвращаться на родину, в Березники, к родным могилам. Возможно, придется дать кругалю через Екатеринбург. Окончательно еще не решил.

— Но из Перми-то уезжаешь. Что бы ты хотел сказать остающимся? Ну хотя бы как поэтический мэтр?

— Меня завалили книжками молодые поэты. Им бы надо избавляться от убийственного косноязычия, поскольку графоманство идет рядышком с безграмотностью. Стиль и орфография ужасны. Вспоминаю, как я работал на калийной шахте бригадиром, и был у нас на солемельнице один работяга. Сделал прогул и написал такую объяснительную: “Купили мы тремо, решили его омыть, после чего ночевал в вытризвилке. Виллисов”. Когда полуграмотный калийщик пишет “тремо” вместо “трюмо” — это смешно, а когда начинающий поэт выдает такие же перлы — печально.

— Что тебя сейчас больше всего тревожит?

— Время бездуховности, насаждающейся сверху. Когда президент грозно вопрошает: “Шта?”, изображая из себя самодержца всея Руси, я пытаюсь понять, кто дергает его за ниточки, кто кукловод. Я тебе никогда не говорил, что мой покойный брат учился в Березниках в одной с Ельциным Пушкинской школе, у одной учительницы? Так вот, и отца Ельцина мы знали — прорабом был, с эками работал, порядочный, честный человек. А сынок, по-моему, зомбирован. Вот потому и думаю о кукловодах.

Нас всех тоже пытаются зомбировать, вбивают в башку идею о главенстве доллара, материи над духом. А дух первичен: даже в военные и послевоенные, тяжкие годы, люди выжили на духовности. Недавно написал стихи о той лагерной поре.

Было время — люди мерли,
Каждый третий не дышал.
Но у многих ванька мокрый
Подоконник украшал.
Из-под минного завала,
Из дырявого хребта
Поднималась, возникала
Неземная красота.
Даже пьяненький мазила
Жить пытался для людей,
И свинцовые белила
Не жалел для лебедей.
И девчонки-малолетки
Не жалели пятака
На помаду и танкетки
Вместо хлебного куска.
И старухи у параши,
Только стихнет стук сапог,
Вспоминали «Отче наш» и
Северянинский стишок...

— Можно считать это стихотворение подарком уезжающего из Перми поэта жителям Прикамья?

— Как пожелание беречь живую душу — да! Чтобы, как говорил мне маститый литературный критик в пору поэтического начала, когда я еще был работягой: “На носу — солидол, на душе — Вертинский, а в сердце — любовь к правде и России”».

Хотя статья называлась «Не плачьте обо мне», было горько. Обнявшись с Алексеем перед его отъездом, я вдруг остро ощутил, что это объятие с лучшим лириком России может оказаться впрямь прощальным. Увы, предчувствие не обмануло. Уехав в творческую командировку, я не смог проститься с умершим, побывать на кремации в Екатеринбурге, на кладбище в Березниках, где рядышком нашли упокоение Ольга Александровна, Бетал, Нина Вадимовна и Алексей. Не хочу, да и не могу представить Алексея Решетова мертвым. Славословия ушедшим, по его же образному выражению, им нужны как после ужина горчица. Есть у Алексея пронзительные стихи, написанные после смерти Нины Вадимовны:

Побывал на своем пепелище.
Никого, ничего уже там.
Только ветер по комнате рыщет,
Да висят пауки по углам.
Только сорные травы упрямо
Поднялись на могилке родной.
И шепчу я, как маленький:
— Мама,
Приходи поскорее за мной.

Соратник, тот самый, «из черного теста, из пепла войны», достиг-таки материнского причала. Верю, что встретили его там хорошо, и навсегда он пребудет дорог нам, потому что в убийственной юдоли поэта не предал ни правды, ни друга.

Кама-3. Литературно-художественный альманах. Пермь, 2003

Нина Горланова

Ты рано открыл Ли Бо...

Наше знакомство случилось в издательстве, наверное, году так в 1980-м... Мой муж тогда работал в отделе художественной литературы и рассказывал о Решетове: один глаз у него, как у Гомера, внешность гения и прочее. И вот я впервые увидела Лешу. Он был в каком-то синем пиджаке, печальный: потерял собаку. Левый глаз совсем не как у Гомера, а лишь с чуть заметной косиной, которая так шла поэту! Внешний облик совпал (у меня) с его волшебными стихами. Но главное для меня: как человек разговаривает. И Лешина манера речи сразу сказала мне о нем очень много!!! Он тихим голосом говорил так, словно ДОВЕРЯЛ тебе каждое слово, передавая его из рук в руки!

Я рассказала ему, как моя учительница исцелилась благодаря его поэме «Хозяйка маков». Она лежала в больнице со страшным диагнозом (рассеянный склероз). И по радио услышала эту вещь. Поэма ей очень понравилась! И Анфиса Дмитриевна решила: если смогу выучить наизусть, значит, в диагнозе — ошибка. И выучила! Поверила в себя, постепенно встала на ноги. Леша в ответ рассказал: «Хозяйку маков» поэт из Сибири опубликовал под своим именем, полагая, что до Урала сие не дойдет. Сибиряк изменил всего несколько строк, «но вот в чем дело — одну строку сделал лучше, чем у меня!» (и так рад был, что вор — не на 100 % вор)...

Кама-3. Литературно-художественный альманах. Пермь, 2003

Валерий Виноградов

Божий человек. Штрихи к портрету поэта

Вспоминаю: мастерская друга Геннадия в глубине заблеванного алкашами двора позади кинотеатра «Художественный». Днем Генаша малевал в мастерской кинорекламу, а по вечерам общался со своими друзьями, свободными художниками.

Однажды в мастерской у Генаша увидел симпатичного и глазастого поэта из Березников. Поэт сидел за столом, вертел в руках темно-красный прутик вербы с распутившимися желтоватыми почками и улыбался, глядя на них.

— Как воробьята только что оперившиеся, — сказал он и пальцем осторожно погладил одного из «воробьят».

Мне понравилось, как он это сказал, как погладил «воробьянка» и как блеснула в это время в его глазах весенняя голубизна неба, и все остальное как-то вдруг сразу тоже понравилось в нем.

Его попросили почитать свои стихи, и он, не выпендриваясь, сразу же стал их читать. «Торопливо заглянув в ручей, / Косы рыжеватые осинка / Заколола шпильками лучей / И накрыла сверху паутинкой. / И стоит, задумавшись, она, в сапожок брезентовый обута. / Полдень. Наливная тишина. / Ждет осинка...» — поэт на мгновение умолк и, вздохнув с завистью, закончил стихотворение: «...повезло кому-то»...

В этот вечер березниковский поэт изредка пропускал стопарик, чтоб смочить горло, прочитал почти все стихи из первого своего, еще неизданного сборника «Нежность».

Сорок с лишним лет прошло с той поры. Нет никого уже из тех, кто находился тогда в мастерской. Нет и Алеши, а я все еще помню его стоящим в мастерской у Генаши. И тост, который предложил выпить за него похожий на Поля Гогена Юрка Заботин:

— Мужики, давайте выпьем за то, чтобы этот парень, слушай, как хоть звать тебя, а то неудобно как-то, не зная твоего имени, пить за тебя.

— Алексей... Решетов.

— Вот и славно, что ты Алексей — Божий человек. Ну вот, мужики, давайте выпьем за то, чтобы Алексей, Божий человек, переплюнул когда-нибудь Серегу Есенина.

Все дружно выпили.

...1959 год. Июнь. Только что прошла гроза, с Камы дохнуло свежестью. Крашенинников вместе с Домниным устроили мне тогда скромный отъезд. Я уезжал в Москву во ВГИК учиться. Попрошался, встал, подошел к двери... И тут она открывается, в проеме экзотическая фигура: босой, мокрый, кучерявый и страшно довольный, в штанинах, завернутых до колен, Алексей Решетов. Его в ванну — мыть. Потом с хохотом переодевать. Ни один размер одежды из имеющейся в доме не подходит. Всеобщая радостная клоунада. За стол. Первый стопарь. Теперь закусить нужно. Веселая возня, хохот. Чтение стихов. Сорок с лишним лет спустя я не помню, что именно он читал тогда, потому что поразила меня в его чтении больше всего совестливость. Странные, казалось бы, слова при попытке определить, как именно читает поэт свои стихи... Но именно совестливость была свойственна, по свидетельству современников, всем великим русским поэтам при чтении ими своих стихов.

Чем больше я вспоминаю сейчас Алешу Решетова, тем все четче проступают в его необычайно талантливой личности черты трагически насыщенного человека. Где корни этой его трагической насыщенности? В детстве? Нет, хотя детство его, прошедшее в бараке, стоявшем у самых ворот лагеря, обнесенного колючей проволокой, и было нелегким. Я думаю, мне так, во всяком случае, ка-

жется, что исток его трагической насыщенности — в его впитанной с молоком матери честности, порядочности и верности долгу.

Как князь, лишенный властью всех когда-то дарованных его предкам земель, он наплевал на свое княжеское происхождение и, чтобы смогла выжить его бабушка, вырастившая его с братом, мать и малолетняя племянница, пошел вкалывать на рудник.

Я знал немало людей, подобных Решетову, которых их честность и порядочность погубила. И слава Богу за то, что Алексея его честность и порядочность не погубили. «Чинов не хочу и червонцев не чаю. / Зачем же сижу и пишу я ночами? / Зачем я не сплю и у Музы суровой / Прошу, трепещи, драгоценного слова? / Хочу, чтобы вам, горюны-горемыки, / Чуть-чуть помогли мои грустные книги. / Хочу, чтоб моя невеселая чаша / Была бы куда тяжелее, чем ваша».

Так писал он в одном из своих стихотворений. И это правда. Самым страшным, пожалуй, в жизни тех, кто родился в годы террора, было время хрущевской «оттепели», когда вытаяло, как собачье дерьмо, выраженье «как бы», знак, стирающий грани между «есть» и «нет». Вроде как бы появилась вдруг наконец-то свобода и как бы нет, началась вроде как бы жизнь и как бы не жизнь. Целое поколение шестидесятников вляпалось в это собачье дерьмо. И Решетов тоже.

В 1967 году я окончил ВГИК, на распределение не поехал, остался в Москве. Получаю от Авенира Крашенинникова письмо: приезжай, мол. Приехал в Пермь. Решетов уже был членом Союза писателей, но у него за семь лет, которые мы не виделись, были напечатаны всего лишь две книжки: сборник стихотворений «Нежность» и повесть о детстве «Зернышки спелых яблок». Меня приняли на работу на Пермскую студию телевидения заведующим сценарным отделом. В моей убогой берлоге стали бывать Виктор Петрович Астафьев, Лев Иванович Давыдычев, Геннадий Солодников, Авенир Крашенинников... Я уговаривал всех их писать сценарии документальных фильмов. Отказывались: не барское дело, мол... Мы — писатели, ты — сценарист, вот и пиши их.

— О чем? — спрашиваю.

— О Решетове, — подсказал Алексей Домнин. — Лучше поэта на Урале никогда не было. Ты с ним знаком?

— Шапочно...

— Так съезди в Березники, познакомься поближе.

В тот же вечер я позвонил Алексею, услышал:

— Ничего о себе я рассказывать не буду. Так что не приезжайте.

Я не знал, что думают, как относятся к людям «дети врагов народа». Не представлял, как буду писать о нем сценарий. Тогда я ему предложил:

— Напишите сами об эпохе тридцатых годов и о вашей жизни в эту пору...

В ответ:

— Ничего я писать не буду...

И поехал я к нему в Березники в надежде его уломать, уговорить.

Очень короткая встреча, не более получаса. Разговаривать о деле, меня сюда приведшем, он отказался вообще. А я не могу найти к нему подхода. Что ни скажу — молчит, лишь сопит в ответ. Наконец:

— Я без мамы этого решить не могу. Как мама скажет, так и будет.

Входит Нина Вадимовна. Какое-то темно-коричневое платье на ней, белый, много раз кипяченый воротник. Предельно строгая.

— Ничего не выйдет, — говорит. — Рано вам фильм снимать. Надо материалы к нему собирать, а у вас, как я понимаю, ничего нет.

— Ну что же, — говорю, — в таком случае, до свидания.

— Прощайте, — не подавая руки, говорит Решетов, и вдруг...

— Погодите! А мы с вами не встречались случайно?

— Было дело, — говорю. — В Перми, в мастерской за «Художкой».

— Странно, — говорит он, — мастерскую помню. Хозяина Генашу тоже помню. А вас — нет... Со мной такого обычно не случается, я всегда все помню.

Помолчали. Я собрался уходить. Алексей вдруг перешел со мной на «ты»:

— Ты не обижайся, что я скверно встретил тебя. Зайди завтра. Только не домой, а на солемельницу. Усек?.. Там и поговорим.

На солемельницу к Решетову я пошел. Посидели за обшарпанным столом. Рядом поднимаются со дна моря, высохшего еще двести восемьдесят миллионов лет назад, огромные ящики-скипы, со страшным грохотом изрыгают они из своих утроб руду, которая стремительным потоком несется дальше по транспортерам к жерновам дробилок. Дрожат стены. Дрожит потолок. Дрожит пол. Мне в этой обстановке жутковато. А Решетов, в затасканной телогреечке, каска на столе, спокойно сидит у дергающегося, как заарканенное чудо-юдо, стола и так клево опохмеляется, что у меня аж слюнки текут, глядя на это.

Вдруг, как черт из преисподней, появляется мужик с вытаращенными глазами и орет:

— Начальник! Беда: этот е... кратер-кран опять к е... матери сошел с рельс, а ты тут, мать твою перемать...

— На, дерни и успокойся, — протягивает ему стопарь Решетов. — Не впервой ведь. Поднимем.

— Эт само собой, — принимает водочку мужик, занюхивает ее собственной ладонью и кивает на меня. — Салага тоже пойдет с нами мудохаться?

— Естественно.

— Так пусть напаялит на барабан каску, — озабочивается мужик.

...Кратер-кран лежит на боку. Вокруг его громады, матерясь, суетятся рабочие. Решетов хватает лом и кувалду. Я тоже прошу дать мне в руки какое-нибудь трудовое орудие.

— А по шее не хошь? — спрашивает Решетов.

Поэт вкалывает, орудует то ломом, то кувалдой... Жалею, что нет кинокамеры, нельзя снять грязное, потное, вдохновенное лицо поэта, не с пером в руках, а с тяжелым ломом, в забое, где может в любую минуту затрещать крепь, и рухнет тогда на головы людей черный каменный потолок.

...Вечер. Бредем после смены с Алексеем по городу.

— Вот здесь, — показывает рукой Решетов, — была после войны обнесенная «колючкой» огромная зона, в ней сидели власовцы, бандеровцы, немцы и репатриированные на родину из разных стран, бежавшие из немецких лагерей русские пленные... А вот здесь около самых ворот лагеря со строгим режимом стоял барак, в одной его половине жили охранники лагеря, в другой — бывшие зэки и я с братом, мамой и бабушкой.

— Страшно было? — спрашиваю.

Он не понял.

— Страшно чего?

— Жить в бараке с бывшими зэками.

— Ты что?! Это были образованнейшие, интеллигентные люди. И очень добрые.

— А вот здесь было болото, — показывает Алексей на благоустроенное обжитое место, — был мостик через речушку, кочки, старые лодки, белые срубы деревни. Кстати, возле одной из старых лодок на берегу речушки состоялось мое первое в жизни любовное свидание с девчонкой, которую я любил, а она, зараза, изо всех сил старалась избавиться от моей самой первой в жизни любви. У нас мужиков как? Видишь женщин по частям, в щелочку, а потом складываешь из этих частей свою.

Вот так шаг за шагом уговорил, уломал я в тот свой приезд Алексея сниматься в документальном фильме. А через неделю руководство студии после прочтения моего сценария выволокло меня на ковер, где мне было сообщено, что Пермь не Москва, и чернушный мой сценарий в дело не пойдет. А еще через неделю вызвали меня повесткой в известную пермскую «башню» (с которой, говорят, видна Сибирь), и какой-то подполковник задал мне вопрос: почему я вот уже год живу в режимном городе без прописки?

— Потому, что я до сих пор не могу уговорить жену поменять комнату в Москве на жилье в Перми.

— Не пропишетесь завтра, — предупредил подполковник, — вечером вас отконвоируют на место вашей прописки.

Я складывал в чемодан вещи, когда раздался стук в дверь. «Все! — подумал. — За мной пришли». Налил полстакана водки, залпом выпил и открыл дверь. За дверью улыбающийся Решетов с симпатичной женщиной.

— Не ожидал?

— Ожидал, только не вас, а конвойных...

Протянул ему уведомление.

— Суки... — процедил Решетов. — Говорил же я тебе: не дразни собак лагерных, загрызут. Стгоят. Обращался к кому-нибудь за помощью?

— Нет.

— Ну и зря. Вер, побудь с ним тут, — обратился он к спутнице, — приготовь пожрать что-нибудь, а я позвоню и быстро приду.

Я взял ведро и поплелся с ним к колонке. Пока ходил, Вера где-то отыскала почти ведерный самовар. В палисаднике я натолкал в самовар щепок. Повалил душливый дым. Почему зря я клял очень уж хозяйственную спутницу Решетова.

— Положи в самовар из печки горячих углей, — протянула мне Вера совок с пылающими углями.

Сама она, подоткнув подол платья, принялась драить пол.

Часа через полтора вернулся сияющий Решетов.

К его приходу пол был вымыт, стол накрыт. Фыркающий паром самоварище водружен на стол. Батон, колбаса, торт нарезаны.

— Все улажено, старик, — подвел итог Алексей. — завтра зайти в обком комсомола к Руфине. Она сделает тебе прописку в общежитии. С ней познакомишься — не пожалеешь. Все. Есть хочу.

Не было у меня больше в жизни такого застолья, как в тот вечер. Окно настежь. За ним белая ночь. В ночи огромный лиловый куст цветочной сирени. Доносится отдаленный стук колес проходящего поезда, паровозные гудки на Каме. Свет не зажигаем, лиц Алексея и Веры не вижу. Только в свете падающих на решетку самовара углей различаю то руку Алексея, глядящую руку Веры, то руку Веры, глядящую его руку. Вдруг с Камы доносится полонез Огинского. Защемило сердце. Я возьми и ляпни:

— До чего же вы, ребята, счастливые! Вы даже не подозреваете, какие вы счастливые!

Вера всхлинула и выскочила из-за стола к окошку. Алексей — за ней. Обнял ее за плечи, стал успокаивать.

Утром Алексей уезжал в Березники, а Вера — на вокзал, встречать возвращающегося после трех лет службы на флоте мужа, Виктора Болотова.

Первые сухие снежинки. Идем с Верой и Пусиком, беспородной сучкой, навестить Решетова в дурдоме. Вера несет домашнюю стряпню, я — десять пачек «Примы», за которой полдня стоял в очереди, и книжку Мозма «О дружбе-вражде Ван Гога с Гогеном».

Обшарпанные ворота дурдома — психиатрической клиники.

— Дальше не пойду, — говорит Вера, отдает мне сумку со стряпней. — Дальше мне нельзя. Запретил Селянкин (секретарь Пермского отделения Союза писателей) видиться с Алексеем. Да и не хочу осложнять отношений с Виктором.

Вышла нянечка, доложила:

— Алексей Леонидович в курилке. Можете пройти и поговорить с ним.

В курилке сизо и жарко. Толпа пациентов сгрудилась вокруг Алексея, который что-то вдохновенно им втолковывает.

— ...кривые с максимумом или минимумом называются экстремальными. А горбина и впадина на кривой носит название экстремума...

Подождал доктор в халате и, заинтересовавшись, что говорит Алексей, остановился возле меня.

— Так что умозаключение, мужики: чем больше пьешь, тем хуже для здоровья — неверно. Потому что эта прямая пропорциональная зависимость чрезмерно упрощает природный процесс. Значимая зависимость не прямая, а гауссова. То есть экстремум. Прямая же пропорциональная зависимость может сработать только при первом приближении, когда собеседники примерно одинаково очерчивают для себя границы ее применения. Если же один из них выходит за область применения функции, у собеседников возникает несогласие.

Смотрю на доктора. Тот стенографирует речь Алексея.

— Раздвинув рамки питья от нуля до бесконечности, — продолжает Алексей, — мы увидим, что есть некий оптимум алкоголя для здоровья. Если человек пьет больше этого значения, то он вредит своему здоровью, если меньше — тоже.

Пациенты слушают Алексея как пророка. Да он и похож на него в сизом дыме курилки.

— Оптимум питья, мужики, лежит где-то в районе стакана хорошего, марочного сухого вина в день... Та же история и с психическими заболеваниями. Чем комфортнее жизнь в стране, тем больше в ней шизы, депрессий, самоубийств и убийств. В экстремальных матрицах организм мобилизуется, в комфортных — расслабляется.

Врывается в курилку разъяренная тетка из столовой. Орет:

— Ужинать, алики! А ну пошли, гении долбаные, козлы вонючие.

Чуть не сбив меня с ног, все рванули в столовую. Жутко мне было видеть среди них Алексея Решетова.

— Ну, что? — встретила меня Вера.

— Успокойся, все с ним нормально, — соврал я.

— Слава Богу, — перекрестилась она.

Прошло еще девять лет. Я встречался с Алексеем лишь во время его кратких приездов в Пермь. Пил он мало, перешел на пиво. Избегал встреч с пьющими. Боялся сорваться.

Как-то сидели мы с ним у пивного ларька возле его любимого дерева, потягивали пиво, и похоже, что он был счастлив в этот момент. И вдруг горестно вздохнул.

— Ты чего это, старый, так тяжело вздыхаешь? Твое любимое дерево шелестит, облачка плывут, прикормленные воробушки чирикают...

Алексей налил себе еще пиво.

— Да вот, то холодно слегка, то что-то жарко, а жизнь проходит.

— Ну и что?

— Так жалко!

Может, это и есть свойство настоящего поэта — будить улыбку там, где должны литься слезы. Может быть, та, пронизанная краткостью его стиха, его емкость — не что иное, как способность преодолеть непреодолимое. У японцев с древнейших времен существует такая загадка: человек висит над пропастью, привязанный к тоненькой веточке. Если он не будет предпринимать никаких

попыток к спасению, то так и умрет над этой пропастью. Если же он будет пытаться спастись, то любое его движение приведет к тому, что он сорвется.

Алексей как-то хитро и в то же время задумчиво посмотрел на меня:

— Что ему надо сделать для того, чтобы спастись?

— Взывать к помощи, — ответил я.

— Нет. Всего лишь взлететь. Это же его единственный выход остаться в живых.

— Сам додумался до этого?

— Сам до этого не додумаясь, надо видеть. Надо, чтобы был пример, понимаешь? Я, когда мне было еще 6–7 лет, не раз видел, как это делали другие. А потом научился и сам. Понимаешь, не нравится то, что вокруг тебя, — придумай, войди в свой мир. Это и есть, хоть и не совсем, но отчасти взлет.

Пермское отделение Союза писателей. Темноватая комнатенка литконсультанта Алексея Решетова, два окна, выходящие в чахлый скверик во дворе Дома чекистов. 1982 год. Жуткое время... В магазинах пустые полки. Даже в закрытом обкомовском буфете не всем партаппаратчикам дают колбасу.

Письменный стол литконсультанта завален графоманскими стихами.

Алексей сидит за ним сгорбившись, как ворон. В комнату заглядывает Селянкин.

— Рабочий день закончился. Кого-то ждете, Алексей Леонидович?

— Никого.

— Ждете, когда я уйду? Чтобы начать с ним, — кивает на меня, — керосинить?

— Обижаете, Олег Константинович, Алексей не пьет, — парирую я.

Алексей встает из-за стола, под конвоем Селянкина мы выходим на улицу.

— Вот так я и живу, переехав в Пермь, — говорит Алексей. — Дома под надзором матери и племянницы, на работе — Селянкина. Посидим на лавочке в саду Горького?

Невозмогу ему. Не из тех он, кто жалуется на жизнь, откровенничает. Достала его житуха. Заговорил о матери.

— Оторвавшись от Березников, ставших для нее родным городом, от своих подруг, как пересаженное в зрелом возрасте дерево, не приживается в Перми мама, сохнет, болеет. Все лежит в своей комнате, глаза ее живут совершенно отдельной от лица жизнью, в них и страдание и какая-то упорная мысль, ко мне обращенная, просьба, которую не может и не хочет высказать. И еще упрек в ее взгляде. Я понимаю, конечно, что это упрек вечно больного человека здоровому... Когда я выхожу из комнаты, ловлю на себе ее взгляд, полный тоски и обреченности, а приходя, всякий раз испытываю чувство какой-то вины. Понимаешь?

Может показаться, что в части тех тягот, что в ту пору переживались Алексеем Решетовым, я виню и Олега Константиновича Селянкина. Суровым был этот прошедший войну человек, после войны сам много пивший сначала — оттого, что все никак не мог найти своего места под солнцем. Но теперь-то он изо всех

сил пытался спасти Алексея, оградить его от липнувших к нему и спаивающих его «друзей». И он действительно спас его как поэта.

...Откуда-то появился у ног Алексея подрагивающий от холода кобелек. Решетов оживился.

— Ты посмотри, какой хороший песик, глазки умненькие, ушки симпатичные, ухоженный, благородных кровей кокер. Видно, что потерялся...

Но это был мнимый кокер — типичный двортерьер. Он признательно в ответ на ласку сопел, вилял хвостиком и норовил завалиться на спину...

— Взял бы я тебя, друг, домой, да там мама больная, и племянница собак не любит. Есть хочешь? Понятно — хочешь. Слушай, — это он уже ко мне, — сбегай в магазин, купи псу пожрать что-нибудь. А я пока тут с ним поговорю.

Алексей любил животных с детства, он и тогда, по его словам, чувствовал не особенно свойственное детству одиночество. Животные ему его скрашивали, вернее, создавали иллюзию не-одиночества и благосклонности к нему мира. Это родство душ и сближало меня с Алексеем.

В другой раз: жарища, дышать даже на берегу Камы нечем. Горло у меня и Алексея пересохло, страшно хочется пивка холодненького. Рядом ларек, крохотная забегаловка всего на три столика «в стояка». У бочки с пивом бабища — шире бочки. А денег-то, оказывается, у нас нет. По карманам все мелочь. Стоим и, смущаясь от презрительного взгляда буфетчицы, складываем грош к грошику. Наскребли-таки на две кружки. Алексей протягивает буфетчице на ладошке нашу мелочь. И тут его блатарь какой-то бац по руке. И разлетелась наша мелочь.

— Не мелочитесь, фраера. Нате вот... — и сует Решетову сотенную купюру. — Попейте, интеллигенты, вдоволь пивка.

Решетов побледнел, потерял дар речи. А блатарь ушел.

Стою и смотрю на Алексея, зажавшего в кулаке стольник. Наконец Решетов разжимает кулак: «А пошел ты...» — дальше следует горняцкий мат, и он швыряет сторублевку на пол, пинает ее и идет к выходу.

Иду следом:

— Зря ты, Леш...

— Чего зря?! Я буду с голода подыхать под забором, землю жрать, но милостыню ни от кого не приму.

Я был тоже гордым, обиделся.

— Это значит я, что ли, побирушка? А пошел ты, мон шер, знаешь куда!..

Так я впервые с ним поцапался. С этого момента мои отношения с Решетовым испортились. Но еще больше осложнило наши отношения то, что я сблизился в это время с его очень сложным другом Виктором Болотовым и его женой Верой: жить стал рядом с ними, встречаться почти каждый день. Много трагифарсов случалось в эти годы в доме Болотовых, в том числе и с участием Решетова, но особенно мне запомнился один, произошедший в день рождения Виктора Мартыновича.

Празднично одетая в приподнятом настроении Вера заканчивает сервировку раздвинутого стола не менее чем на двадцать гостей. На столе цветы, шампанское, конечно же, водяра, закуска всякая, даже икра, кажись, но не черная и не красная, а кабачковая. Судак заливной. Фрукты в вазе. В углу наряженная новогодняя елка.

Вера, напевая, с нетерпением ждет гостей. Среди них должен быть и особо почетный гость, своего рода свадебный генерал — гривастый, седой уже Лев Иванович Давыдычев.

Его все нет. Явно нервничая, Виктор Мартынович, как глухарь на суку, токует, поблескивая своими знаниями, хоть и не вращается в кругу высоколобых философов и экономистов:

— Экономические законы, Леш, экономические силы, экономическая динамика — это все, конечно же, важно. И парламент, и гражданские свободы, и справедливый суд, и возможность эмигрировать, и многое чего еще. Все важно. Но не дос-та-точ-но... Россия — особая страна. Эмоциональная страна, пассионарная, сосредоточенная на своей внутренней жизни, на вековых духовных поисках... Пока не найдет свою особую, высокую, объединяющую всех идею, не найдет идеал, не поднимется она с колен.

Алеша Решетов помалкивает...

Пришел поэт Николай Бурашников с женой, Герман Митягин приехал из Осы, соседка старуха-фронтовичка, подруга Веры, еще кто-то.

Болотов к этим гостям даже не вышел. С нетерпением ждал Давыдычева. А Лев Иванович все не шел.

Решетов, тоже с нетерпением ждавший Давыдычева и возможности наконец-то сесть за стол, взорвался в ответ на тираду Виктора:

— Не надо ничего искать, Вить. Ничего нового не будет найдено, Виктор Мартынович. Искали уже. Бог знает, сколько сил на это потратили. А жизнь — она мимо прошла.

Совсем иное, чем у Виктора, смысловое наполнение слов. Неподдельная горечь так и сквозит в них... Виктор и я изумленно смотрим на него. Никогда прежде Решетов на эти темы так не говорил.

— Не надо, говоришь, Леш? Идеи не надо? А что надо? Чем тогда жить?

— Тем, что есть, тем и надо жить. Все у нас уже перепробовано, одно только не пробовали: жить тем, что есть... И чем люди во всем мире живут.

Задрезжал звонок.

Виктор кинулся к дверям:

— Наконец-то!

Разносчик телеграмм. Их целых пять.

Виктор, не читая их, кричит:

— Вера, хватит ждать Леву! Давай за стол!

Вера сникла.

Уселись. Во главе — Виктор в белой рубашке и галстук. По левую руку — Вера, по правую — Алексей.

Виктор взялся было за бутылку с водкой, но Вера остановила его:

— Коля, — к Бурашникову, — открой шампанское.

Коля открыл, разлил по фужерам женщинам, ну, а мужикам плеснул в стопарики водочки, поднял руку вверх и запел:

— «Не бродяги, не пропойцы...» — он кивнул Виктору, подтягивай, мол.

Тот подхватил:

— «За столом семьи своей. Вы пропойте, вы пропойте славу женщине моей».

Нахмуренное лицо Веры засияло, как солнышко из-за туч. Алексей поднял стопку:

— За хозяйку дома.

Все дружно выпили.

— А теперь за хозяина дома, — объявила Вера и кивнула Николаю Бурашникову. — Туш!

И Коля выдал туш, да еще какой:

— «Когда услышу марш военный... А он — в неслыханной тиши — гремит, гремит во всей Вселенной до уголков моей души...»

Тут Вера подхватила:

— «И полный грусти изначальной, прощальной грусти всех времен, любимый голос твой печальный услышу в нем, услышу в нем...»

Болотов от сюрприза даже прослезился.

— Это Вера, ее идея. Встаньте, Вера Ефимовна, Виктор Мартынович, поцелуйтесь.

— Потом, — смутился Болотов.

— Нет уж, сейчас, сейчас, сейчас...

Виктор неловко поцеловал Веру. Я посмотрел на Решетова. Тот улыбался.

Хорошо начался тот день рождения, а вот кончился он, как всегда.

— За дружбу, за семейное счастье, — предложил Решетов тост.

Виктору почудилась в его голосе издевательская нотка, и он вдруг взорвался:

— Пшел вон, Решетов! Увольняю!

— Не дури, Виктор, — вмешался я.

— И ты... и ты тоже пшел вон. Увольняю!

— Вить, ты же мне обещал... — взмолилась Вера.

— Пшла вон, сучка. Увольняю всех к чертовой матери!

Он попытался встать, потянул за собой скатерть, полетели на пол бутылки и все остальное приготовленное Верой ко дню рождения.

Вера заревела.

Гости кинулись кто к Вере, кто к Виктору.

Мы с Решетовым оделись и, не прощаясь, ушли.

Виктор действительно бешено ревновал Веру к Решетову, оскорблял ее, выгонял из дома. А потом, протрезвев, на коленях со слезами в глазах умолял ее простить его. И она прощала.

Вскоре доктора обнаружили у Виктора рак горла. Больница, облучение. Он сбежал после этого из больницы с полуоблезлой бородой. Сбрил ее и запил. Близ-

кие ему люди боялись, что он покончит с собой. Похудевшая, почерневшая Вера не спускала с него глаз. И у Алексея как раз в эту пору горе: умерла его горячо любимая мать.

Не буду вспоминать то поистине кошмарное время. И на каком политическом фоне: в стране переворот за переворотом...

Совершенно случайно наткнулся я на обращение писателей, под которым стояла подпись и Виктора Петровича Астафьева, к Ельцину. Я позвонил Решетову, прочитал обращение по телефону: «Эти тупые негодяи, защищающие Советскую власть, уважают только силу. Так не пора ли, Борис Николаевич, продемонстрировать всем им силу...»

Решетов долго молчал, потом глухо спросил:

— Что ты хочешь от меня услышать? Осуждаю ли я Виктора Петровича, подписавшего это обращение к Ельцину? Так вот, хорошо слышишь меня?

— Хорошо.

— Я не осуждаю его. — И бросил трубку...

Через день танки в центре Москвы в упор стали расстреливать Белый дом. А еще через несколько дней с опухшим от пьянки лицом президент Ельцин, со свечой в руке рядом с Патриархом Всея Руси Алексием Вторым, тоже с зажженной свечой в руках, был показан по телевидению во время поминания душ погибших.

Я начал воспоминания о Решетове с того, что он — фигура трагическая. Если бы он сумел на самом деле отстраниться от времени, был бы равнодушен к нему, если бы нашел свою независимую от него нишу — ему было бы легче жить. Все трудности, потери в его жизни были бы тогда всего лишь случайными фактами его биографии. Но это не так. Фактически они были и остались до конца — не проявлением его общей изначально заданной трагичности, а его судьбой, прочно укорененной во времени. Он верил в этот мир. Верил в возможность его изменения к лучшему: «Еще мне кажется, не поздно другому времени прийти». Это жило в нем до самого конца. А время не оправдало его надежд.

...Возвращаюсь как-то после спектакля в театре оперы и балета домой. Осень. Часов одиннадцать вечера. На лавочке возле памятника Ленину в театральном сквере сидит старик, потягивает из бутылки пиво, рядом собака, которую старик ласкает, даже вроде разговаривает с ней. Мимо, не обращая на него внимания, идут разодетые, веселые, сытые «новые русские» люди. Да и старик на них тоже не обращает внимания. Пригляделся: Господи, да ведь это же Алексей! И сразу же вспомнились его строки: «Мне душа нелегкая дана: / Я ни с кем не пробовал ужиться. / Только тень осталась мне верна, / Ест и пьет, и спать со мной ложится. / О, как я бываю одинок...»

Схлынула публика. Пусто стало в осеннем сквере. Я все не решался подойти к нему. Почувствовав на себе мой взгляд, он поднял голову, посмотрел на меня, узнал и позвал:

— Иди сюда. Посидим. Как жизнь?

— Как в анекдоте: «Почему тебя не устраивает новая жизнь, старик? Да потому, что я ее не устраиваю».

Алексей вздохнул.

— Меня тоже. Как поживает Вера?

— Тяжело.

— Я тоже один, — он отшвырнул сигарету. И вдруг заговорил о наболевшем, что неудержимо стало рваться из него:

— Вот всю жизнь стремился я к писательству. Да ведь и ты тоже — к умению доверять бумаге свои невзгоды. Доверишь — и вроде бы преодолеешь их. И что в итоге? Одиночество — больше ничего. Я, конечно, и раньше был один. Я один всегда даже среди самых лучших, самых преданных друзей, меня любящих, даже с женщинами. Никогда мое одиночество меня раньше не тяготило. Потому что необходимо было — писать в нем стихи, думать, читать, выпивать, естественно... Знаешь, как я любил прогулки с самим собой после работы в забое, после грохота и пыли солемельницы? Тогда в дождь и мороз крепла моя душа, училась довольствоваться самой собой, на себя лишь надеяться. Людей, способных переживать вместе со мной мои фантазии, у меня сроду не было.

А вот теперь, после смерти мамы, мое одиночество стало другим — сиротским. Почему никого на свете больше не интересуется моя жизнь и судьба? Ну кто теперь за меня порадует или огорчит, кроме моего Милорда?

Он закурил.

— Все вроде как бы есть у меня и как бы нет. Есть как бы дом и как бы нет его после смерти матушки. Как бы есть друзья и как бы их нет. Есть как бы жизнь и как бы ее нет, старик. Понимаешь, нет жизни...

Милорд у ног Решетова ластился к нему, чувствуя настроение хозяина. И я подумал о себе, что мог бы сказать слово в слово, что и Алексей, если бы не я, а он встретил меня вот так же одиноко сидящим на лавочке в сквере.

— Хочешь послушать, как мы с Милордом поем? — спросил он вдруг меня. — Спой, Милорд?

Собака сразу же наострила уши, подняла морду кверху и по-волчьи тихо, а потом все громче и громче завывала. И Алексей стал тоже подвывать Милорду. И я сам в этот момент тоже был готов присоединиться к ним...

Это была последняя встреча с ним до переезда его в Екатеринбург.

Моя жена и дочь навестили Решетова в Екатеринбурге.

Жена мне рассказала, Алексей был счастлив, очень счастлив со своей женой Тamarой. Наконец-то сбылось, хотя и наполовину, то, о чем мечтал всю свою жизнь: теперь он имел свой теплый уютный дом, души не чаявшую в нем жену и вдохновение, как в юности — он писал с утра до поздней ночи. Иногда даже ночью вскакивал с постели и с трудом (он тогда уже ходил неуверенно) добирался до стола, чтобы на клочке какой-нибудь бумаги записать прущие из него строки...

Мне много раз приходилось от него слышать в Перми из пушкинских «Египетских ночей»:

«Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище, которым он заклеен и которое никогда от него не отпадает.

Публика смотрит на него как на свою собственность; по ее мнению, он рожден для ее пользы и удовольствия. Возвратится ли он откуда-нибудь, первый встречный спрашивает его: не привезли ли вы что-нибудь новенького? Задумается ли он о расстроенных своих делах, о болезни дорогого для него человека, тотчас же пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание: верно, что-нибудь сочиняете? Влюбится ли он — красавица его покупает себе альбом и ждет уж элегии. Приедет ли он к человеку, почти с ним незнакомому, поговорить о важном деле, тот уж кличет своего сына или дочку и заставляет читать стихи такого-то, и стихотворца угощают его же изуродованными стихами. И это еще цветы ремесла! Ягодки горше...»

В Перми все друзья и знакомые, а их у него была тьма, считали Решетова своей собственностью, существующей для их пользы и удовольствия. Это его бесило: «Я ничья собственность. Даже не Божья. Бог не собственник». Но только лишь в конце жизни своей в Екатеринбурге освободился он от притязаний всех друзей, знакомых на него. И стал по-настоящему свободен. А ныне Алексей не воспоминаний достоин — больших раздумий, и не только о нем самом и о людях, его окружавших, но прежде всего о том, что государство натворило со всеми нами в XX веке. Перед отъездом моей жены и дочки из Екатеринбурга Решетов подарил нам свою последнюю книгу стихов «Темные светлы» с надписью: «Валерию и Надежде Виноградовым, близким, дорогим людям, от всего сердца. А. Решетов. 25.5.2002 года». Было это всего лишь за два месяца до его внезапной кончины.

Думаю, уходя из жизни, Алексей вполне мог бы оставить на своем письменном столе точно такую же записку, как Виктор Петрович Астафьев, его старый друг. «Я пришел в мир добрый, родной и любил его бесконечно. А ухожу я из мира чужого, злобного и порочного. Мне нечего вам сказать на прощанье».

Да, мог бы, вполне мог. Но не оставил подобной записки, потому что никогда не осуждал тот мир, в котором жил. Каким бы этот мир ни был, он любил его. Вот, пожалуй, и все.

Об авторе

Валерий Виноградов закончил работу над своими воспоминаниями об Алексее Решетове за три дня до собственной мучительной кончины. Исключительно честный талантливый человек, он обладал одним свойством, помешавшим ему в полной мере реализоваться как литератору, — его требовательность к самому себе переходила все мыслимые границы. Свои сценарии, рассказы, повести он уточнял, шлифовал, переделывал десятки раз, стремясь к абсолютному совершенству и, не умея вовремя остановить этот процесс, бросал почти все, над чем работал...

Воспоминания об Алексее Решетове он писал, находясь в полном смысле слова на смертном одре, преодолевая чудовищную слабость и боли в уничтожаемом раком

теле. Однако и физические страдания не отменили его требовательности к себе. Оставались считанные дни его жизни, а он все переделывал и переделывал, не поднимаясь с постели, уже написанное. За три дня до кончины, не в силах уже держать в ослабевших пальцах карандаш, он надиктовал мне еще несколько страничек уточненного текста. Так что воспоминания эти — не только словесный памятник Алексею Решетову, но и самому Валерию Виноградову. Он остался верным своей натуре до конца — в полном смысле этого слова.

Дмитрий Ризов
Звезда. 2007. 30 марта. С. 3–4

Александр Кердан

Поэт, как ветер в чистом поле...

Алексей Леонидович Решетов не умер. Это для меня очевидный факт.

Когда человек умирает, тем паче человек такого масштаба и таланта, сразу появляется целая плеяда его «друзей, наперсников, доверенных лиц», всех «близко знавших ушедшего» и т. д. и т. п.

Сразу оговорюсь, я не был другом Решетова, не был его учеником (в прямом смысле этого слова), не караулил последнее дыхание Поэта. Не могу также причислить себя и к числу его приятелей, хотя знаю его довольно длительное время и вхож в его дом.

Именно — знаю и вхож. Так как мои взаимоотношения с Алексеем Леонидовичем Решетовым продолжают по сей день. Это и разговоры о поэзии, и чтение стихов, и посиделки за круглым столом, где он неизменно присутствует. Словом, наши отношения — это отношения живых людей и, следовательно — дело интимное и эпистолярному жанру неподвластное.

Потому я долго размышлял, получив предложение супруги Алексея Леонидовича — Тамары написать о нем.

Перед глазами вставала потаенная усмешка Решетова в ответ на аналогичное Тамарино предложение три года назад:

— Алеша, напиши о Сашиной книге. Ты же ее хвалил...

— Не буду писать. Зарекся с некоторых пор писать о поэтах...

Не скрою, тогда царапнуло это «не буду». Ведь не зря же:

От иного хвала, как хула.

От тебя и хула — похвала...

Потом понял: прав Алексей Леонидович. Поэту о другом поэте (при всем различии степеней одаренности, признания и т. д.) писать не стоит. Разбор поэтических сборников — удел критиков. А о поэте лучше всего говорят его собственные стихи. Впрочем, подобное суждение никоим образом не относится к

начинающим литераторам. Для них слово Мастера может стать и крыльями за спиной, и маяком, озаряющим все творчество. Это я ощутил на себе. Алексей Леонидович однажды произнес такие слова о моих первых стихах.

В далеком восемьдесят седьмом нас познакомил Николай Федорович Домовитов, к которому Решетов, насколько мне известно, относился очень трепетно, как к настоящему русскому поэту и человеку, прошедшему фронт и ГУЛАГ. Домовитов и попросил Алексея Леонидовича прорецензировать рукопись моей поэтической книжки.

Через неделю Решетов из рук в руки передал мне рецензию, в которой похвалил десятка два лирических стихотворений, с прохладцей отозвался о стихах, как сейчас говорят, державно-патриотических. Он предупредил, что они вызовут отторжение в местном издательстве и посоветовал сделать акцент именно на лирике. Решетов оказался прав: поэтическая книжка тогда у меня не сложилась. Но стихи, которые Алексей Леонидович отметил «плюсиками», через пару лет вошли в мой первый сборник, изданный в Москве. За эти стихи мне и сегодня не стыдно.

Что же касается упомянутого «ученичества», то оно продолжается со дня нашего знакомства. Насколько его творчество значимо для меня, можно судить, перелистав мои сборники. Почти в каждом есть стихотворения с решетовским эпиграфом, стихи, полемизирующие с его стихами или продолжающие темы, близкие Алексею Леонидовичу.

Есть еще несколько произвольных уроков Решетова, о которых хочется рассказать. Помню, впервые услышал, как он читал стихи на поэтическом вечере в овальном зале Пермской организации Союза писателей. Тогда прозвучало несколько стихотворений, но особенно запомнились мне «Дельфины» и еще — манера чтения: внешне невыразительная, без антуража, но заставляющая душу слушателя всю обращаться в слух и зрение, способные улавливать иную речь, видеть подземную траву и потоки косвенного света... Я бы и назвал это уроком иной речи — главной в творчестве.

Еще запомнилось, как Алексей Леонидович, которому я прочитал новые стихи, посоветовал: одной метафоры на одно стихотворение более чем достаточно. Хотя впоследствии я был свидетелем его благожелательного отзыва о стихах Юры Казарина, у которого на строфу случается и несколько метафор... Это, пожалуй, урок толерантности.

Но главный урок — это пример служения литературе, по-решетовски: не выпячиваясь, без самолюбования, честно и бескомпромиссно, невзирая на «столичное» непризнание, безденежье и житейскую неустроенность.

Впрочем, надо заметить, что Екатеринбург (коллеги, читатели и даже власть предрежащие) встретил Решетова радушно. Здесь его знали и любили, у него вышли в свет новые книги, он получил престижные премии. Здесь он наконец обрел свой дом, где был окружен вниманием и пониманием. Но покажите мне поэта, душа которого при всех обстоятельствах была бы обустроена в этом мире?..

Надеюсь, Алексей Леонидович в своем далеке услышит и не пожурит меня за стихотворение, посвященное ему:

Поэт — как ветер в чистом поле —
Всю жизнь приют душе искал...
Явился в мир по Божьей воле,
Ушел, как будто все сказал,

Не сетуйте, что — неприкаян —
Он жил, как жил, и пел, как пел...
У всех ветров судьба такая:
Смутил покой и улетел.

Екатеринбург, 2004 г.

Избранные материалы о творчестве поэта

На первую книгу стихов Алексея Решетова «Нежность» первыми откликнулись в печати, отметив одаренность автора, два поэта — пермский и свердловский — Владимир Радкевич и Николай Куштум. Но, журуя его за излишний лиризм, они пытались тем самым повлиять на творчество молодого поэта в духе коммунистической морали¹.

Владимир Радкевич

Стихи Алексея Решетова

Радуга, которую, словно скакалку, держат в зеленых ладонях березы. «Заветный аленький цветочек» — не просто расцветший на лесной полянке, а как будто перенесенный сюда из любимой в детстве сказки. Тонконогие осинки, стоящие на «синих ковриках теней», кусты в зеленых рубашках на речном берегу, что вот-вот бросятся в воду и поплывут, «догоняя плоты»...

Такой, сказочно-красивой, ласковой к своему другу-человеку, раскрывается родная природа в лирических стихах молодого поэта-березниковца Алексея Решетова. Она, эта природа, еще овеяна романтической дымкой воспоминаний и впечатлений детства, жадно хранящего в памяти жаркие краски лесных и луговых соцветий, приветливый шелест лесов с их манящими грибными и ягодными богатствами. И в то же время она, по признанию поэта, друг и советчик, помогающий «тоньше чувствовать и красивее жить».

И другие стихи А. Решетова созвучны стихам о природе своей искренностью, взволнованностью и задушевностью. Надо уметь верить людям, уметь находить в них прекрасное — утверждает поэт. Богатства людских сердец еще более неисчерпаемы, чем богатства природы.

Алексей Решетов это умеет — увидеть «необыкновенное в обыкновенном».

Его лирический герой — человек не без биографии. Зарницы ранних воспоминаний сохранили и бомбежки, и глаза медсестер, и подвиг, и проголодь военных годов. Сохранилась и жгучая боль того осиротевшего мальчишки, который «еще с сорок первого лета похоронную батьки берег...».

«Земля в заботе» — так озаглавил двадцатидвухлетний березниковский техник А. Решетов свою первую книжку стихов, работа над которой еще не закончена². Не все в этой книжке равноценно — любовь к природе иногда переходит в сентиментальное любование; встречаются еще длинноты и неудачные строчки. Недостаточно широк и круг тем, избираемых поэтом. Но верится, что в новых

¹ Здесь и далее — примечания и комментарии Т. П. Катаевой.

² Книга вышла в 1960 г. под названием «Нежность».

своих стихах А. Решетов покажет и другие «заботы земли», рождающей хлеб, плавящей сталь, щедро раскрывающей умельцам свои недра.

Это и будет мужанием и творческой зрелостью одаренного молодого поэта.

Звезда. 1959. 30 авг.

Здесь же были помещены стихи: «Память», «Золотистые блики», «Первенец» и «Звездолюбы». После этой статьи В. Радкевича последовало несколько публикаций в пермской «Звезде», в альманахе «Прикамье» и в березниковских газетах. Одна из них — в «Березниковском рабочем»:

Начало поэтического творчества А. Решетова

В канун Нового года в Пермском книжном издательстве вышла книжка стихов Алексея Решетова, начальника смены солемельницы рудника.

А. Решетов писать начал в 1953 году, еще учась в горно-химическом техникуме. Стихи его печатались в газетах «Березниковский рабочий», «Молодая гвардия», «Звезда», в альманахе «Прикамье», а также в многотиражной и стенных газетах комбината.

Сборник стихов называется «Нежность». В нем 38 стихотворений. Легко и с интересом читаются стихи Решетова. Поэту свойственны раздумье, мечта; хорошо удаются романтические образы из партизанской жизни. Стихи «Хозяйка маков», «Звездолюбы», «Первенец» и другие свежи по впечатлениям, проникнуты лиричностью и тонким юмором.

Пожелаем поэту Алексею Решетову проявить дарование в новых стихах, посвященных нашей современности.

Сегодня печатаются стихи, взятые из сборника: «Речка», «Хозяйка маков», «Малина».

Николай Куштум

Опасные удачи

В уральской поэзии появился новый свежий голос. Я имею в виду первую книжку стихов молодого поэта Алексея Решетова, изданную недавно в Перми. («Нежность». Пермское книжное издательство. 1960 г.).

<...>

Сборник назван так не случайно. Большинство вошедших в него стихов посвящено родному уральскому краю, о котором Решетов пишет с юношеской нежностью и сыновней любовью, беспредельно влюбленный в его красоту. Вот несколько примеров.

Он был в глубине своей ласков и нежен
К упрямому люду, суровый Урал.
И нежность его не скудела с годами,
Росла и растет не по дням — по часам:
То вспыхнет цветами,
То вспыхнет огнями,
То песней-веснянкой звенит по лесам.
Урал...
По нему, запылясь и заснежась,
Пройди, и, как лучшую тайну тебе,
Откроет мой край
Неподкупную нежность —
Подснежники в чашах,
Улыбки в избе.
Подарит он рябь ручейкового смеха,
И синего дыма летучую прядь,
И сильно охрипшее к вечеру эхо,
Уставшее за день «ау» повторять.
«Мой край»

Конечно, это пока еще, я бы сказал, влюбленность чисто созерцательная, здесь нет большой мысли, нет полной совокупности всего того, за что мы любим Урал. Но в то же время эти строки подкупают нас своей лирической задушевностью. Прочитаешь такой запев и хочется дочитать книжку до конца, разбирает любопытство: а что еще нам покажет и о чем новом расскажет молодой поэт. И твои ожидания не будут обмануты.

Уже второе стихотворение «Земля» по идее и содержанию значительно глубже и совершеннее. Привожу его полностью, оно маленькое:

В ней золотые жилы не устали
Ждать, что за ними дерзкие придут.
В ней кости и зеленые медали
Солдат, которых девушки не ждут.
В ней все, в земле:
Начало радуг, хлеба,
Тонюсенькой черемухи, ручья.
И эту землю
На седьмое небо,
Живой и мертвый,
Не сменяю я.

Как будто здесь ничего особенного и нет, о том же самом уже не раз было написано. Но сказано-то это по-своему, свежим словом.

Самой сильной стороной стихов Алексея Решетова является их образная выразительность, живописность и мелодичность. Особенно это заметно там, где поэт любовно и задушевно описывает красоту и прелесть уральской природы.

Прочтите хотя бы вот эти, взятые из разных стихов, строки; думаю, что и вы согласитесь с моим выводом.

Вот и ручей запел под снегом тонко
О том, что зелень смотрится в него.

«Еще не знаешь...»

Знакомая запевочка слышна издалека,
Неведомая девочка идет от родника.
А ветер вьется около,
Горят цветы кругом.
В одном ведерке — облако
И солнышко — в другом.

«Встречная»

И над Камой, жарой опаленные,
Низко-низко склонились кусты.
Им бы сбросить рубашки зеленые
И поплыть, догоняя плоты.

«На траве золотистые блики...»

Примеров того, как тонко, образно и выразительно поэт раскрывает перед нами окружающий его мир чудесной природы, можно привести немало. Ограничусь только одним, последним, процитирую целиком коротенькое и, по-моему, великолепное стихотворение:

Все, зима,
Теперь не жди отсрочки:
Солнца луч подпишет приговор,
И тогда бабахнут кленов почки
По тебе, морозная, в упор.
Слышишь, раздвигается валежник?
Чуешь, встал, ко всякому готов,
Маленький, решительный подснежник —
Политрук травинок и цветов³.

Вот в стихах подобного плана поэт чаще всего и достигает наибольших удач, в них чувствуется зоркий глаз и тонкий вкус молодого художника.

И в то же время эти бесспорные удачи таят для поэта и серьезные опасности, если он вовремя не почувствует этого. Попробую на примерах объяснить, в чем я усмотрел такое противоречие.

³ Алексей очень стыдился этого своего стихотворения. Позже он не раз обращался к образу подснежника, стремился к лаконичности и облегченности его, стараясь избежать прежней выпренности. Особенно его коробили последние две строчки.

Я считаю, что молодому поэту, который так хорошо видит, чувствует и изображает мир природы, теперь в первую очередь следует пристально приглядеться к духовному миру людей труда, живущих вокруг и совершающих великие дела во славу коммунизма... (здесь и далее выделено мною. — Т. К.). Приглядеться, а затем упорно учиться изображать этот духовный мир так же тонко и глубоко, как он умеет изображать мир природы. Право же, наши замечательные умельцы и новаторы, маяки и разведчики будущего вполне этого заслуживают.

Но почему-то эти герои пока что в стихах Решетова прописаны как случайные и временные постояльцы. А ведь какие замечательные дела они творят! И долг каждого советского поэта отдать всю силу своего дарования изображению и показу этих творцов грядущего, это — столбовая дорога нашей поэзии. И в том, что Решетов пока еще не идет по этой дороге, и состоит самый главный недостаток его стихов. О других мелких и частных его просчетах и недостатках говорить, пожалуй, и не стоит, но об этом, самом главном, сказать следует непременно.

И в самом деле, разве может нас удовлетворить вот такое стихотворение:

Голубы подснежники проталин.
 Ни в одно цветенье, никогда
 Мимо этих мест не пролетали,
 Не будили бора поезда,
 В первый раз они в Москву приносят
 «А-гу-гу-у-у!», завернутое в дым.
 И шумят деревья под откосом:
 Шпалы, стрелки — это в новость им.
 С осторожным любопытством лоси
 Лижут рельс студеных ручейки.
 В первый раз в обходчицевы косы
 Здешние забрались ветерки.

«Новая дорога»

Слов нет, написано оно выразительно. Явственно, зримо видишь и проталинки, и дымки, и лосей, что лижут студеные рельсы, а вот бедной путевой обходчице, прямо скажем, не повезло: на ее долю достался лишь мимолетный взгляд поэта. Решетов может возразить нам, что он в этом стихотворении и не ставил перед собой заданий изобразить современника, он-де просто хотел сказать о том, что вот, мол, сквозь тайгу проложили железную дорогу.

Да в том-то и дело, в том-то и беда, что не ставил и не ставит!

<...>

Повторяю: А. Решетов пока идет не по главной магистральной дороге, а по таящей опасности окольной тропинке в сторону бездумного, созерцательного любования природой. Он, видимо, забывает о том, что человек — это хозяин природы, что именно она должна служить ему, а не наоборот. Словом, надо в эти чудесные леса, поля и долины прочно поселить человека и пусть он по-хозяйски преобразует природу.

Вот, мне кажется, та дорога, которую следовало бы выбрать Алексею Решетову.

Я вовсе не хочу сказать, что в его стихах люди совершенно не показаны, что все стихи, так сказать, безлюдны. Отнюдь нет, люди кое-где встречаются, хотя бы и мимоходом. Но это либо те, кто помнятся ему по годам детства и юности, либо солдаты отгремевшей великой войны, о чьих подвигах он знает лишь понаслышке.

Можно об этом писать? Конечно. Однако несомненно и другое. *Труженик, который строит сегодня величественное здание коммунизма — это главный герой наших стихов и поэм. И вот этот-то герой почему-то не попадает в поле зрения Алексея Решетова. И об этом ему следует серьезно поразмыслить.*

В заключение, так сказать, под занавес, хочу сказать одно, существенное, на мой взгляд, замечание.

Как-то так повелось у нас в критике и печати: если книжка получилась неудачной, то дружно ругают и ее автора, и редактора, а когда выходит хороший сборник, то о редакторе почему-то стыдливо умалчивают.

Считая это неправомерным и нарушая установившуюся традицию, хочу сказать, что редактор Пермского книжного издательства С. М. Гинц очень внимательно и бережно отредактировал сборник стихов Алексея Решетова и во многом помог ему порадовать читателей хорошими стихами.

И еще одно. Последние стихи А. Решетова, опубликованные в журнале «Урал», («Дворик», «Почтальон»), показывают, что я не ошибся в своих выводах: действительно, перед нами растущий, перспективный поэт с собственным и очень пристальным видением окружающего мира. Он еще молод и пока не очень крепко стоит на ногах, но у него все впереди. И я от сердца желаю ему доброго пути!

Урал. 1962. № 1

Юрий Белаш

Открытое письмо-рецензия

Город Березники Пермской области. Начальнику смены Калийного комбината А. Л. Решетову.

Дорогой Алексей!

Вы, возможно, удивитесь, каким образом я узнал о Ваших книжках — сборнике стихов «Белый лист» и повести «Зернышки спелых яблок», выпущенных довольно небольшим тиражом Пермским книжным издательством.

Все объясняется очень просто: один сотрудник нашего журнала был в командировке в Перми, там, в издательстве, ему сказали о Вас и презентовали Ваши первые книжки. В дороге он прочитал их, они понравились ему, и по приезду в Москву он попросил меня написать о них.

Книжки действительно читаются с интересом, сразу чувствуется — написаны они автором талантливым, не случайно взявшимся за перо...

...У Вас отличный изобразительный дар — это, пожалуй, можно сказать без преувеличения. Вы умеете в нескольких словах — точных, свежих, образных — передать впечатление, представление и в стихах, и в повести.

Вот, например, стихотворение «Снится сон слепому человеку». Эти «большие спелые глаза», которые во сне слепой «срывает, нагибая ветку», с деревьев и «вставляет их в глазницы», право слово, производят такое впечатление, что от неожиданности не знаешь, что и сказать: надо же было найти этот старинный, даже, казалось бы, нелепый образ, чтобы с такой выразительностью и внутренней силой передать всю трагедию тоскующего по свету человека!

А повесть, рассказывающая о военном трудном детстве двух братьев, Петьки и Ленки?.. Она тоже вся держится на удачно подобранных деталях — предметных, зримых и одновременно метко выражающих Ваше авторское отношение к рисуемому. А повариха тетя Оня — сварливая, толстая. «Подбородок у нее, как туго набитый кошелек...» Этот «кошелек» никогда не забудешь — и отличная портретная черта, и внутренний мир человека за ней виден!..

Молодая гвардия. 1965. № 2

Сергей Гравин

«Возьми немного света моего...»

О сборнике стихов Алексея Решетова «Белый лист»

«Белый лист» Алексея Решетова — совсем маленькая книжечка, но свет поэзии, излучаемый сборником стихов, нельзя измерить количеством страниц или размером переплета.

Эту книжку можно открыть на любой странице и почти всюду встретить прямой взгляд поэта-художника, увидевшего то, что прежде никто не замечал: небо, что опирается на дымок из русской печки, добрый прищур вод и слепого скрипача, который водит смычком по темной скрипке, как будто режет хлеб.

Художник этот порой не только удивительно зорек, как в общем-то и положено поэту. Во многих стихах он завладевает читательским настроением, потому что обоих — и читателя, и поэта — волнует одно и то же: чистота и хрупкость человеческих отношений, неприятие остановившейся жизни и хранимое нашими сердцами бессмертие безымянных создателей всего доброго, что есть на земле.

В лучших стихотворениях сборника и Решетов-художник, и Решетов-лирик подчиняются Решетову-мыслителю, для которого поэзия — не площадка для игры воображения или ритмических упражнений, а совершенно органичное средство познания жизни. Поэту часто удается увидеть ее всю сразу — так, что в частном, казалось бы, явлении отражается вся неисчерпаемая и сложная глубина мира.

Таковы стихи, где в немногих строчках очень тесно сосредоточиваются емкие, исполненные глубинного смысла образы — стихи о земле, где лежат кости и зеленые медали солдат и где берут начало ручьи и радуги, стихи о небе и такое стихотворение, как «Ищите без вести пропавших». Оно запоминается наизусть почти сразу, врезаюсь в сердце яростной убежденностью строк: «...ищите их по белу свету, ищите мертвых и живых, и если всюду скажут: “Нет!” — найдите их в себе самих».

Их много, хороших стихов. Необыкновенно глубокое «Убитым хочется дышать» и мастерское по живописи «Когда музеи закрывают». Грустный лирический цикл, где выделяются подлинным поэтическим блеском «Шахматы». И ряд отличных стихотворений о творчестве — о чистой крови, которой пишутся поэтические строки.

Все это разные стихи — разные образы, да и настроения неодинаковые. Но все они «на одном дыхании». Достаточно перечитать стихотворение о свете, разделенном с сердцем друга, как в детстве делились хлебом.

«Что у тебя на сердце? Уж не тьма ли? Возьми немного света моего!» — это лейтмотив всего сборника. Свет, тепло, человечность объединяют его, и условно обозначенные мною Решетов-художник, Решетов-лирик, Решетов-мыслитель тоже сливаются воедино — в поэте Решетове, без всяких скидок заслуживающем это звание. Автор «Белого листа» щедро отдает капли своего света читателю, отдает потому, что очень любит людей.

Широкие человеческие интересы поэта определяют разнообразный круг тем — и везде он находит что-то определенно свое, только ему ведомое и тут же спешит сообщить об этом читателю. И хотя в милом стихотворении «Стеклышки» Решетов прославляет «искры фантазерства», «стеклянное колдовство» — искусственно преображенную жизнь, — он прежде всего видит ее такой, какая она есть: с печальями, которые неизбежны, и радостями, которые случаются не каждый день.

Поэт может иногда сбиться на стершийся от частого употребления оборот (вроде — «студент дотошный»), изредка «прихрамывает» рифмой, способен неожиданно употребить книжное, совсем не радующее читателя сравнение (костер «на Отелло в ужасе похож»⁴). Однако чаще вдохновение его тесно спаяно с мастерством, и мы тогда читаем о том, как в Михайловском пушкинская тень пьет тенью кружки свою горькую участь — образ, которому позавидуют многие. Книга завершается призывом к творчеству, к свету жизни — «яркому, торжествующему, небывалому». И вспоминается, как несколько лет назад вышел первый сборник стихов Решетова «Нежность», и как единодушно писали тогда о негромком, нежном, теплом голосе поэта. Нежность к людям, теплота — все это осталось, но вот негромкий голос... Нет, он уже другой — окрепший, подчас

⁴ Алексей прислушался к критике, изменил слова в «Костре»: «И смерть его была, как роль живая, в которой умирает человек, багровую рубаху разрывая».

решительный, да и невозможно поэту тихо, полупшепотом говорить о сущности жизни.

И хотя в «Белом листе» нет пышных слов о гражданственности — она, гражданственность, тем не менее присутствует в очень многих строках, ярко проявляясь любовью к родной земле и озабоченностью за судьбы людей, на ней живущих.

Уже были названы лучшие стихи сборника, и жаль, что есть им уступающие. При всей цельности книги, при всей ее единой, глубоко индивидуальной авторской интонации определяется (и не так уж редко) и несколько другая направленность поэтического творчества Алексея Решетова — иная, чем та, что выражена в его коротких стихотворениях о смысле и назначении жизни.

Трудно считать творческими победами «Натурщицу», «Сентиментальную историю», «Ты такой несмышленной была». Стихи эти сохраняют искренность решетовского поэтического голоса, многие приметы его мастерства и, конечно же, человечность, но теряют глубину: мысль в них лежит на поверхности, она ординарна и не требовала, пожалуй, стольких строчек для доказательства. Путь поэтических сентенций, возможно, соблазнителен и, ступая по нему, можно какое-то время заслуживать похвалы, но свет поэзии в этом случае явно тускнеет, а главное — не носит с собой тепло. Для Решетова это не главный путь.

Хочется верить, что он его не изберет. Хочется верить и в то, что «Белый лист» далеко не последняя большая удача поэта, что и в дальнейшем своем творчестве, в новых книгах он подарит читателю еще больше уверенного света, тепла, человечности.

Звезда. 1965. 28 апр.

Борис Слуцкий

Алексей Решетов

В Перми вышла книга стихов А. Решетова «Белый лист». Имя Решетова известно в нашей стране, но в данном случае речь идет не о ленинградце Александре Решетове, а о пермяке Решетове Алексее, человеке, судя по стихам и приложенному к книге портрету, молодом.

Я сам уже пятый Слуцкий в русской поэзии и поэтому хорошо знаю, как тяжело пробиваться сквозь однофамильцев. Между тем пермский (г. Березники) Решетов Алексей Леонидович — настоящий поэт и заслуживает, чтобы его читали далеко за пределами его города.

Доказательство — стихи. Вот одно, неназванное:

Светолюбивы женщины. Они
Не могут пыль на стеклах окон видеть,
Им докучают пасмурные дни,

Их черным словом так легко обидеть.
И светonosны женщины. Нельзя
Представить даже, что на свете будет —
Исчезни вдруг их ясные глаза
И маленькие матовые груди.

Вот, кажется, тема — исписанная, исхоженная, выжатая до последней степени. И три звездочки над этим стихотворением, как три сосны, меж которыми не сыщешь новой тропы. Решетов же сыскал.

Я знаю об этом поэте ровно столько же, сколько любой другой читатель, впервые берущий в руки его книгу. То есть ничего. К книге приложен портрет — лицо с высоким лбом, внимательные серьезные глаза, втянутые худые щеки.

Книга знакомит не только с хорошим поэтом, но и с хорошим художником, Виталием Петровым, работающим в технике, напоминающей гравюры Стасиса Красаускаса, но куда менее обобщенной.

Книга совсем тоненькая — лист с четвертью, менее тысячи строк. Но, кажется, это — хорошее начало. Недаром она называется «Белый лист», а о белом листе Решетов пишет:

О белый лист, поэту ты претишь.
Так белый флаг немислим для солдата.

Юность. 1965. Авг.

Татьяна Макарова

Покорение белого листа

Мне не раз приходилось слышать несколько наивный вопрос: «А что это за поэт? О чем он пишет?» Случается, что на такой вопрос действительно можно ответить несколькими небогатыми словами, небольшим перечислением конкретных тем. Но тогда стоит ли говорить об этих стихах, об этом поэте? Ответ на вопрос, о чем пишет Алексей Решетов, не может быть простым и коротким. Или, наоборот, он может быть коротким и простым и столь же сложным и необъятным. Алексей Решетов пишет о мире, в котором он живет. О мире грустном и радостном, подчас несправедливом, но достойном самых глубоких раздумий и самых прекрасных песен.

Поэт ни на минуту не принимает позы всезнающего и поучающего. Наоборот, даже не пытается скрыть своего безграничного удивления перед многообразием мира.

Расширены глаза, как у детей.
Попробуй жить и не растратить крови,
Переживая тысячи смертей
И чьих-то несложившихся любовей...

Так пишет Решетов об участии поэта. Пожалуй, одной из самых привлекательных черт поэзии Алексея Решетова и является эта истинно детская открытость, непосредственность, простодушие, не допускающее и тени скепсиса.

Алексей Решетов не ищет новых тем. Он пишет о том, о чем писалось веками, — о любви счастливой и горестной, о войне, пронзившей его детство, о природе, о творчестве. И еще раз доказывает нам, что эти источники, питавшие столько поэтов, неисчерпаемы в своей новизне, если добыть из них по-настоящему прозрачную и свежую воду.

Алексей Решетов много пишет о войне, которая вошла в его судьбу в детстве и осталась в ней навсегда тяжелой и тревожной памятью.

Я помню:

с тихую улыбкой
Скрипач, что на войне ослеп,
Водил смычком над черной скрипкой,
Как будто резал черный хлеб.

Это стихотворение в одну строфу, лишённое открытых призывов и предостережений, становится значительнее и действеннее именно из-за своего горького лаконизма. Поэт убежден — для того, чтобы отстоять мир, завоеванный такой страшной ценой, вовсе не нужны рифмованные громкие лозунги. Достаточно того, что он видел эту беду, не забыл о ней и может не в общих словах и чертах, а при помощи зримых и тонких образов напомнить тем, кто не испытал, что такое война.

Вот, казалось бы, на первый взгляд, пейзажное стихотворение «Дворик»:

Мирный дворик.
Горький запах щепок.
Голуби воркуют без конца.
В ожерелье сереньких прищепок
Женщина спускается с крыльца.
Пронеслось на крыльях веретёшко,
Или непоседа-стрекоза.
Золотая заспанная кошка
Трет зеленоватые глаза.
У калитки — вся в цвету калина,
А под ней, не молод и не стар,
Сапогом, бывавшим у Берлина⁵,
Дядька раздувает самовар.

Почти ни слова здесь не сказано о войне, но точно найденные поэтом трогательные приметы мирной жизни — «ожерелье сереньких прищепок», «золотая заспанная кошка» — наполняют стихи ощущением удивительного покоя и ти-

⁵ Поздняя редакция: «Сапогом, прошедшим до Берлина».

шины. Становится страшно, что неторопливый быт этого дворика может быть непоправимо и жестоко нарушен. Умение поэта говорить о страшных вещах, о подлинном горе нешумно и неназойливо, с человеческой, мягкой, негромкой интонацией заставляет с двойным усердием прислушаться к его словам и сообщает им настоящую силу и значительность.

Трепетно и коленапреклоненно пишет поэт о женщине. О женщине-матери, о женщине-вдове, о женщине-труженице, о женщине-возлюбленной. К сожалению, порой эти стихи проникнуты излишней сентиментальностью и прямолинейностью. Так, в стихотворении о женщине, покинутой человеком, которого она доверчиво и самозабвенно полюбила, и ждущей от него ребенка, поэт пишет:

А теперь даже воздух, как яд,
И соседки, встречаясь, стыдят
И смеются: ну что, обожглась?
И беременность порчей зовут.

И дальше:

Ты не прячь и теперь своих глаз,
Нет, не прячь. Не порок, не вина,
Что ни девушка ты, ни жена.
Ты доверчивой просто была,
Ты не верить в людей не могла.
Ты с опаской любить не могла...

В подходе поэта к этой сложной и трагической теме хотелось бы видеть больше тонкости, и жаль, что в этом случае Решетов вопреки своему обыкновению не только не договорил, но даже «переговорил», прибегая к первым попавшимся, иногда даже не особенно поэтичным словам.

Но другими своими стихами поэт доказывает, что эта неудача случайна, что он умеет сказать о том же самом — о женской чистоте и незащищенности — строгими, легкими и прозрачными строками, исполненными тонкости и настоящего поэтического вкуса:

Светлолюбивы женщины. Они
Не могут пыль на стеклах окон видеть,
Им докучают пасмурные дни,
Их черным словом так легко обидеть.
И светonosны женщины. Нельзя
Представить даже, что за темень будет,
Исчезни вдруг их ясные глаза
И маленькие матовые груди.

Решетову очень хорошо удаются стихи о природе. Он пишет, что в разлуке с ней тоскует о ней, как об утраченной возлюбленной. Умение тосковать по природе, наделять ее щедрой и прекрасной душой, постоянно ощущать живую связь с ней позволяет поэту точно и ярко писать о ней:

Мороз. Сугробы под заборами.
Деревьям веточки светло.

И только в редких случаях, когда Решетов вдруг опять на минуту изменяет своей лаконичности, стихотворение становится хуже и беднее, чем могло получиться.

Вот одно стихотворение, которое, будь оно короче, было бы превосходным:

В небе пусто, в небе строго —
Ни просвета, ни луча.
Одинокий холмик стога
На отшибе заскучал:
Почитай до первопутка
Не видать людей ему.
Это пытка, а не шутка —
Остаться одному.

Здесь бы и остановиться, потому что уже все сказано, все ассоциации, которые хотел высказать поэт, возникли, но Решетов продолжает:

Хоть бы лось забрел в потемках,
Все бы легче. Где сейчас
Те мальчишка и девчонка,
Что бывали здесь не раз?
Вдруг не мил — подумать жутко —
Стал он ей, она ему...
Это пытка, а не шутка —
Остаться одному.

И эти две довольно легковесные строфы, раскрывающие все скобки и секреты, снижают значительность стихотворения, лишают его той серьезности и глубины, которые возникли в первой его половине.

Вообще, для Решетова это правило — он интереснее, тоньше и ярче там, где немногословен.

Можно было бы пожелать поэту больше поисков в области формы стиха, поскольку она подчас слишком традиционна. Но мне вспоминается здесь сказка Андерсена об искусственном соловье, подаренном императору. Этот соловей, изящный, законченный, украшенный дорогими камнями, показался всем на первый взгляд изысканнее и роскошнее живого соловья, скромного и неброского. Вся загвоздка была лишь в том, что искусственный соловей работал благодаря пружине, которая рано или поздно изнашивалась. А какой бы сложной и отшлифованной ни была его песня, она оставалась мертвой, не осененной биением сердца.

В наши дни умение писать стихи не составляет редкости. Появилось множество искусственных птиц, блистательных и современных, иногда на редкость правдоподобно имитирующих живой поэтический голос. Но от их песен веет холодом, и где-то за ними всегда ощутима пружина, которая рано или поздно отживет свой век, и предотвратить этого нельзя никаким чудом.

Алексей Решетов во многом еще несовершенно, но его строку движет не пружина, а живое горячее дыхание. Поэт наверняка придет еще к более современной, более отточенной и законченной форме стиха. Это вопрос труда и времени. Но то, чем уже сейчас владеет Решетов, не приобретается — это поэтическая доброта, щедрость, пристальность творческого взгляда.

В одном своем стихотворении Решетов пишет:

Мы в детстве были много откровенней:
— Что у тебя на завтрак?

— Ничего.

А у меня хлеб с маслом и вареньем.
Возьми немного хлеба моего...
Года прошли, и мы иными стали.
Теперь никто не спросит никого:
Что у тебя на сердце?

Уж не тьма ли?

Возьми немного света моего.

Он делится этим своим светом щедро и доверчиво, даже не спрашивая, нужен ли он. А он нужен, именно такой свет, исходящий от человека со сложной судьбой и горькими воспоминаниями, свет, добытый во тьме.

<...>

Урал. 1966. № 5.

Борис Марьев

Время и личность поэта

<...> Конкретность идеалов поэта предполагает знание жизни в подробностях, умение «за каждой мелочью революцию мировую найти», умение в любом будничном факте найти аспект своей личной темы.

Вот, например, миниатюра Алексея Решетова из Березников:

Кофточка застенчивого цвета,
Под косынкой золотая рожь,
Женщина, тиха, как бабье лето,
Протянула запотевший ковш.
Ничего она мне не сказала,
Просто поспешила напоить...
Петь устала, говорить устала,
Только нежной не устала быть.

Предмет непосредственного изображения здесь, как и во многих других стихах Решетова, подчеркнуто сужен, но это ничего общего не имеет с бескрылым натурализмом. Точность деталей, верность психологической характеристики,

Глубины и плесы⁷

<...> Не помню, кто ловко перефразировал: «Мелких тем на свете не бывает, мелкими бывают только души». Что правда, то правда. Поэт дорог читателю всем богатством своих — даже самых интимных — проявлений, и никому не придет в голову упрекать автора строк «Ночевала тучка золотая» в мелкотемье. Тема — это общественный конфликт, пережитый автором как его личный конфликт, или, напротив, личный, но возведенный им до уровня общественного. Вот именно — ВОЗВЕДЕННЫЙ!

Иногда хватает несколько строк, чтобы тема была «заострена» до такого всеобщего уровня. Да вот хотя бы миниатюра Алексея Решетова из рассматриваемого сборника:

Пора замаливать стихи,
 Стихи замаливать пора мне,
 Встав за кузнечные мехи
 Или обтесывая камни.
 Откуда знать, в конце концов,
 Быть может, я ценою муки
 И отыскал свое лицо,
 Но потерял при этом руки.

Удивительна смысловая емкость подлинной поэзии! Восемь выстраданных строк — и мы вошли в конфликтную ситуацию, которая, пожалуй, будет решена только в бесклассовом обществе. Кто из «интеллектуалов» не переживал этой тоски по действию? Да, конечно, овладевая массами, твоя идея становится материальной силой, но от этого не легче, когда видишь, что сверстники предметно строят будущее из стали и бетона. Первый решающий признак таланта и состоит, по-моему, в такой своевременности и глубине разработки темы. И пусть интонационно голос Решетова не громок — он не кричит, он размышляет вслух, — но Решетов «громок» мыслью, «громок» образом, и каждый ли поэт решится, например, на такую дерзкую метафору:

...Чтобы ты на плечо мне взбежала
 И, полна ослепительных дум,
 У соленого глаза лежала
 И волос моих слушала шум.

Урал. 1968. № 4

⁷ Материал о вышедшем очередном номере пермского журнала «Современники».

Галина Белая

Современно? Давайте подумаем...⁸

<...> Конечно не следует, не надо «сталкивать лбами», как говорят, разных поэтов... Но коль сборник где-то предполагает и дает возможность для спора с поэтами — не с ними, а за них, — нельзя не сказать о том, на кого могут ориентироваться поэты, работающие рядом друг с другом... Стихотворение Алексея Решетова отмечено простотой, скромностью художественных средств, оно строго, лаконично и — убедительно:

...Я жил далеко на Урале,
В почти недоступной дали.
То льдины у ног проплывали,
То сено на лодках везли.
То словно разрытая яма,
То будто поверхность стекла,
То злая, то добрая Кама —
Как совесть людская была...
Я плыл в сентябре на пароме,
Открытом, без теплых кабин,
И все человечьи пороки
Казались мне пеной глубин.

Энергичная философская мысль, которой кончается стихотворение, похожа на внезапно раскрутившуюся пружину, но внутренняя динамика была заложена в скрытой форме — во всем стихотворении в целом, и ощущается она нами именно потому, что описание Урала, то злой, то доброй Камы — не самодовлеюще, оно сориентировано на те последние ударные строки, которые еще Маяковский считал самыми главными в выявлении смысла поэтического произведения...

Молодая гвардия. 1972. 3 сент.

⁸ Об очередном выпуске сборника «Молодой человек» (сост.: Л. Давыдычев, И. Лепин). Г. Белая — научный сотрудник Института мировой литературы им. Горького АН СССР, кандидат филологических наук.

Леонид Королев

«Когда строку диктует чувство...»

О книге стихотворений Алексея Решетова «Рябиновый сад»

Первая книга поэта «Белый лист», изданная, быстро разошедшаяся и по этой причине переизданная Пермским книжным издательством, теперь стала чуть ли не библиографической редкостью. Проникновенность решетовской интонации, глубокая человечность, ювелирная работа над словом — вот качества, обеспечившие особое, любовное отношение читателя к стихотворениям поэта.

За то время, которое работает в поэзии Алексей Решетов, издавались и очень талантливые книги. Но и на избранном фоне праздничные, как первый снег, неожиданные, как первый молодой лед на реке, за которым загадочная глубина, — решетовские стихи волнуют, тревожат, а порой и просто ошеломляют!

Перечитывая время от времени Решетова, первую книгу его закрываешь с неизменно благодарным чувством.

Нет, ты любовью не зови
То, что на самом деле было
Простым предчувствием любви:
Не замело, не ослепило.
Ведь на пустой осенний берег
И воду черную у берега
Сначала падает не снег,
А только слабый запах снега...

Вот и в этом стихотворении предчувствие разительной перемены в природе, в мире чувств передано мастерски, прямо-таки с буквальной точностью. Кажется в воздухе стихотворения кружатся первые снежинки. Стихотворение уходит в природу, продолжается в ней.

Решетов — поэт-художник. Он любит натуру именно как живописец. Женщина и природа сливаются у него:

...И внимать земле и небосводу,
И, вернувшись в хмурое жилье,
Потерять, как женщину, природу,
Мучиться и сохнуть без нее.

Без этих кратких остановок на главном в поэтическом творчестве Решетова нельзя начать разговор о новой книге поэта. В ней тридцать новых стихотворений, не входящих в сборник «Белый лист». И все они высокогражданского звучания.

Лучшие новые страницы сборника оставляют не просто впечатление чтения хороших стихов, но как бы праздника общения с самим поэтом.

У Решетова свой голос в поэзии, и в этой книге он, кажется, реже прибегает к искусству — поет, как говорят, душой. Это, конечно, книга о Родине, о любви, о

самом главном в жизни человека. Казалось бы, бесконечно далеко от этой темы стихотворение о гадалке. Но вчитаемся:

Цыганка на «Перми-второй»
Легко руки моей касалась
И милой старшею сестрой,
А не гадалкой мне казалась.
Она бессовестно врала,
Но так в глаза мои глядела
И так ладонь мою брала,
Что счастьем не было предела.

Обычное будничное начало стихотворения неожиданно приобретает пронзительное звучание. Наигорчайший упрек, мудрое увещание, обличение и любовь — все в этих счастливо поставленных рядом словах, в этой интонации. Не будет предела счастью, если не лгать, не кривить душой.

Верный «последней и пожизненной любви» и женщине поэт поет не только ее торжествующую молодость. Вот она уже совсем стара, совсем слаба — еле-еле, чистая душа, ходит по грибы.

...И видел я, как на ее поминках
Из глаз соседей дождик шел грибной...

Стихотворения «Березы», «Рябиновый сад», «Как жили женщины а бараке»... Чистый и высокий образ женщины, матери вызывает просветление души, заставляет нас напряженно думать о смысле жизни, о ее красоте, сливается с темой Родины.

Не искал, где живется получше,
Не молился чужим парусам:
За морями телушка — полушка,
Да невесело русским глазам.
Может быть, и в живых я остался
И беда не накрыла волной
Оттого, что упрямо хватался
За соломинку с крыши родной.

В стихотворениях «Горите, флаги красные, горите!», «Ходули» все выверено сердцем, все честно, нет никаких «турусов и колес». Мальчишка идет на ходулях и вдруг — навстречу калека:

...И безногий инвалид,
Проезжая на коляске, —
«Ай да парень!» — говорит.
И не думал я хвалиться
Преимуществом своим,
И охота провалиться
Мне сквозь землю перед ним...

Верно послужить Родине «и непослушною киркой, и безыскусною строкой...», не считать пережитых в жизни обид: мать не обижает... К этому благородному и высшему счету приходит поэт, объясняясь в любви ко всем просторам жизни на родной земле, где

Какой-то гордости особой
Полно любое деревцо,
И у озер в лесных трущобах
Не перекошено лицо.

Борис Пастернак говорил:

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцены шлет раба.
И тут кончается искусство,
И дышит почва и судьба.

Этим бы и хотелось закончить отклик на «Рябиновый сад» Алексея Решетова, добавив, что настоящие стихи не нуждаются в объяснениях. Чтение их — это прямой разговор на языке поэзии даже как бы и без посредства печатного слова... Чем больше искусство, тем меньше нужда в посредниках. Поэт сделал все от себя зависящее, чтобы такой прямой разговор состоялся.

Молодая гвардия. 1975. 21 нояб.

Юрий Никишов

Приникая к матери-земле

В издательстве «Современник» вышла книга Алексея Решетова «Рябиновый сад». Наконец-то талантливый поэт идет к всесоюзному читателю. Первая московская книга создана на базе «Белого листа» (1968, Пермь) и обогащена новыми стихами.

Предмет лирики Алексея Решетова и широк и узок одновременно. Узок — потому что поэт сохраняет верность главной избранной теме, широк — потому что поэт весьма разнообразен в оттенках этой темы.

Решетов, в отличие от многих современников, не слишком часто обращается к воспоминаниям детства. В тех же случаях, когда он все же затрагивает этот мотив, мы четко ощущаем двойной взгляд поэта: строго исторично и точно передается колорит времени (трудные годы войны); в то же время стихи не просто летопись, в них всегда ощущается какая-то творческая задача, стремление поставить какую-то важную (сейчас важную) проблему. Вот хотя бы стихотворение «Горите, флаги красные, горите!..». Оно наиболее полно повернуто в воспоминания детства. А все-таки возьмем концовку:

И умещались двести хлебных граммов
На сводке с фронта в двадцать строгих строк.
И первоклассник худенький упрямо
— Мы не рабы! — заучивал урок.

Здесь и та точность, о которой я упоминал, но и сверх того: истоки мужественного характера, который, в сложившемся виде, будем встречать в других стихотворениях сборника. Так же и в стихотворении «Как жили женщины в бараке...» мы видим и колоритные зарисовки совершенно конкретного быта, и опять-таки истоки особого, возвышенного отношения к женщине, которое развивается и в других стихотворениях.

Или, обращаясь к трудовой теме («Точильщик», «Я верил в розовые сказки...»), «Принимай работягу, работа...»), Решетов разрабатывает грань восхищенного отношения к мастерству, уважительного отношения к человеку труда.

Но решетовские стихотворения трудно разносить по тематическим рубрикам, потому что сразу же обнаруживается условность этих рубрик. Вот, к примеру, стихотворение «Березы»:

Как стойко держались березы
В суровые дни в январе.
А нынче весенние слезы
Бегут и бегут по коре.
Так женщины наши в груди
Тревоги и горести прячут.
А если и плачут, то плачут,
Когда уже все позади.

Стихотворение развертывается по принципу параллелизма, следовательно, оно о природе и о женщинах, но специально ни о природе, ни о женщинах: поэтическая мысль объемлет целое. В конечном счете стихотворение утверждает нравственную стойкость человека, который черпает свою мудрость у природы.

Тема природы и человека, пожалуй, и становится стержнем новой книги Алексея Решетова: этот цикл наиболее обширен и разнообразен.

Отношения к природе у поэта такое же возвышенное и благодарное, как к доброму человеку:

Спешу к земле, как к матери родной,
От всех своих досад и треволнений.

Природа воспринимается одухотворенной, она — друг, притом самый верный и наиболее постоянный.

Какой-то гордости особой
Полно любое деревцо,
И у озер в лесных тущобах
Не перекошено лицо.

Природа объявляется изначальной и конечной духовной ценностью:

В ней все, в земле:
 начало радуг,
 хлеба,
Тонюсенькой черемухи,
 ручья...
И эту землю
 на седьмое небо,
Живой и мертвый,
 не сменяю я.

У Решетова фактически нет «чистых» пейзажей, изображения природы как таковой: обращение к природе — повод для раздумья, для изображения человеческого состояния. Правда, встречается у него и обратное противопоставление духовно богатой жизни человека «равнодушной» жизни природы. В заглавном стихотворении сборника «Рябиновый сад» поэт вспоминает завет матери: «...Жизнь и с горчинкою — ярче, чем ягоды в этом саду».

Решетов не изображает конфликтных отношений человека с природой. Особенно вот это стихотворение:

Древо спилили — и все пригодилось
Людам.
Береста пошла на лукошки,
Ветки — на веники, ствол — на корытца.
Даже опилкам нашлось примененье...
Ими, опилками, туго набили
Чучело птицы, певавшей на древе.

Нехарактерный для Решетова белый стих с заземленной бытовой интонацией поначалу, казалось бы, просто соответствует описываемым будничным деталям: итоговое трехстишие дает новый, трагический поворот темы... Но, повторяю, это редкий мотив; в принципе же природа и человек в лирике Решетова предстают в единстве; вечные и мудрые законы природы помогают поэту выдвигать нравственные критерии.

Вспоминается напутствие С. Маршака:

Стихи живые сами говорят,
И не о чем-то говорят, а что-то.

Что же говорят читателю стихи Алексея Решетова?

Ответ найти нетрудно — авторская позиция выражена прямо, открыто. Пишет ли Решетов о природе или о любви, создает ли образы современников или рассуждает о Родине, никогда он не сводит свою задачу к констатации факта, к фактографии. Конкретные детали действительности, всегда подмеченные зорким и именно поэтическим глазом, становятся толчком для размышлений, обретающих философскую глубину. Передавая бесконечные оттенки человечес-

кого состояния — и гармонию общения с природой, и радость труда, и восторг перед красотой обнаженной женщины, и трагическую боль одиночества, — Решетов ратует за богатство самой человеческой личности. При этом в стихах возникает атмосфера исключительно высокой моральной требовательности. Поэт ощущает себя приговоренным «к последней и пожизненной любви». Выделяя март, месяц перемен и потрясений, поэт славит мятущийся мир и жаждет двенадцати мартов в году. Поэт принимает жизнь высокого напряжения и самоотдачи:

Свет звезды, которой закатиться,
Ярок, торжествующ, небывал.
Белый лебедь, прежде чем разбиться,
Так поет, как сроду не певал.
Что короче нашей жизни дивной?
Этим чувством нам и надо жить,
Чтобы стало песней лебединой
Все, что мы успеем совершить.

Это стихотворение подтверждает суждение, что поэт черпает мудрость жизни у самой природы. Но Решетов умеет подкрепить эту позицию четкими социальными критериями. Он заимствует мудрость жизни и у скромной крестьянской женщины, которая «петь устала, говорить устала, только нежной не устала быть». Он будет помнить нравственный урок духовной щедрости безногого инвалида («Ходули»).

Так складывается целостная программа жизненного максимализма:

Отец мой стал полярною землей,
Одной из многих, золотой крупинкой.
А я хотел бы, в мир уйдя иной,
Вернуться к вам зеленою осинкой.
Пусть в гости к ней приходят грибники,
И целый день звенит в листве пичуга,
А эти вот надежные сучки —
Для тех, кто предал правду или друга.

И вот такая ясность жизненной позиции, осознание права на содержательный разговор с читателями служат добротным средством преодоления некоторой камерности решетовской поэзии, если вдуматься, человек, природа, любовь, искусство издавна представляли предмет философской лирики, ибо вели к осмыслению важнейших мировоззренческих вопросов о сущности человека, о целях его жизни, о взаимосвязи с миром. Темы эти традиционны для поэзии, «вечны», и тем больше чести художнику, способному проявить самостоятельность и оригинальность, способному быть современным в их трактовке. Все-таки приходится сожалеть, что из московского сборника почти полностью выпал интересный цикл стихов о поэзии и искусстве. Эти стихи развертывали программу высокого, подчеркнуто гражданского искусства.

Служение искусству в стихах Решетова представало делом возвышенным и благородным, в высшей степени самоотверженным. Художнику дан дар оценить «прообраз чуда», который «не оцениваем мы». «Правда — моя королева. Я ее верный солдат!» — рефреном повторял Решетов в стихотворении «Нету милее напева...». Поэт славил художника, который «не писал своих героев, а впалой грудью защищал» («Автопортрет»). Воссоздавалась атмосфера повышенной строгости и требовательности к людскому словотворчеству («Волчица», «В заповеднике лани...», «Как будто бы еретики...»). Поэт сжигает себя, «переживая тысячи смертей и чьих-то несложившихся любовей» («Поэты»). И постоянно в сознании Решетова возникает пушкинский образ — как высший идеал поэта и как живая традиция.

Решетов — мастер лирической миниатюры. Он густо пишет, а происходит это благодаря тому, что весьма выразительны образы его стихотворений, и сила их умножается посредством взаимодействия и четкой композиционной связи.

<...>

Художественная мысль А. Решетова прозрачна, она не маскирует свою структуру, стремится к наиболее полному и точному выражению содержания.

Вот стихотворение, которое уместилось в единственное четверостишие:

Я помню:
 с тихой улыбкой
 Скрипач, что на войне ослеп,
 Водил смычком над темной скрипкой,
 Как будто резал черный хлеб.

Что же такое перед нами? Незамысловатая зарисовка с натуры? Нет, не зарисовка, а образ, образ-картина. Зарисовка — механическое фиксирование фактов действительности. В образе — высокая эмоциональная насыщенность, камертон души поэта, властвующий над настроением читателя.

Начало стихотворения очень точно: «Я помню...». Не «Я вижу» или в прошлом — «Я видел...», но именно — «помню». Ибо здесь речь об инвалиде войны и впечатлении первых послевоенных лет, о событии давнем. Непосредственный зрительный образ недолговечен — «память сердца» пронесит неизгладимое впечатление через годы.

И я вспоминаю собственное военное деревенское детство и испеченный без форм круглый подовый хлеб, который полагалось резать старшему, и его резал дедушка, резал истово, не на столе, а на весу, прижимая буханку к груди (и я ценю чисто зрительную точность решетовского сравнения).

<...>

И все-таки восприятие стихов вовсе не сводится к своеобразному обмену жизненным опытом между поэтом и читателем, хотя сличение опыта возможно, а может быть, даже неизбежно. Для возникновения в читателе ответных эмоций, предпосылки для внутреннего диалога между поэтом и читателем совершенно

необходим, еще раз подчеркиваю, высокий эмоциональный накал стихотворения, создаваемый ресурсами самой поэтической речи.

В стихотворении Решетова опорой служат эпитеты, одинаково вынесенные в конец строк, к рифмующимся словам: тихая улыбка — темная скрипка — черный хлеб.

Тихая улыбка — начало ряда. В полном объеме смысл эпитета проясняется и уточняется в контексте, а для начала он важен добротой чувства, которое заложено в нем. Темная скрипка — прежде всего конкретно: та скрипка, вероятно, видала виды, ее дерево чернено временем. Кроме того, этот эпитет — и связующий элемент: с первым эпитетом его роднит звуковая ритмическая организация (тихая — темная), с последним — смысл (обозначение цвета). Наконец — черный хлеб. Легко и непринужденно слово расширяет свой первоначальный смысл, вбирая метафорические оттенки. Может быть, черный — потому что трудный. А может, без метафор, конкретно: в голодные первые послевоенные годы в хлеб мало ли что подмешивалось. И не связан ли этот эпитет с судьбой героя, слепого скрипача, для которого не только хлеб, а весь мир — черный?

Замечая сложное взаимодействие опорных слов, мы вдруг обнаруживаем, что и все содержание стихотворения открывает нам новые и новые грани. Что же встает за незатейливой, бытовой — на поверхностный взгляд — зарисовкой? Это стихи о нравственной стойкости человека, искалеченного войной, положившего на алтарь общей победы самое ценное богатство — здоровье, но не сломленного и сохранившего доброту души. А может быть, это стихи не столько о человеке, сколько шире — об искусстве, которое само по себе раскрывает прекрасное в человеке и которое нужно людям, как трудный хлеб...

Я решительно ничего не знаю о замысле автора, о чувствах самого поэта. Передо мной только текст стихотворения. И удивительно, этот текст воспринимается по-разному в зависимости от того, где, на чем ставится акцент. Впрочем, ничего странного в этом нет. Стихотворение может быть емким и неоднозначным в восприятии, но для этого оно должно содержать в самом себе и сгусток эмоциональной энергии, и способ передачи ее читателю — «лабиринт сцепления», по определению Л. Толстого.

В коротком стихотворении «Сны» мастерство на том высоком уровне, когда оно незаметно.

И во сне покой неведом людям:
 Кто во сне рубашку мужу шьет,
 Кто девчонку горько-горько любит,
 Кто сплеча по наковальне бьет.
 То летают люди, будто птицы,
 То бредут на дальние огни...
 И ни разу людям не приснится,
 Что ничем не заняты они...

Стихотворение едва ли не нарочито освобождено от наиболее ходовых художественных средств: ни одной метафоры, единственный, как бы случайный эпи-

тет (дальние огни), одно единственное сравнение (будто птицы) — оголенная, бытовая речь... Но это лишь на первый, невнимательный взгляд.

Художественно выразительна кольцевая композиция стихотворения: первая строка и две последние — логически четкая «лобовая мысль стихотворения (ее художественная сила — в афористической энергии рассуждения), а между началом и концовкой — примеры, пояснения, доказательства главного утверждения.

Упруг лаконизм первой строки: «И во сне покой неведом людям...» В одной только буковке союза «и» сжато целое содержание. Союз отсекает, отменяет, делает ненужной строфу или даже целую часть стихотворения примерно такого содержания: «Наяву покой неведом людям», — которая бы пошла в параллель тому, что мы читаем здесь.

Далее идут примеры в доказательство высказанной мысли. Они конкретны и предметны: рассуждение переходит в образ-картину. Примеры-строки вроде бы случайны, субъективны, необязательны, но тем самым они убедительны: универсальную истину подтверждает любой пример. Несмотря на предметность и картинность изображения, поэтическая речь этой части стихотворения сохраняет и форму логически четкой организации благодаря анафоре (единоначатию строк). Начало второй строфы продолжает и серию примеров, и структуру анафоры, но многое меняет. Обновляется анафора. Прежде повторялся союз «кто». Оставить его было нельзя: иначе создавалось бы ненужное ощущение, что люди видят сны разные, но каждый один свой особенный. Введением союза чередования «то» поэт достигает и полноты, и точности картины. И еще существенная разница: сначала примеры снов рассказаны «прозаичнее», а потом — «поэтичнее» (именно сюда включаются и сравнение и эпитет). В этом проявляются и такт, и чувство меры, забота о разнообразии поэтических интонаций и нежелание повторений.

И даже там, где мысль выражена в логической форме, она не перестает быть поэтически оформленной. Сошлюсь хотя бы на виртуозную аллитерационную инструментовку на «н» в сочетании с причудливой игрой гласных в последней строке: «Что ничем не заняты они...» (ни — не — ня — ни).

Лежащее в основе стихотворения рассуждение пленяет и новизной, и силой.

Наши буржуазные идеологические противники спекулируют на фрейдистских теориях подсознательного, пытаясь доказать порочность природы человека. Советский поэт, обращаясь к проявлениям бессознательного, утверждает трудовую, добрую природу человека.

Читаешь это и подобные стихотворения и удивляешься. Наблюдения и рассуждения поэта настолько просты, даже, казалось бы, очевидны — почему же ты сам никогда так не думал, так предметы не видел? А все потому, что легкость и очевидность поэтических открытий — кажущаяся. Поэтическое видение — особый дар. Поэт острее других воспринимает мир, на то он и поэт, только потому и поэт.

Для поэтических раздумий Алексея Решетова весьма характерны книжные по своему характеру ассоциации и образы. Эта особенность авторского мышления

отталкивается от признания огромной ценности художественной культуры человечества. Признаваясь во всепоглощающей любви к Родине, поэт утверждает:

Без белых рощ, без пушкинской строки
Я не жилец, я сгину от тоски...

Белые рощи — «натура», пушкинские строки — духовная культура здесь уравниваются в значении, они равноправны как символы Родины. Потому-то совершенно непринужденно «натурные» образы переходят в «книжные», и наоборот. Впрочем, «книжные» — для Решетова слишком узко. Он обращается и к театральным, и особенно часто живописным ассоциациям, вообще ко всей человеческой духовной культуре. Таежный костер в его стихотворении не устает перевоплощаться, «как истинно талантливый актер», а умирает, как человек, «багровую рубаху разрывая». Короткая и работающая осень ассоциируется в сознании поэта с Золушкой. Темпераментное стихотворение «Шахматы» отнюдь не о шахматах: через посредство шахматных терминов и понятий этой игры выражается подлинно человеческая мечта о надежном и самоотверженном друге. Натурная пейзажная зарисовка поздней осени в стихотворении «От кирпичного завода...» кончается неожиданно:

И вздыхаешь, как виновник,
Будто мог, да не помог.
Будто эта холодина,
Эта дрожь листвы рябой,
Эта грустная картина —
Нарисована тобой.

Собственно, дело здесь в том, что реальный пейзаж воспринимается человеком страстно, предельно заинтересованно. Вот откуда возникает очень естественно, при внешней неожиданности, чувство личной ответственности за состояние, за «настроение» природы; человек, «просто» воспринимающий пейзаж, приравнен художнику-творцу.

Хочется привести одно стихотворение такого типа полностью:

Когда музеи закрывают,
Когда за окнами темно,
Портреты тотчас оживают
И с натюрмортов пьют вино.
На берегах пейзажных речек,
Где над кострами вьется дым,
Портреты-женщины лепечут,
Мужчины плечи гладят им.
И любо им пожить, как людям,
О том, что на сердце, сказать,
Заплакать, если больно будет,
Смеяться...

в рамки не влезать.

В этом удивительном стихотворении мне представляется неорганичным одно слово: с «медленным» глаголом «закрывают» в первой строфе не сочетается энергичное «тотчас». Но это замечание между прочим. А стихотворение в самом деле удивительное. О чем оно? Конечно же, не о фантастическом происшествии в музее. Конечно же, о живых людях, о жажде естественности в человеческих отношениях. Наверное, об этом можно было бы сказать «открытым текстом». Но ведь отлично достигает цели и эта фантастическая картина, эта простодушно наивная и одновременно лукавая интонация. С большим тактом создается словесная вязь текста. Вначале идут прямые имена понятий, заимствованных у живописцев: *портреты, с натюрмортов*. Оживающая живопись и сами имена смягчает, прячет в словообразовательные формы: *пейзажных речек, портреты-женщины*. Поэт и не злоупотребляет количеством таких слов. Наконец, взрыв последней строки: *в рамки не влезать*. В строгом смысле, надо было бы сказать: «в рамы». Но сказано абсолютно точно: именно в рамки, а не в рамы. Именно эта рассчитанная обмолвка и обнажает авторскую игру: да, речь идет не о происшествии в музеях, а о человеческих отношениях. Это человеческие отношения могут замыкаться в рамки-условности, приличия, официальности и т. п., а поэт ратует за истинную духовность, естественность этих отношений.

<...>

Решетов остается оригинальным даже тогда, когда обращается к темам и мотивам в известной степени традиционным. Такова, например, патриотическая тема с чрезвычайно популярным использованием мотива перелетных птиц. Стихотворение «Эти тихие речки под тонкой слюдой...» Решетов заканчивает довольно-таки обычным, традиционным противопоставлением:

Я не птица, мой край,
я тебя не покину,
Я в России живу
не на птичьих правах.

Впрочем, характерная решетовская экспрессия проявляется и здесь — в индивидуальной конкретизации общественного смысла поговорки («на птичьих правах»). Однако если довольно обыкновенна концовка, то путь к ней сугубо индивидуален. Поэт отталкивается от конкретных наблюдений и впечатлений, создавая образы поразительной силы. Вот одна деталь, на выбор:

Этот стог на лугу — как с нехитрой едою
Чугунок на шершавом крестьянском столе...

Неожиданная и вместе с тем абсолютная точность сравнения замечательна сама по себе, но образ еще глубже: он устанавливает единство труда и быта человека, а через это ведет еще дальше — к ощущению единства природы и человека, человека и Родины. Так конкретный, притом сильный образ работает на основную мысль стихотворения, и потому не важно, что основная мысль выраже-

на довольно стереотипно; может быть, в этом тоже заключен смысл, ибо итоговая мысль действительно всеобща и универсальна — она и формируется «похоже», «как у других», зато мотивируется сугубо индивидуально.

Еще одно патриотическое по содержанию стихотворение. Опять здесь индивидуальное настроение пробивается через вариацию универсально-общей словесной формы, в данном случае еще более широкой: не через разработку традиционных поэтических мотивов, а через использование пословичных оборотов:

Не искал, где живется получше,
 Не молился чужим парусам:
 За морями телушка — полушка,
 Да невесело русским глазам.
 Может быть, и в живых я остался
 И беда не накрыла волной
 Оттого, что упрямо хватался
 За соломинку с крыши родной.

Пословицы — опора обоих четверостиший стихотворения. Народная мудрость, заключенная в пословицах, здесь не консервируется, не оберегается с музейной почтительностью. Пословицы здесь — и не цитаты вовсе, они приводятся не в своем первоизданном и полном виде, они обрываются, приспособляются к авторскому заданию. В первом случае Решетов сохраняет лишь первую часть пословицы («За морем телушка — полушка, да дорог перевоз»), а вторую отбрасывает, заменяя своей мыслью, и существенно меняет общий смысл. Во втором случае опять берется лишь основа. Соломинка, за которую по пословице, хватается утопающий, — опора ненадежная. У Решетова не просто соломинка, она индивидуальна — с крыши родной, и это обстоятельство меняет ситуацию: опора становится абсолютно надежной («беда не накрыла волной»; кстати, «волной» — точная и логичная разработка пословичного мотива об утопающем).

Вновь мы видим: поэт не чурается сказанного до него (в данном случае — народом), но находит свой поворот темы, сохраняет индивидуальную авторскую позицию.

А теперь рассудим: если поэт ведет с нами весьма содержательный разговор о самом важном — о смысле жизни и взаимодействии человека с миром, если он благоговеет перед искусством и требователен к себе как к художнику и человеку, если его авторская позиция активна и благородна, если стихи изящны по форме — следовательно, перед нами истинный поэт. Скромная по объему книжечка Алексея Решетова представляет собой весомый вклад в современную лирику.

Урал. 1976. № 8 [Страницы литературного критика]

Пушкина, Тютчева или Некрасова, но и, скажем, в стихах Дениса Давыдова, Аполлона Григорьева, Полонского, а если перешагнуть в 20 век — Есенина...

В последние годы об этом не раз так или иначе говорилось и в критических статьях, и даже в стихах. Мне уже приходилось цитировать (см. «Литературную учебу», № 1, 1978) выразительные строки воронежской поэтессы Галины Умывакиной, которая скорбит о том, что «от сердца к сердцу безыскусно не скажем слова мы», — а ведь «так не говорят для брата, любимым так не говорят», — и как бы закликает поэзию пушкинской строкой: «Мой первый друг, мой друг бесценный...» — «Да сможет вымолвить язык».

Нельзя не сказать о том, что поэзия ни в коей мере не должна и не может целиком идти по этому пути. Пушкин создал не только проникновенные послания, но и такие титанические вещи, как «Пророк», «Анчар», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».

И все же в поэзии необходим голос, отмеченный прямой, сердечной непосредственностью. И это очень нелегкий путь: тот, кто им следует, постоянно рискует «сорваться» либо в будничность личного дневника, либо в сентиментальное исповедание. Стихи, создаваемые на этом пути, только лишь производят ощущение «безыскусности»; на самом же деле они чаще всего основаны на заведомо поэтическом, образном мышлении (иначе они как раз и срываются в прозу или сентиментальность). Но это должно быть органическое, самородное образное мышление, близкое к тому, которое воплотилось в народных пословицах и поговорках.

Вот три предельно кратких (и потому требующих пристального вчувствования) стихотворения.

О детстве:

Я был пацаном голопятым,
Но память навек сберегла,
Какая у нас в сорок пятом
Большая Победа была.
Какие стояли денечки,
Когда без вина веселя,
Пластинкой о синем платочке
Вращалась родная земля.

О любви:

Нет, ты любовью не зови
То, что на самом деле было
Простым предчувствием любви:
Не замело, не ослепило.
Ведь на пустой осенний брег
И воду черную у берега
Сначала падает не снег,
А только слабый запах снега.

Лежу на больничной постели,
Мне снится рябиновый сад.
Листочки уже облетели,
А красные гроздья — висят.
И мать говорит мне:

«Мой мальчик,
Ты помни, когда я уйду,
Что жизнь наша горче и ярче,
Чем ягоды в этом саду».

Такие простые стихи не даются запросто. За них нужно дорого заплатить — заплатить неукоснительной верностью правде поэзии и правде самой жизни. Поэт сам рассказал, как нелегко его дело, как оно поглощает все его бытие:

Нет детей у меня. Лишь стихи
Окружают меня, словно дети.
Но они и бледны, и тихи,
Не живут они долго на свете.
Дорогой, потерпи до утра,
Золотой, подожди до рассвета.
Завтра утром придут доктора,
Мы на дачу уедем на лето.
...И опять — словно снег черновик,
И перо — словно посох скрипучий,
И рука — как безумный старик,
И свеча — как звезда из-за тучи.

В одном из стихотворений поэта сказано — быть может, несколько риторически, но с неподдельной страстью:

Ищите без вести пропавших,
Ищите древних, молодых,
Полотна дивные создавших,
В боях Россию отстоявших —
Ищите их! Ищите их!
На душных стенах одиночек,
В полуистлевших письменах
Ищите днем, ищите ночью
Их золотые имена.
Ищите их по белу свету,
Ищите мертвых и живых!
И если всюду скажут: —
Нету! —
Найдите их в себе самих.

Поэт Алексей Решетов нашел в себе самом то, что искал.

Литературная Россия. 1978. 1 сент.

При свете совести и сказки

Любители поэзии знают, как сурово судила Марина Цветаева «искусство при свете совести и сказки». Поэтессе казалось, что на этом суде художнику нет оправдания, — ведь над ним красота более властна, чем доброта. Легко и успокоительно считать, что нравственное абсолютно совпадает с прекрасным, но почему же тогда омрачаются и клянут себя творцы красоты? «Молчите, проклятые книги, я вас не писал никогда!» (А. Блок). Жгучее это чувство у русского писателя, с его страстной совестливостью. Поэтому и красота русской литературы заставляла обернуться на свет читателей всего мира. У нас писатель испытует себя заповедями, которые сам ставит выше искусства. Зато и красота насыщается светом совести.

«Но может быть, истоки зла не в том, что отошли ремесленник от ремесла и пахарь от земли, — а в том, что взмыленный Пегас упал у борозды, и совести тяжелый пласт отпал от красоты» (Ст. Куняев). Верно, что же это за Пегас, если на нем пахать, и что же это за красота, если ее лицо искажено мукой?.. Пегас летит по вдохновению, но сердце поэта обнажено, — трещина мира, как сказал Гейне, проходит через сердце поэта... Красота словно бы застеснялась себя, краски поэзии посуровели... Впрочем — мне хочется остановиться только на одном поэтическом «способе совести».

Николай Заболоцкий... Поэт-философ, творящий последние годы «в тишине», прошедший сквозь время и глубоко связанный с временем духовно, создает в итоге жизни поэтический мир, который по прошествии времени все более убедительно выступает как мир мудреца, думавшего о главном. Темперамент позднего Заболоцкого приглушен; красота поэзии — красота сдержанная, подчиненная мере нравственной, — не «сосуд», а «огонь, мерцающий в сосуде». Пристрастия Заболоцкого демократичны, ему желанно простое, обыденное, в простом поэт прозревает высокое. Этическое накопление переходит в эстетическое, испытания времени умерили буйство стиха.

Имя Заболоцкого важно вспомнить сейчас как пример соединения нравственного и прекрасного в русской философской лирике нашей эпохи. И еще потому, что его влияние, несомненно, ощутимо сегодня в поисках обобщающих поэтических «формул» бытия.

Теперь приведу стихотворение моего современника:

Пора замаливать стихи,
 Стихи замаливать пора мне,
 Встав за кузнечные мехи
 Или обтесывая камни.
 Откуда знать в конце концов,
 Быть может, я ценою муки
 И отыскал свое лицо,
 Но потерял при этом руки.

Таковы по краткости и афористичности почти все стихотворения Алексея Решетова. Имя, безусловно, не примелькавшееся на страницах критических обзоров, но все-таки замеченное ценителями поэзии, хотя пока и немногими. Помню, еще в середине шестидесятых годов появился в «Юности» сочувственный отклик Бориса Слуцкого на одну из книг поэта. В Перми и Москве вышло несколько стихотворных сборников Решетова, повесть, — скоро уже полтора десятка лет, как он член Союза писателей (живет в Березниках). «Пора замаливать стихи...» С чего бы признанному поэту корить себя долей кузнеца, каменотеса?.. То голос совести, вдруг открывшей, что «ценою муки», может быть, не найдено, а утрачено призвание! Насколько это сомнение истиннее самоуверенности стихотворца, закосневшего в своем «профессионализме»... Поэта зовет красота подвижническая:

...И опять — словно снег черновик,
И перо — словно посох скрипучий,
И рука — как бездомный старик,
И свеча — как звезда из-за тучи.

Художник в стихотворении Решетова «Автопортрет» «не писал своих героев, а впалой грудью защищал». Так и поэт мечтал бы напрямик сказаться судьбой, совестью. И вот четырежды повторяется: «Женщина пилит двуручной пилой толстые бревна одна». На повторе держится упрямая сила стихотворения. Поэзия возникает едва ли не из отрицания поэзии. Решетов любит прямое, назидательное слово. Поэту не терпится выйти к результату. А что должно быть результатом поэзии, красоты? Разве не добро?

Свет звезды, которой закатиться,
Ярок, торжествующ, небывал.
Белый лебедь, прежде чем разбиться,
Так поет, как сроду не певал.
Что короче нашей жизни дивной?
Этим чувством нам и надо жить,
Чтобы было песней лебединой
Все, что мы успеем совершить.

Финальное стихотворение книги «Лирика» подобно надписи на камне. Вот особая форма поэзии Решетова, которой он владеет так, что и рационалистический вывод преподносит артистично.

Дельфины, милые дельфины,
Мы вас научимся беречь —
Уже почти до середины
Мы понимаем вашу речь.
И вы, поэты, как дельфины,
Не избегайте с нами встреч —
Уже почти до половины
Мы понимаем вашу речь.

Тут, конечно, шутка, а все равно всерьез. Решетов всегда серьезен, всегда убежден, что в основе жизни лежит мера, согласованность, порядок.

Убеждение придает спокойную красоту стихотворению «Небо», открывающему книгу «Лирика». Мы видим, что небо «опирается» на все земное, на всю нашу жизнь, а в итоге: «Мы все немного подпираем небосвод». Нравственный смысл оказывается чудесен, равен сказке, доброй сказке, детскому рисунку.

Вот и «Сны» — сны людские — исполнены разумного строя: «и не разу людям не приснится, что ничем не заняты они». Даже и тревоги земные получают аллегорически закономерное воплощение, ибо у земли: «От вечной заботы, от вечной тоски ее полюса — как седые виски». Смысл жизни Решетов стремится сжать до стихотворной миниатюры.

Мир поэзии Решетова был слишком плоским, если бы все для него исчерпывалось симметрией добра и зла. В конце-то концов, добро нерушимо освещает самые горячие стихи Решетова, возвращает поэта к себе. Он и про убитых на войне думает: «Убитым хочется дышать». И вспоминает, как в дни Победы «пластинкой о синем платочке вращалась родная земля». Ранящие строчки идут от мальчишеского впечатления. Годы войны в поэзии Решетова предстают школой доброты и человечности для ее лирического героя.

Одно из немногих «длинных» стихотворений книги «Лирика» — «Сентиментальная история» — рассказывает (в манере, чем-то родственной прозе Виктора Астафьева) о любви инвалида войны и немки Шарлотты, и рассказ этот завершается так: «Вечером разыгралась с сыном своим Шарлотта и говорила за стеной ломаным языком вместо обычного «паче», вместо обычного «кухен» «ладушки, ладушки» — сыну, мальчик смеялся в ответ». Несмотря на сентиментальность, действительно не чуждую Решетову, «история» написана правдиво, без слащавости, четко и рельефно.

И маленький портрет «Писарь» (что вернется с войны «в скромном звании «крысы штабной» при контузии и при медали»), и лирический, но точный этюд «Дворик после войны» (где «сапогом, прошедшим до Берлина, дядька раздувает самовар»), и зарисовка-воспоминание «Как жили женщины в бараке...», и «Точильщик» («Вот подрасту и тоже буду ножи и ножницы точить!») — поэтические картины времен войны открывают в Решетове не только моралиста, но и наблюдательного прозаика, с лирической мгновенностью скупой детали.

«Проза» Решетова подводит нас к истокам драматизма его поэзии. Решетов логичен, афористичен, но и открыт миру: «И, как ребенок, мир невзрачный ежeminутно хвастал мне то красной бабочкой чердачной, то серой ящеркой на пне». Решетов создает сюиту о душе природы, о ее жизни, проходя сквозь времена года, как сквозь вехи собственной жизни. Перед нами разворачивается повесть о судьбе поэта, неотделимой от всего живого. Решетов осмеливается начать стихотворение с хрестоматийного «Поздняя осень...», ибо это вечно, но дальше... иное:

Поздняя осень. Дожливо. Темно.
Только волшебный горшочек герани

Радует нас сквозь чужое окно,
 Все остальное — печалит и ранит.
 Солнце все дальше от знака Весов,
 Вялые воды струятся все тише.
 Вниз головой, как летучие мыши,
 Спят отражения черных лесов.

Поэту милы «эти тихие речки под тонкой слюдою, это пламя осин при клубящейся мгле, этот стог на лугу, как с нехитрой едою чугунок на шершавом крестьянском столе...».

Решетов неутомим в любовании родной природой; его пейзажи, исполненные, как всегда, немногословно, соединяются в цикл лирических гравюр. Жизнь заодно с природой, а не просто наблюдение. «Будто эта холодина, эта дрожь листвы рябой, эта грустная картина нарисована тобой», В картинах много оттенков, настроений. Свое стихотворение получают и «Любители лягушечьего пенья», и соловей («Соловушка вырезал гланды...»), и иволга (« — фитиу-лиу — и в мире светло, — иволга знает свое ремесло»). «Цветов благоуханье и лучей скользящее тепло» заставляют поэта думать: «это женское дыханье чудом в глушь лесную занесло». Жизнь заодно с Родиной... «Я снова русской осенью дышу...» Дышу Россией...

Небо поэзии Решетова держится на неизменных основах, которые славят так или иначе каждое его стихотворение. Мы видим мироздание поэта как «систему» ценностей, благодатей, живых святынь. «Светолюбивы женщины...» — начинаются стихи. Вторая строфа: «И светonosны женщины...» Возвышенные постулаты могут и не провозглашаться, но они звучат в каждом стихотворении Решетова, величающем женщину, русскую женщину, жену, мать... «Петь устала, говорить устала, только нежной не устала быть». Любимая сравнима с Родиной: «Ты у меня, как Родина, одна...» Поэт молит женщину: «Пойди за меня, назови меня мужем...» Он пылко восклицает в другом стихотворении: «Какой сюрприз, какое чудо хотя бы женское письмо!» И вместе с тем этот порыв служит доказательством определенной мысли.

Поэзия Решетова, я бы сказал, ритуальна, обрядна — конечно, в переносном, поэтическом смысле. И лирическое, непосредственное переживание соотносится с пафосом добра. Решетов не останавливается подчас перед «наивным» утверждением банальных истин впрямую — это входит в стиль поэта. Если «наивность», то присущая сказке, лубку, народному искусству. Поэзия Решетова к лубку не сводится; ее своеобразие, ее неповторимая интонация открываются в переплетении «наивного» пафоса с зоркостью, чуткостью, ранимостью поэта. В несовпадении предустановленного с пережитым — драматизм поэзии Решетова. Вот стихотворение «Рябиновый сад»:

Лежу на больничной постели,
 Мне снится рябиновый сад.
 Листочки уже облетели,
 А красные гроздья — висят.

И мать говорит мне:
 «Мой мальчик,
Ты помни, когда я уйду,
Что жизнь наша горче и ярче,
Чем ягоды в нашем саду».

Память о матери подсказывает поэту слова, отвергающие «обманное» благополучие (стихотворение «Пальто и шапочку надень...», «Мама»). Голос матери — голос совести; при свете материнской совести отпадает лишнее, остается жесткая правда, и в стихи приходит высокая красота. Добро отказывается поучать и наказывать, оно в сознании правды.

Суть же в том, что и в лирике, и в проповеди Решетов остается хранителем прежде всего духовных ценностей, на которых держится «небо». Стихи его, дуется, близки поэзии К. Некрасовой, афористически славившей добро и красоте мира. Связаны стихи Решетова внутренне и с поэзией А. Яшина, отличавшейся, особенно в последние его годы, обостренной совестливостью. Как философский лирик Решетов продолжает традиции Н. Заболоцкого.

Характер, который утверждает Решетов своим сжатым и обнаженным стихом, — в бескорыстии, готовности к самоотречению — неожиданно родствен лирическим образам Хлебникова, Маяковского, Асеева и Кедрина, хотя Решетов неизменно верен традиционной поэтической речи. Лирический герой Решетова предпочитает мир любому представлению о мире, самому искусному. Поэт соединяет себя не с вещами, а с людьми:

Уж если я умру и не воскресну,
Не превращайте комнату в музей,
Не берегите трость мою и кресло,
А берегите всех моих друзей.
Друзья расскажут коротко иль полно,
Каким я был. Вы сможете судить,
Не милоя покойного, но полно
По рюмкам и подсвечникам судить.
И помните, что близкие не вечны,
Спешите к ним за истиной, пока
Мои же разгулявшиеся вещи
Меня не распродали с молотка.

Решетов наследует и тему совести, и позицию совести в русской поэзии. Слово поэта-современника вобрало опыт новых поколений, преобразив общее самобытным «способом совести», неповторимым своим голосом. Стихи Алексея Решетова, еще мало известные, запоминаются крылатым единством добра, стремящегося к красоте, и красоты, смиренно отдающей первенство добру¹⁰.

¹⁰ Далее Ст. Лесневский пишет о немаловажном сходстве поэтической судьбы Алексея Решетова и загорского поэта Анатолия Чикова, не раз возвращаясь в связи с этим к его стихотворениям. Он отмечает, что они «по-детски любят сказку с добрым концом, но умеют смотреть в лицо правде».

<...>

Вернусь к уже упоминавшемуся стихотворению Алексея Решетова «Мама», сплетающему действительность с верой в бессмертие:

Ты слышишь, мама, я пришел —
Твой милый мальчик, твой Алеша.
Нигде я, мама, не нашел
Таких людей, как ты, хороших.
Руками желтыми всплесни:
Какое солнце над востоком!
Не бойся, мама, мы одни
На этом кладбище жестоком.
Уж сколько зим — не знаю сам —
Скребется вьюга по окошку,
А ты все бродишь по лесам,
Сбираешь ягоду морошку...

Я давно не встречал в нашей поэзии таких простых, кратких и сильных строк о жизни и смерти... Вам все ясно — где сын, где мать, и как все непоправимо... Но разве об этом сказано? Мы слышим голос сына, слышим молчание матери, слышим их встречу, знаем, что мать слышит сына, но не может ему ответить... А как это сказано — не определить.

...Нельзя не заметить, что Алексей Решетов, веруя в чудо, создает красоту едва ли не из констатации, из факта, но просветленного идеалом...

Поэзия: Альманах. 1979; Современник. 1981. № 25

Леонид Королев

Яблоко, съеденное в войну

Предисловие к книге, вышедшей 13 лет назад

Есть у французского поэта Жака Превера веселое стихотворение «Прогулка Пикассо». Художник, рассказывает Превер, пытается нарисовать яблоко. Он думает об Адаме и Еве, об яблоке Вильгельма Телля, и даже Исаака Ньютона, о законе всемирного тяготения... И, утомленный этими и многими другими мыслями, живописец засыпает...

В это время
Мимо шел Пикассо,
Как всегда и везде
 себя чувствуя дома.
Он видит яблоко,
 видит тарелку

О стихах Решетова можно сказать, что они закаляют и душу, и сердце читателя.

Решетов в свое время настораживал многих глубокой печалью своих стихов. Но ведь печальная песнь не похоронная. И колыбельная песнь может быть печальной. Это песнь над трудной, но и светлой судьбой человека и целого народа. Она не может быть легкомысленной. Грустная, а порой и трагическая нота в стихах поэта — это не модная дань времени, а выстраданная, своя, кровная. И не нужно считать, что война была уже давно и пора петь только веселые песни. Увы, не только. Для глубокой человеческой природы трагические события не сходят на нет. Их смысл раскрывается по мере духовного постижения. А в истории все еще сложнее, и, порой, еще трагичнее. Это-то и понимают большие поэты, как Решетов, ранимые более, нежели это можно себе представить. Отсюда все значительное в литературе.

...Вот что побудило меня начать разговор о необходимости переиздания маленькой книжки начинающего поэта, написанной им тогда, когда он был безвестен.... Зернышки решетовских яблок проросли, из них выросли большие деревья, на них алеют прекрасные плоды. И разве не пора собирать урожай, не пора раздавать эти прекрасные яблоки всем — взрослым и детям?

Звезда. 1981. 24 июня

Юрий Никишов

Книга пишется всю жизнь

О книге «Жду осени»

Бывают поэты одного стихотворения или даже одной строки. Александр Одоевский написал: «Из искры возгорится пламя» — этой строки достаточно, чтобы утверждать — имя поэта никогда не будет забыто.

Алексей Решетов уже более четверти века пишет одну книгу. Разумеется, она выходила под разными названиями, несколькими изданиями, в Перми и в Москве, в расширенном и в адаптированном виде; «Жду осени», если не ошибаюсь, восьмой сборник, или, что то же самое, восьмое издание книги. Меняется состав книги: одни стихи занимают в ней незыблемое положение, другие то уходят, то возвращаются, третьи уходят навсегда. В каждом издании появляются новые страницы.

Читатель жаден: ему хочется, чтобы новых стихов было больше; это желание естественное, понятное. У Решетова новых стихов появляется немного. Только как упрекнуть в том поэта, у которого «стихи не пишутся — случаются»? Остается набраться терпения, а в ожидании новых стихов не считать лишним перечитывать накопленные. Книга Решетова требует читательского углубления в нее.

Что пишется единственная книга, входит в сознание самого поэта:

Читатель милый, книгу эту
Я очень медленно писал, —
Так ствол выносит листья к свету,
Так образуется кристалл.

Это путь трудный, связанный с необходимостью преодолеть душевную усталость:

Случилось, чего опасался:
На сорок четвертом году
Я выдохся, я исписался —
Двух строк по душе не найду.

Это путь, дарующий поэту счастье, ибо радость творчества стоит в ряду высших духовных ценностей человека:

Но полон чуда, веры, торжества
Тот миг, когда естественно и просто
Приходят вдохновенные слова
На лист, необитаемый, как остров.

«Жду осени» не хронологический принцип: давнее и недавнее здесь свободно перемешивается, что в общем-то соответствует характеру единой книги. Поначалу «Жду осени» разворачивается в собрание небольших (в три-шесть стихотворений) циклов: хотя в тексте они не подразделяются, сознание легко отмечает их идейно-тематическую общность.

Первый цикл задает высокий патриотический тон: мысли поэта обращены к Родине. Впрочем, заметен и полифонизм этих стихотворений: высокое — Родина, Россия — постоянно соседствует здесь с конкретным — земля, природа (заглавное «Жду осени» — в этом же цикле). Общим становится мотив благоговейного отношения к родному краю и добрым рукам человека, умеющим сберечь земную красоту и приумножить ее:

Спешу к земле, как к матери родной,
От всех своих досад и треволнений
И возле первой нивушки ржаной
Надолго опускаюсь на колени.

И как следствие: мысли о Родине обретают исторический колорит («Дума о Ермаке», «Русская песня», «Михайловское»).

А потом возникает тема поэта («Белый лист», «Поэты» и др.), а потом тема земли дается в космологическом ракурсе, а потом делается крутой поворот к делам земным, к сочувствию тяжелой женской доле. Отсюда естественный переход к обширному циклу воспоминаний о военном детстве. Далее определенность циклов, достаточно условных и вначале, еще более размывается: перед нами вста-

ет нелегкая судьба лирического героя, до срока убеленного сединой, находящего трепетную радость в общении с природой, понимающего труд как критерий ценности человека (мотивы начальных циклов повторяются и развиваются), в высшей степени благородного в отношении к женщине, несчастливого и одинокого подвижника, который берет на свои плечи несовершенство мира и пытается даже сквозь тяготы и потери своей жизни пройти с достоинством и честью.

Беспощадная искренность — то свойство поэзии Алексея Решетова, которое становится условием полного и безусловного доверия к поэту со стороны читателя. Нелегко быть открытым на миру; но художник обладает незаурядной смелостью, когда обнажает душу до тайного тайных, не боится признаться в слабостях и просчетах. Оттого-то голос поэта остается искренним и тогда, когда автор подымается до самого высокого пафоса.

Очень национальный он, поэт Алексей Решетов. Наследуя традиции русской классики, он в высокой степени обладает совестью русского интеллигента. Она и в суровой требовательности к самому себе, в выстраданном праве говорить с миром о самых серьезных проблемах бытия.

В традициях русской классики и та высокая, избранническая миссия поэта, какой ее представляет себе Решетов. Уже давно написано стихотворение «Поэты», но за давностью лет строки его нисколько не потускнели. Поэты, утверждает здесь, «погибают не от пуль»:

Расширены глаза, как у детей.
Попробуй жить и не растратить крови,
Переживая тысячи смертей
И чьих-то несложившихся любовей!

Поэту «не избежать страданья. Ибо он отвечает за все мирозданье». Решетов запрещает даже сетование на страдальчество:

Поэт, не надо слез и жалоб
На боль свою. Припомни рев
Лесного дикого пожара,
Его дымящуюся кровь.
Он рвет когтями мох поляны
И о сучье бока дерет,
Но если он залижет раны,
Он не воскреснет — он умрет.

Воспринимая страдальчество поэта как неизбежность и условие поэтического труда, Решетов возвышает это состояние до своеобразного трагедийного оптимизма:

Хочу, чтобы вам, горюны-горемыки,
Чуть-чуть помогли мои грустные книги.
Хочу, чтоб моя невеселая чаша
Была бы куда тяжелее, чем ваша.

В стихах Алексея Решетова уникальным образом соединяется романтическое и реалистическое мировосприятие. Романтическое мировосприятие предполагает резко критическое отношение к негативным явлениям жизни и не менее резкое противопоставление им мира мечты, идеала.

Нас пугают далекие рейсы,
Слава богу, покой обрели!
А в горах расцвели эдельвейсы,
Эдельвейсы в горах расцвели!

Конечно, эдельвейсы реальны, но в описываемой ситуации настолько недосягаемы, что воспринимаются символом нереальной мечты.

Страстное влечение к светлому, идеальному, пусть даже воспринимаемому подчас несбыточным, питает очень важное свойство эстетической позиции поэта — максимализм, который проявляется чрезвычайно последовательно. Выделяя в космическом — вечном! — существовании звезды краткие мгновения ее падения, а в жизни лебедя — предсмертное пение гордой птицы, Решетов призывает уподобить мигу всю человеческую жизнь:

Что короче нашей жизни тленной?
Этим чувством нам и надо жить,
Чтобы было песней лебединой
Все, что мы успеем совершить.

Всех примеров, где находишь максималистское отношение к жизни, право, не исчерпать. Но все-таки еще один, где позиция поэта передана метафорой-гиперболой. Вспоминая, как часто в труднейшие минуты вырuchал огонек, Решетов заключает:

И мне не однажды хотелось
Из черной осенней реки
Достать и согреть своим телом
Дрожащие в ней огоньки.

Какое емкое слово «дрожащие»! Оно точно и в своем прямом значении — дрожащие на волне. Оно выразительно и в метафорическом смысле: дрожащие — озябшие. Стихотворение свидетельствует, что гуманизм поэта беспределен...

Достоинства и преимущества романтического мировосприятия — в благородной мужественности, в решительности и беспощадной смелости смотреть в глаза самой горькой правде, в умении твердо стоять на земле, в объемности — стереоскопичности — взгляда на мир, в широте позиции художника. Умение сочетать оба мировосприятия позволяет Решетову опереться на достоинства и преимущества каждого, избегая ограниченности и замкнутости, гипертрофирования односторонних увлечений.

Будучи романтиком, Решетов любит за бытовым и обыденным прозревать волшебное, сказочное. У него наберется немалый цикл стихотворений, где в пря-

мом значении обыгрываются сказочные сюжеты и образы. Еще шире этот прием используется в непрямом значении. Порой отдельная метафора несет в себе зерно потенциального сказочного сюжета:

И наверно, не счесть за лесами
Не прижившихся на небе звезд.

Будучи реалистом, поэт не позволяет себе замыкаться в мире фантазии, ищет земной опоры; духовное, идеальное начало не противопоставляется реальному, но прозревается в нем, даже и вопреки «здравому» смыслу:

А почему бы не махнуть
Рукой на взрослые талмуды?
А почему бы не взглянуть
На мир привычный как на чудо?

«Привычное» и «чудесное» привычнее воспринимать как антитезу: Решетов демонстративно превращает эти понятия в синонимы. «Мир невзрачный» (в стихотворении «Была весна...»), как ребенок, хвастает скромными, но — сквозь магический кристалл поэзии — яркими цветами. Лягушечье пение для поэта — «мелодия волшебной красоты», и так оно преподнесено — кто бы рискнул поспорить!

Но только строгому реалисту доступен суровый оптимизм бесстрашия при взгляде на резкие противоречия бытия:

Не убивайся, человек,
Что еле движутся дела,
Что ненаглядная далече,
Что вьюга окна замела.
Пока в природе двоевластье
Чудной четы — добра и зла,
Исключено сплошное счастье,
Исключена сплошная мгла.

И мир, и самого себя судит художник — будет неверно сказать: бесстрастно; скорее наоборот — пристрастно, но не позволяя себе увлекаться. Даже полет фантазии контролируется. Даже в порыве к идеальному Решетов запрещает себе идеализацию. Призывает поэт учиться у птиц «искусству полета и пенья» — и тут же предостерегает:

Но не учитесь у них с высоты
На беззащитную жертву кидаться.

Благодаря синтезу романтического и реалистичного взгляда на мир возникают различные, принципиально многообразные оттенки в разработке каждой излюбленной решетовской темы. Нет возможности рассмотреть это в полном объеме, коснусь лишь одной такой темы.

В книге Решетова много стихотворений, посвященных любви. Впрочем, можно ли вести речь о любви, поскольку в стихах раскрывается судьба человека одинокого, не сумевшего сберечь счастье?

И тяжело стоять перед окном
И выводить слова любви на нем,
Чтоб только вьюга дальнего села
Их шиворот-навыворот прочла.

Но что из того? Стихи искренни: у кого что болит, тот про то и говорит. Главное же — в личной драме поэт не дрогнул, сохранил душу живую; мужество беспощадной правды позволяет ему извлечь даже из ошибок урок высокой нравственности и благородства.

Отношение к женщине в стихах Решетова предельно одухотворенное, деликатное. В современной нашей поэзии трудно найти другое такое стихотворение в жанре «прощального» послания, которое было бы исполнено такого великодушия, щедрости души, как вот это решетовское:

И когда мои очи уже остывали
И прощальные слезы текли из-под век,
Я, теряя сознание, подумал: едва ли
Был счастливей меня человек.
Потому что хотя ты меня не любила,
Избегала меня наяву и во сне,
Ты жила, ты дышала — и этого было
Для великого счастья достаточно мне.

Подобный мотив, варьируя, можно повторить, превзойти — нельзя: в этом направлении мысль уже продвинуться не может, она достигла предела. Но всякое предельное положение, как полюс, имеет контрастное положение. Естественно, что в стихах Решетова встречаются и «покаянные» мотивы («Спи. Обижать мою милую некому, кроме меня»), и горькие слова упрека в адрес любимой: это не противоречие поэта, это многообразие жизни и вызванных ею настроений, состояний души. Но за всей сумятицей чувств неуклонно проступает цельность авторской позиции: любовь бывает неразделенной, но не бывает несчастливой; любовь — высокий дар человеческий, который далеко не всегда человек умеет вовремя распознать и оценить; его так легко разрушить; часто он и осознается как сожаление об утраченном. Умение любить — в известном смысле критерий человечности. Так что грустные стихи Решетова о любви — прекрасное средство воспитания нравственного чувства.

В книге Решетова много страниц сильных, пронзительных, настоящих, они прикипают к сердцу, остаются в нем навсегда. Есть страницы послабее, но и они не вызывают желания поучать поэта, говорить о недостатках стихов: прежде всего потому, что поэт не суесловит, сам не позволяет себе небрежности.

В одном из стихотворений Решетов рассуждает о том, что непросто отличить подлинное от подделки, но заканчивает обнадеживающе:

И все же фальшивое — гаснет,
А то, что на совесть, — горит.
И все же со временем ясно:
Поэт ли с тобой говорит.

Четверть века, которые Алексей Решетов работает в поэзии (от сборника «Нежность» в 1960 году до сборника «Жду осени» в 1985 году), — срок вполне достаточный, чтобы сознавать, что в его книге появятся новые страницы. И радостно этого ждать...

Урал. 1987. № 4

Николай Гашев

Виктор Астафьев: «Я писал Ельцину насчет Алеши...»

Редакция газеты «Звезда», а значит, и наши читатели получили в самый канун Рождества Христова своеобразный подарок: Виктор Астафьев прислал рукопись своей новой повести «Веселый солдат».

Это новорожденное «дитя» писателя «пуповиной» связано с Прикамским краем. В повести рассказывается о трудных послевоенных годах, когда Виктор Петрович и его жена Мария Семеновна Карякина-Астафьева, тоже участница Великой Отечественной войны, стали жить в Чусовом. Главы из новой повести Виктора Астафьева «Веселый солдат» будут опубликованы в ближайших номерах «Звезды».

«Всем звездинцам — поклон, — написал Виктор Петрович в письме, приложенном к рукописи “Веселого солдата”. — Юбилейный номер “Звезды” хорош, и литературная страница смотрится, а стихотворение Алексея Решетова “Не плачьте обо мне” украсит любую хрестоматию. При случае передайте ему привет и мое восхищение этим стихотворением».

К сожалению, и в этом году, несмотря на все старания поклонников Алеши, с премией ему ничего не вышло, хотя я писал Ельцину насчет Алеши и назвал его «современным Баратынским». Не подействовало, не верят прислужники царевы, что в провинции может существовать и творить замечательный поэт, да еще тот, который о себе вестей не подает»...

Звезда. 1998. 9 янв.

Дмитрий Шеваров

**Легкие санки.
Алексей Решетов¹¹**

Жду тебя, а ты нейдешь,
Зря гляжу в окошко.
Там идет то снег, то дождь,
То пуста дорожка...

А. Решетов

А по странице бегут свет и тени, тени и свет...

Давно заметил, что у вагонного окна книги читаются совсем иначе, чем дома. В дороге чтению сопутствует дымка, промельк, быстрое чередование простора и глухомани. То весенний лес спешит навстречу, перепрыгивает через канавы, озера и затопленные огороды. А то дали откроются и воды... Кругом вода, синяя глубь — еще более синяя, чем высь.

Открытые страницы теряют в такие минуты свою предметность, она осыпается и нам счастливо брезжит видение забытого детского мира, промельк неба на бедной земле...

Конечно, и стихи для этого должны быть хороши, одного законного пейзажа мало.

Мирный дворик. Горький запах щепок.
Голуби воркуют без конца.
В ожерелье сереньких прищепок
Женщина спускается с крыльца...

Поэзия, должно быть, торжествует именно в такие моменты. Наша вынужденная праздность в несущемся поезде, близость первоначального мира и открывающаяся книга...

Ты знаешь, что такое рань?
Ты просыпался рано,
Когда стекло оконных рам
Мерцает как-то странно.
Когда еще не слышно птах,
Еще не пали росы,
Когда лежит на трех китах
Земля без всякой оси...

В такие минуты забываешь, что океан тишины давно вычерпан, что *лирика*, как состояние русской души, — понятие, по мнению многих, безвозвратно уходящее...

¹¹ Первая часть публикации Дмитрия Шеварова — о книге А. Решетова «Темные светлы», вторая — последнее интервью с поэтом. См.: Легкие санки. Алексей Решетов: Из книги Дмитрия Шеварова «За живой водой» // Урал. 2002. № 12.

Читая Решетова и думая о нем, о его судьбе — живешь в тихом, неослепительном свете осеннего дня.

Поэт, получивший первое признание как тонкий своеобразный лирик еще в начале шестидесятых, не покинул родного Урала, не отправился искать счастья на чужой стороне. Хотя, конечно, звали в дорогу. Была возможность прилепиться к одному поэтическому поколению, к другому... Но все агитпоезда Решетов проводил, наверное, тем сумрачно-смущенным взглядом, каким он смотрит на читателя с той фотографии, что помещена в книжке.

Издав его судьба выглядит самоизоляцией. Или по старинке говоря — уединением. Вдали от столичных искушений, моды, общественного поприща — тоже, можно сказать, романтика.

А на самом деле — совсем *другая жизнь*. Романтики в ней и со спичечный коробок не наберется.

В Березники («город расположен на богатейших месторождениях калийной, магниевой и поваренной соли в 278 километрах к северу от Перми» — сообщает энциклопедия «Города России») семья попадала по трагическому предписанию эпохи. В 1937 году отец будущего поэта, известный хабаровский журналист, был арестован по доносу и вскоре расстрелян. Домашнюю библиотеку свалили во дворе и сожгли. Мать, Нину Вадимовну, отправили в Березниковский лагерь. Полугодовалый Алеша остался на руках у бабушки. В сорок пятом году, после освобождения Нины Вадимовны, и они приехали в поселок горняков близ Березников. Через много лет самые пронзительные строчки в стихах Решетова будут о маме.

В Березниках Алексей закончил семилетку и горно-химический техникум. Круг общения, конечно, далеко нелитературный и не всегда изысканный. Горный электромеханик по специальности, Решетов много лет работал на Березниковском калийном комбинате. Постоянное чувство тошнотворной, гнетущей опасности. Ранние утраты, проводы в последний путь товарищей, приятелей, соседей. Обвал на калийной шахте — событие, увы, всего лишь районного масштаба.

Печальной кучкой друзья
Собрались в столовой на рынке.
Дешевая водка, кутя —
Не первые в жизни поминки...

Тут все слишком всерьез. Убивают — до смерти. Напиваются вдрызг. И если что-то падает, то обязательно — вдребезги. Для иронии — не тот климат. Но все пронизано любовью — странной, полунемой, чурающейся иногда самого этого слова — «любовь»...

...даже там, в больничном здании,
за решеткой и за шторкой,
Бонапарт целует няне
Руки, пахнущие хлоркой.

Этот безумный и нежный поселковый Бонапарт 1970 года разлива — он кажется старшим братушкой водовозу Степану Грибоедову из баллады, написанной Александром Башлачевым в начале 80-х. Перед тем, как исполнить эту балладу под гитару, Саша говорил: «Еще одна шуточная песня... Я до сих пор не понимаю, о чем она. Может, кто-нибудь поймет и мне потом скажет...»

Спихватились о нем только в среду.
Дверь сломали и в хату вошли.
А на них водовоз Грибоедов,
Улыбаясь, глядел из петли.

Он смотрел голубыми глазами.
Треуголка упала из рук.
И на нем был залитый слезами
Императорский серый сюртук.

Иногда поэты, разбросанные по разным временам, пишут одно стихотворение. Финал истории о поселковом Бонапарте, возможно, еще не написан.

Хотя продолжение этой нешуточной темы легко можно найти в стихах Бориса Рыжего, ушедшего внезапно вслед за Сашей Башлачевым. И некому объяснить, о чем же эта песня...

Невеселое вино,
Дров осиновых шипенье...
Раз нам счастья не дано —
Дай нам, Господи, терпенья.

Молитвенное «потерпи, душа моя...» слышится в каждой строчке позднего Решетова. Вспоминается максима русского философа Сергея Фуделя: «Терпение будней есть наша верность любви, и это самое важное и самое трудное в жизни».

Писать о провинции легко, когда покинешь ее. Или хотя бы знаешь, что можешь взять и уехать. А если ты прикован к ней и семейными обязательствами, и возрастом, и близостью родных могил — то тут ни придыхания, ни восторга. Но и обиды в его строчках не найти. Горечь, печаль, скорбь... отчаяние иногда охватывает как пожар. Обиды нет.

Я не был в счастливой рубашке рожден,
И грезы мои не сбылись.
Но вырву свой грешный язык, если он
Начнет оговаривать жизнь.

Ни летописи, ни хроники в книгах Решетова не найдешь. Ни одно общественное событие не заставило поэта «откликнуться». Здесь события — осень, весна, вид в больничном окне, редкий приход друзей, пилка дров или поездка на подводе:

От кирпичного завода
На кожевенный завод

Заунывная подвода
По лесам меня везет.
Вот и первые снежинки
Начинают угрожать:
Не сумели паутинки
Дней погожих удержать.
То исклеванный шиповник,
То нахохленный стожок.
И вздыхаешь, как виновник,
Будто мог, да не помог...

Только природа — отрада неизменная, сердечная, спасительная... Не среди людей, а здесь происходит все самое важное и таинственное. В этом пасмурном мире немного красок, всего, быть может, две или три. Но к этой скупости быстро привыкаешь. С ней смиряешься, когда понимаешь, что, к примеру, серый цвет здесь вовсе не серый, не тот, мышинный, который нам обычно представляется. Серый у Решетова не принадлежит вещам или пейзажам, это цвет жалости и тихого любования.

Здесь солнышко светит серое, хворое и «кожей гусиной покрылась река». И такое осеннее солнышко нам дороже, чем летнее, буйное и победное.

Темные светы ненастной погоды,
Тусклые краски предзимнего дня...

Новая книга Решетова «Темные светы» похожа на кружение по одному пяткачу, но почему-то это не надоедает, не хочется прерывать это бродяжничество. В таком скитании по давно известным тебе тропам есть и сладость, и мука. Сладко, что можешь не думать, куда тебя ноги несут — везде ты будешь свой и ничего чужого ты не увидишь. «Все течет, но ничто измениться не может...» А мука от того, что ты не можешь найти в этих дворах и улочках своих детских знакомцев, родных лиц.

Вот девочка Геля допьет молоко,
И мы с ней усядемся в детские санки
И вдруг улетим далеко-далеко,
Обнявшись, в воздушные синие замки...

Как-то забылось, затемнилось это назначение поэзии — любить, признаваться в любви, лелеять что-то дорогое в душе. Как-то засмутились мы в последние годы этим назначением. Но и политическая подоплека, и изощренность в поэтических формах, и салонный эпатаж — все оказалось в тягость душе, и так хочется звука чистого, незамутненного¹².

¹² Эта (публикация здесь в сокращении) рецензия на книгу А. Решетова «Темные светы» была написана для журнала «Новый мир» («Проблеск неба на бедной земле», № 3, 2002 г.) еще до моего знакомства с Алексеем Леонидовичем. Он успел прочитать ее... — Прим. Д. Шарова.

«Я приникаю к матери-земле...»

В многоголосом хоре поэтов-уральцев голос Алексея Решетова, безусловно, выделяется самобытностью. Выделяется не высотой регистра, а ярко выраженной чистотой тона, я бы сказал, изящной раскованностью — органичной, цельной и пронзительно непосредственной,

Проснулся я от солнечных лучей,
Цвела трава. В разгаре было лето.
Как хорошо, что этот мир — ничей:
Ходи, дыши, и нет тебе запрета.

...Спешу к земле, как к матери родной,
От всех своих досад и треволнений
И возле первой нивушки ржаной
Надолго опускаюсь на колени.

На первый взгляд может показаться, что поэтическому мышлению А. Решетова присуща созерцательность («О белый лист, как белое чело, как белые больничные постели, как белый снег, что рухнул тяжело от выстрела на пушкинской дуэли...»), но это не так. Лирический герой поэта — плоть от плоти наш деятельный современник, воспринимающий жизнь не в умозрительных категориях, а с тем душевным трепетом, который и составляет сердцевину поэтической работы. Ему (лирическому герою) вовсе не надо «дотягивать» свое мировоззрение до «практически здорового» хотя бы потому, что:

Ни малейшего блага по блату
Не имел я — не то ремесло.
Двадцать лет
 то кайло, то лопату,
То лопату держу,
 то кайло.

Или хотя бы потому, что он с юных лет научился очень «прилично и паять, и клепать, и сверлить». Может быть, эта гордая рабочая уверенность в собственной значимости и способствовала как убеждению, что «...мы все немножко подпираем небосвод» (подчеркивается сила наших земных дел), так и наиболее энергической выработке глубинного чувства патриотизма, любви к родной земле:

В ней все, в земле:
 начало радуг, хлеба,
Тонюсенькой черемухи,
 ручья.

И эту землю
на седьмое небо,
Живой и мертвый,
не сменяю я.

Это чувство выстрадано — в нем и память о «слезах ранних вдов», увиденных в детстве, совпавшем с трудными днями Великой Отечественной войны, и уроки раннего возмужания, и зрелая склонность к самоанализу, к философичности, даже к морализаторству.

Свет звезды, которой закатиться,
Ярок, торжествующ, небывал.
Белый лебедь, прежде чем разбиться,
Так поет, как сроду не певал.
Что короче нашей жизни дивной?
Этим чувством нам и надо жить,
Чтобы было песней лебединой
Все, что мы успеем совершить.

Максимализм мироощущения для поэта нередко сопряжен со стремлением выразить динамику жизни, в которой бы «счастьем не было предела», или, как заметил один из критиков, «смысл жизни Решетов стремится сжать до стихотворной миниатюры». Отсюда — какое-то неукротимое желание придать частному, даже вроде бы незначительному факту значение явления, показать непреходящую силу его:

Опять зима, опять мороз.
Крахмальный скрип сухого снега.
Куржак на веточках берез.
Дымок над кровом человека.
И солнце — яркое до слез.

Отсюда — необычайная чуткость к природе, ко всему живому на земле, неожиданная, но в то же время предельно осязаемая ассоциативность:

Как стойко держались березы
В суровые дни в январе.
А нынче весенние слезы
Бегут и бегут по коре.
Так женщины наши в груди
Тревоги и горести прячут.
А если и плачут, то плачут,
Когда уже все позади.

Лирик, как говорится, «по самой строчечной сути», Алексей Решетов умеет передать не только цвет, запах, трепет родной природы, но и самое главное — ее духовную энергию, помогающую человеку одолевая невзгоды, со-

хранять в сердце искры радости даже в минуты грусти и печали. И трудно согласиться с мнением, что «поэзия Решетова... ритуальна, обрядна» пусть даже и «в переносном, поэтическом смысле». Никакой обрядности и ритуальности в стихах А. Решетова нет, есть скорее преобладание в них природного, так сказать, «языческого» мироощущения, но это и придает стихам естественность дыхания. Общение с природой, способность понимать ее «язык» гарантируют людям душевную окрыленность. А это уже — надежная опора на пути к совершенству, к гармонии жизни, ради которой, собственно, мы копим и тратим свои физические и нравственные силы. И не здесь ли сокрыт исток нашего священного, благоговейного сыновнего отношения к родимой земле?

...Я приникаю к матери-земле.
И вместе с ней горюю и мечтаю,
И привыкаю к медленной зиме,
И самообладанье обретаю.

Так славься та великая печаль,
Которая на лице человека
Стирает безмятежности печать
И мужеству предшествует от века.

Да, великая печаль и безмятежность — несовместимы. Там, где «безмятежности печать», — нет страстей, нет полнокровной жизни, нет устремленности к истине, но зато обильна почва для прорастания пошлости и трусости, равнодушия и предательства. Подлинная человечность всегда хранит в себе «великую печаль», без которой не может быть движения к идеалу. Вот почему минорные ноты в стихах А. Решетова отнюдь не производят впечатления пессимистического, неопределенно-растерянного звучания. Нет, в них всегда ощущается ритм уверенного, жизнелюбивого и полногрудного дыхания, непрестанного желания новизны:

Опять на землю выпал первый снег.
И слово стало бодрствовать ночами.
Мне кажется — я новый человек
С широкими и сильными плечами.

А разве такое чувство доступно рефлектирующему, изверившемуся в красоте жизни скептику или безмятежному, самодовольному бодрячку-демагогу, всегда умеющему ловко обходиться без душевных волнений? <...>

Стихи А. Решетова очень лаконичны. Жанр лирико-философской миниатюры, видимо, излюбленный у поэта. Естественно, что он требует чрезвычайно тщательной работы над словом, над его смысловой загруженностью. В афористичных, сжатых стихах А. Решетова много проповеднического, но без назидательных интонаций. В лучших своих вещах поэт убедительно до-

казывает, что многословная риторика вообще несовместима с подлинным мастерством.

Не искал, где живется получше,
Не молился чужим парусам:
За морями телушка — полушка,
Да невесело русским глазам!
Может быть, и в живых я остался,
И беда не накрыла волной
Оттого, что упрямо хватался
За соломинку с крыши родной.

Это хорошее упрямство талантливого поэта, уверенно заявляющего, что «...никогда на рынках книжных душой своей не торговал», заслуживает всяческой поддержки и достойно глубокого уважения.

Из книги «Ступени зрелости: Поэзия рабочего Урала», Свердловск, 1986

Из писем редактора Пермского книжного издательства Савватия Гинца Алексею Решетову. 1960–1969 гг.

29 июня 1961 г.

Дорогой Алексей!

Я получил шесть Ваших стихотворений и очень благодарен Вам за них. Я не могу что-то подробное сказать о них, но первое впечатление хочется передать. Мне менее, чем другие, понравились «Паровозы» и «Гайдар». Первое потому, что хотя большого рассыпания на две части, о чем Вы пишете, я не ощущаю (последние две строки связывают), но общая мысль мне как-то показалась несколько туманной; «Гайдар» же потому, что (может, это придирка?) начинается и кончается хорошими, очень нравящимися мне мазками, но не имеет такой крепкой, сочной, яркой концовки, которые я очень люблю в Ваших стихах, и которые делают их такими хорошими.

Я знаю, что Вы не из тех, кто может занестись, поэтому я так прямо говорю о том, что очень ценю Ваши стихи. «Отношение к ночи», «Стеклышки», «Ищите без вести пропавших» и «Осень» мне представляются стихами, в которых Вы идете дальше «Нежности», и это очень радостно. Очень хочется, чтобы стихи писались у Вас, потому что пишутся они хорошо. А что Вы недовольны, это тоже хорошо, и это надо, чтоб так было. Вы не обращайтесь внимания на какой-то мой поучительный тон. Мне не хотелось бы становиться в менторскую позицию. Мне просто хочется пожелать Вам успешной, творческой работы. И очень хочется думать, что будет и вторая книжка, лучше «Нежности», которая мне очень нравится и которую я ценю. В шестой книжке «Урала» есть аннотация «Нежно-

сти» — она очень благорасположенная, очень ободряющая, хотя, думаю, слишком узко воспринимающая сборник¹³.

Словом, пишите, работайте, будьте собою. Крепко жму Вашу руку.

С. Гинц.

P.S. Да, я не сказал, что, конечно, в сборник «Одно стихотворение» Ваше — пойдет, хотя не могу сказать, какое. Многое будет зависеть (Вам это, верно, понятно) от, так сказать, «взаимосвязей» и прочая. Еще раз желаю Вам всего доброго.

С. Г.

22 сентября 1961 г.

Дорогой Алексей!

Всякими разными путями ходят разные литературные, как, впрочем, и иные слухи. Один такой слух дошел и до меня, до нас, издательских работников.

А именно: писал-де Алексей Решетов повесть, повесть очень любопытную, интересную, но после товарищеского обсуждения, дружеского, но зело строгого, отложил ее, забросил. Между тем, утверждают те же слухи, возможно, что строгие и весьма строгие, даже почти отрицательные суждения, может быть, в большой степени были и несправедливы. Так это или не так, судить трудно, но вот какая мысль и какое предложение возникли у нас. Что бы вам прислать эту повесть мне для того, чтобы просто познакомиться с ней — пока, а потом — ну, потом и видно будет¹⁴. Один лишний человек, который посмотрит эту повесть, ничего ведь не изменит ни в чем и ничего не испортит, если даже дело дальше прочтения повести не пойдет. Так как Вы смотрите?

Мне, по совести сказать, хотелось бы познакомиться с повестью далеко не только как редактору издательства, а и просто как Гинцу, интересующемуся тем, что делают пишущие люди. Просьбу, следовательно, я изложил.

Но будете ли Вы в какое-то ближайшее или не абсолютно ближайшее время в Перми. Если да, то обязательно позвоните мне — хочется встретиться.

¹³ Журнал «Урал», № 6 за 1961 г. (с. 191): «Поначалу эта книга стихов похожа на непритязательный рассказ о прогулке. Весной, поутру, вышел поэт за околицу, увидел небо, отметил: «...на дымок из русской печки опирается оно» («Небо»), нашел голубые подснежники, увидел рельсы новой железной дороги («Новая дорога»), услышал знакомую девичью запевочку («Встречная»), а налетевший свежий ветерок ему «добрую песню принес» («...Блокнот полистал, пролетел над костром...»). С каждой строчки добавляется новое доказательство любви к природе, открывается красота прикамских лесов и лугов. И как-то исподволь, незаметно начинаются в стихах воспоминания о недавней войне, встают во весь рост солдаты. <...> Замысел поэта, выпустившего свою первую книгу, становится понятным: нежность есть и в пристальном внимании к природе, и в суровом сердце солдата, жизнью своей отстоявшего мир». Автор аннотации не установлен.

¹⁴ Речь идет о повести «Зернышки спелых яблок».

Вторую просьбу я тоже изложил. Если Вы насчет приезда не возражали бы, то, может быть, удалось бы что-то сделать через издательство или отделение Союза.

Как Ваши литературные поэтические дела? Пожалуйста, помните, что меня это очень интересует. Появляется ли что новое? Как вообще дела? Очень крепко жму Вашу руку. *С. Гинц*

1 декабря 1961 г.

Дорогой Алексей!

Вот несколько соображений по поводу повести, которую я прочел с большим интересом и удовольствием. (Прочел ее и тоже, как говорят, с интересом А. М. Граевский, наш главный редактор). В повести нет сюжета, но, может быть, он и не нужен. Вернее: он вовсе не обязателен. Но тогда должна быть какая-то главная мысль, как эквивалент, нет, вернее, замена сюжета.

Сейчас не совсем ясна позиция и фигура рассказчика: взрослый? парнишка? Хорошо бы, важно бы определиться (видимо, взрослый!) и тогда это дало бы возможность в каких-то лирических отступлениях (они и сейчас есть, намечаются как-то) эту главную мысль Вашу — дать.

Все это — общие мысли. Как Вы к ним относитесь? Как Вы относитесь вообще к тому, чтобы нам завязать пока еще полу-, но, все-таки, полуделовые отношения. Подумайте, Алексей, над некоторыми нашими соображениями. Напишите, как Вы к ним относитесь? Дальше там будут какие-то претензии к языку, к мелочам, но пока — хотелось об основном. Я буду ждать Вашего ответа.

Как дела у Вас со стихами? Что пишется? Как пишется? Имейте в виду, что на вторую Вашу книжку я (мы) все время целюсь.

Может быть, что-то новое прислали бы почитать? Это уж в порядке дружбы и товарищества, а не официальных отношений.

Пожалуйста, напишите мне.

Дружески Ваш. С. Гинц

16 декабря 1961 г.

Дорогой Алексей!

Самое главное, это то, что Вы считаете, что попытаться сделать повесть стоит, и что Вы за это возьметесь. Если это так, то я очень уверен в том, что повесть должна получиться, и что, в конце концов, на этом выиграем мы — издательство. Вот какой я «эгоист».

Относительно позиции рассказчика. Мне почему-то представляется это дело так. Рассказчик — взрослый человек, и поэтому он имеет право и на свой собственный взрослый взгляд и на взрослые мудрствования и т. д., что, как мы (т[ак] ск[азать], издательство) думали, дает возможность прояснения и позиции авторской через его, рассказчика, высказывания...

Но... Рассказчик, вспомнивший о чудесном времени, как бы ставит себя все время на позицию мальчишки и ведет рассказ, совсем естественно перевоплощаясь при этом в мальчишку. Мне кажется это вполне возможным, допустимым, кажется, что это не будет путать читателя, а автору позволит не насиловать себя, как-то жестко определяя: либо—либо!

И эта позиция (собственно, это, по-моему, и Ваша позиция) дала бы Вам возможность ставить все на свое место.

Подумайте. Мне кажется, что моя позиция более правильная, чем Виктора Петровича¹⁵, который хочет (или я ее неправильно понял?), чтобы рассказчик целиком был мальчишкой. Тут дело, конечно, в Вас самом. Ведь мой, наш, совет — не требование, а соображение о том, как бы добиться, чтобы повесть была светлой, ясной, до читателя доходящей и нужной (все это в ней может быть и обязательно будет!).

А что касается главной мысли, то она, в общем-то, понятна, и мне кажется, что она уже и сейчас чувствуется в повести, а после какого-то прояснения — о чем мы говорим — она поставит повесть совсем крепко. И заголовок (скорее «Зернышки алых яблок», а не второй [впрочем, еще не вовсе я уверен, который интереснее]), мне думается, если не из этих будет, то, во всяком случае, в этом направлении находится...

О «полуделовых» отношениях. Я имел в виду вот что. Пока ведь мы все смотрели повесть так, как смотрят, читают что-то у товарища, знакомого и пр. Выясняется, что речь можно уже вести в плане возможностей ее будущего издания. Это значит: Вы мне напишете, что Вы хотите работать над повестью для издания ее, тогда мы сможем ее включать в план наших подготовительных работ (скажем, на 1963 год), а потом перевести ее уже и в план издания. Словом пустить ее в нашу немножко бюрократическую машину... А потом уж вступать в какие-то договорные финансовые отношения и пр. Вот что такое полуделовые, а потом и деловые отношения.

Вот сколько я наговорил Вам о прозе, которую, кстати сказать, я считаю поэтической прозой, и — упаси боже! — пусть она не станет прозаической прозой! Но меня не меньше интересуют и Ваши поэтические дела. Очень жаль, что стихи не очень пишутся, хотя они очень получаются у Вас. Но пусть не так уж обильно пишутся. Важно, чтобы они все-таки накапливались. Вы смотрите, не обманывайте меня. Я все время думаю (даже мечтаю, если это прилично говорить человеку в конце шестого десятка) о том, что обязательно должен выйти второй сборник стихов Алексея Решетова.

Ну, всего вам доброго. Пожалуйста, пишите, когда придет настроение и захочется что-то сказать.

Крепко жму руку.

С. Гинц

¹⁵ Писатель Виктор Петрович Астафьев.

11 ноября 1962 г.

Дорогой Алексей!

Я, кажется, был так невнимателен, что до сих пор не написал Вам о том, что получил 16 октября Вашу рукопись, что тогда же прочел ее, и что уверен в том, что книжка выйдет и, по-моему, хорошая. Конечно, когда начнется редакторская работа над нею, так сказать, вплотную, то возникнут какие-то предложения, сомнения и прочее, что в таких случаях возникает, но это все будет не о главном, а о каких-то деталях. Боюсь точно сказать, когда начнется работа, на когда будет намечен выпуск книги, но об этом я, конечно, буду писать Вам. Повесть мне вновь понравилась.

Как жадный человек, я продолжаю интересоваться Вашими стихами, хочется подгонять Вас, чтобы Вы больше работали, больше писали (но подгонять, конечно, боюсь, да не думаю, чтобы Вы на это пошли).

А что, если Вам посмотреть, что накопилось у Вас после выхода «Нежности»? Я надеюсь, что мы еще с Вами поработаем над Вашей второй книгой стихов. Как Вы?

Интересно, что нового появилось у Вас? Передайте, пожалуйста, Виктору Болотову (перед которым я тоже виноват), что его стихи я получил, что думаю вскоре прочитать их, и тогда, конечно, напишу ему.

Крепко жму Вашу руку. Желаю Вам больших успехов в работе, в жизни, в творчестве. Хоть и с опозданием поздравляю Вас с прошедшим Октябрьским праздником и желаю Вам всяких благ.

Ваш С. Гинц.

24 января 1963 г.

Дорогой Алексей!

О том, что рукопись «Зернышек» я в свое время получил, я уже писал Вам. Писал и о том, что повесть, по-моему, получилась и будет интересна.

Сейчас я прочел ее с карандашом в руках, сделал какие-то пометки на полях. Их очень, очень немного. Я думаю, что с большинством их Вы согласитесь. <...>

Теперь о другом. Мы включили в план нашей подготовительной работы на 1963 год второй сборник Ваших стихов. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Отбирайте, пожалуйста, то, что в него надо включить, пишите новые. Вам есть, что сказать читателю. Как сейчас пишется? Как работается? Если не трудно, может быть, послали бы мне как-нибудь несколько новых стихов — просто так, чтобы быть мне в курсе дела (это во-вторых) и потому, что меня очень интересуют Ваши стихи (это — во-первых). Печатались ли где за последнее время?

<...>Желаю Вам всего, всего доброго. Хорошо бы как-то встретиться. Не будет ли у Вас повода как-то побывать в Перми? Не забудьте тогда обо мне (издательство и дом[ашний] телефон <...>).

С. Гинц.

Жду возвращения рукописи, которую одновременно посылаю. С. Г.

15 февраля 1963 г.

Дорогой Алексей!

Пора подумать о наших финансовых взаимоотношениях. Я посылаю два экземпляра договора. <...>

А теперь о существовании нашего дела. Спасибо за письмо. Спасибо за обещание стихов. Формула «если напишу второй сборник стихов» меня никак не устраивает. Она — оппортунистическая. Сборник, безусловно, будет. Я почти уверен, что он, поди, уже почти есть, если собрать то, что накопилось после первого. Словом, я с удовольствием буду редактировать его, ежели автор не откажется.

Повесть я всю просмотрел, ее уже перепечатали, и я после просмотра перепечатанного подписал ее в набор и сдаю главному редактору. <...>

Одно приятно, что и первую книжку Вашей прозы тоже в набор посылаю я. Заранее хочу попросить, чтобы мне достался экземпляр ее с авторской подписью. Жалею, что нет у меня такого экземпляра «Нежности» (только, ради бога, не примите это за упрек).

Словом, всего доброго. До встречи. Мы обязательно повидаемся и поговорим, когда вы приедете в Пермь. Так?

С. Гинц

15 июля 1963 г.

Дорогой Алексей!

Давно ничего не знаю о том, как Ваша жизнь, как Ваши дела, как Ваша поэзия. А хотелось бы знать. И, кроме того, хотелось бы сделать какой-то первый шаг в отношении сборника стихов, на который мы очень рассчитываем. Есть у меня такое предложение. Я сейчас уйду в отпуск. Снова на месте буду через месяц. Так вот, очень прошу Вас в течение этого месяца собрать то, что публиковалось после первого сборника (имея в виду то, что Вы хотите включить во второй), то, что писалось за последнее время, и все это прислать нам (на мое имя). Мы не будем считать это «собранным» сборником, но это даст нам возможность считать, что издательство уже располагает рукописью, а не только заявкой. Для нас это важно. Пожалуйста, выполните эту мою просьбу. Повторяю, это будет нечто предварительное. Идет?

«Зернышки» подписаны уже к печати, но когда они выйдут, боюсь точно сказать: тут и от типографии зависит, и от бумаги. Во всяком случае, авторские, когда тираж будет готов, вы получите, я надеюсь, вовремя.

Желаю Вам всего, всего доброго и особо — хорошего творческого настроения. Крепко жму Вашу руку.

С. Гинц

19 октября 1963 г.

Дорогой Алексей!

У меня нет к Вам совершенно никаких претензий по поводу того, в каком виде была послана мне рукопись. Ведь, когда я просил послать ее, мне хотелось просто посмотреть, что есть у Вас. Читал я то, что прислано, с интересом, пока как читатель, любящий Ваши стихи, а не как редактор, следовательно, просто для ознакомления.

Думается мне, что сборник есть. Но если бы появились еще стихи, то было бы хорошо. Не верю я Вам, что «не знаю, напишу ли еще». Этого не может быть. Не тот Вы человек, чтоб мог бросить поэзию, в которой Вы, убежден глубоко, нужны. Вот так! Во всяком случае, и то, что есть, мне кажется, уже сборник. Что касается работы над ним (моей и Вашей), то уж, конечно, что-нибудь да будет (на то ведь я и редактор, чтобы не зря хлеб есть), но что – пока не знаю. Как только приступлю вплотную (боюсь сказать точно, когда это будет), буду Вам писать. Пока мне кажется, что предлагаемый Вам порядок расположения стихов хорош и едва ли возникнет требование его менять.

Не казнитесь насчет опечаток. Сборник еще попадет к Вам с моими замечаниями, и Вы все исправите.

Главное: пишите стихи (это я вообще, а не только потому, что хотелось бы, чтобы их в сборнике было больше), пишите стихи.

Крепко жму руку. Буду писать.

С. Гинц <...>

15 апреля 1964 г.

Дорогой Алексей!

Давыдычев говорил мне, что Вы собирались с ним заехать ко мне, да не заехали по случаю какого-то приключения с такси. Я очень, очень жалею об этом. Было бы хорошо, если бы Вы побывали у меня. Буду ждать следующего приезда.

Теперь о стихах.

Вот несколько замечаний.

В «Снах» (я уже говорил об этом) как-то тяжело врезывается слово «под песнь». И рубашку надо, и мужу надо, а вот вместо «под песнь» что-то надо подумать.

В «Маме». Что-то мне думается, что «кручина» — очень прямое утверждение, в котором потерялась теплая ироничность. Если не найдется ничего другого, то, пожалуй, лучше уж будет оставить «причина». Но поискать стоило бы.

В «Руках». Тузлук, думается, едва ли годится, как и чубук. Ведь рыбак может и не иметь дела (и чаще всего не имеет дела) с тузлуком, с этим раствором для засола рыбы. Так ведь?

И последнее. В «Натурщице». Если не найдется эквивалент «кипенной» сорочке, то оставим слово «кипенной», хотя оно несколько вычурное. Вот и все замечания. Все остальное, по-моему, сделано хорошо.

<...>

И последнее, что хочется сказать. Пишите стихи. Все время пишите. Обязательно пишите.

И просьба: если будет что новое, а обязательно должно быть, изредка знакомьте меня с этим новым.

Ну, конечно, крепко жму руку, дорогой Алексей.

[24 декабря] 1964 г.¹⁶

Алеша, дорогой!

Поздравляю с Новым годом. Желаю очень, чтобы был он по-хорошему нов, по-новому хорош, чтоб принес много радостей и был по-настоящему творческим годом. Книжка выйдет в начале года. Будет хорошая. Надо готовить новую. Обязательно. Теперь уж отступать нельзя.

Очень прошу написать несколько строк о себе, о работе, о планах.

Обнимаю. С. Гинц

*Литературное краеведение Прикамья:
Материалы науч.-практ. конф. 25 апр. 2006 г.
Сост. публ. Е. Е. Бобровой*

¹⁶ Текст написан на поздравительной открытке.

Избранные интервью с Алексеем Решетовым

Дмитрий Шеваров

Легкие санки.

Алексей Решетов¹

Мы встретились в январе, вечером, синие сумерки стояли на дворе, а в комнате — новогодняя елочка. Пили чай, говорили о книжках, перебирали дорогие имена. Виделись первый и, как оказалось, последний раз... А я с первых минут знакомства все думал: какой близкий человек, как хорошо с ним. Его глуховатая, подгоняемая одышкой речь, его удивительные глаза цвета весенних проталинок — все родное.

— *Алексей Леонидович, что вам дорого в русской классической литературе? Что вы перечитываете?*

— «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...» Что может быть выше?.. Многое у Пушкина знаю наизусть, не сомневаясь ни в одном слове, но люблю читать, видеть глазами текст. Обожаю Гоголя. Я очень рано научился читать, но не по книгам, а по газетам. Первую настоящую детскую книжку увидел лет в восемь, когда мы с бабушкой приехали к маме на Урал. Это была книжка под названием «Победа» пермской поэтессы Евгении Трутневой. А еще у нас была книга совершенно особенная — ее написала для меня с братом моя мама пока сидела в лагере. Ей даже удалось напечатать ее на пишущей машинке. Не верите?

Алексей Леонидович уходит в комнату и возвращается, бережно держа книжку с карандашным рисунком на обложке и надписью: «Дорогим сынишкам Бетульке и Гагочке от мамы Нины. 1940–1941».

Сказка в стихах начинается с дивных строк:

По поляне голубой
Ходит месяц золотой...

— *У вас есть трагическое стихотворение о том, как после ареста отца домашнюю библиотеку свалили под окном во дворе.*

И рыжий дворник, подпитой,
При всех арестах понятой,
Сонеты Данте и Петрарки
Рвал на вонючие сигарки...

¹ Первая часть публикации Дмитрия Шеварова — о книге А. Решетова «Темные светлы», вторая — последнее интервью с поэтом. См.: Легкие санки. Алексей Решетов: Из книги Дмитрия Шеварова «За живой водой» // Урал. 2002. № 12.

— Так и было. Друг отца, художник Владимир Иванович Костин говорил мне: «Ты не можешь себе представить, что это была за личность!..» А погиб отец, когда ему было всего двадцать семь. Костин все собирался о нем написать, да так и не собрался. У него был слишком взрывной характер для такого занятия.

— *А в школе литература была вашим любимым предметом?*

— Любимых, кажется, не было. Ни одного произведения, о котором я писал сочинения, я не читал. Но пятерки были.

— *Кем вас видели в будущем мама с бабушкой?*

— Бабушка хотела одного только — чтобы я не болел. Я в детстве много болел. А мать... Ее не удивляло, когда я писал стишки к праздникам, потом их стали печатать в газете. Но она относилась к этому без восторгов. Поэзия — это было так далеко от того, где мы жили, как мы жили. С девяти лет пробовал подрабатывать, помогать матери. Открытки рисовал. Хотел стать художником. Масляные краски при Сталине были дешевле, чем сейчас. Гуашь так совсем дешевая. Приехали мы как-то с мамой в Ленинград и купили там настоящий этюдник, палитру и кисточки изумительные, очень дешевые. Когда ехали обратно, мне хотелось выпрыгнуть и толкать этот поезд, чтобы скорее попасть домой и дорваться до красок... И вот приехали мы, и я этот этюдник задвинул под стол и больше не вытаскивал. Даже на черновиках перестал рисовать.

— *Почему?*

— Забоялся. И как отрезало...

— *Вы были бы хорошим пейзажистом.*

— Нет, это случайное... Но ходить с этюдником по лесу — прекрасно...

— *А на шахту вы случайно попали?*

— Я бы не сказал.

— *Там было страшно?*

— Всякое было. Чем больше отдаляюсь от тех лет, тем больше переживаю. Снятся задавленные, придавленные товарищи. И они все дороже становятся, все ближе и ближе. Считается, что калийная шахта — самая безопасная, сравнительно неглубокая, метров триста, но есть и поглубже...

— *Работали механиком, кажется?*

— Ну, реально-то — лопатой... Я же пришел после техникума, учился по электрооборудованию, но не умел даже лампочки менять. Шахтеры меня учили. И не разу не упрекнули.

— *И берегли парнишку, наверное?..*

— Господи, конечно. Еще на практике я встретил хорошего человека по фамилии Лоскутов, все хочу о нем написать... Помню, мы попали с ним в ночную смену. Отчего-то мы оказались в шахте немного раньше, и он говорит: «Ищи деревяшки — мы их постелем, вздремнем пока...» А деревяшки — от ящиков с аммонитом. Пospали чуток. «Теперь давай бурить, — говорит Лоскут, — ты меня только придерживай...» Сверло двадцать два кило весит. И нам с ним надо забуриться на три метра в тоннель над головой, чтобы сделать верхний шпур — отверстие, куда вставляют аммонит. А ни стремянок, ни лестниц — ничего нету.

Только ящики поломанные из-под взрывчатки. И вот Лоскут бурит, а я его держу, чтобы не свалился. Сделали мы шпур, а другие сделали свои шпуры, пришли взрывники, аммонит заложили, и по свистку все укрылись куда надо. А я неосознанно, в порыве неведения, побежал в обратную сторону. Темно, страшно, но я бегу, как ошалелый, хотя в тоннеле не очень удобно бегать. И вот Лоскут бросился за мной, поймал, как щенка, а в это время рвануло. Нас присыпало, но только пылью, а не камнями. «Ну, — сказал он, — теперь будешь жить вечно...»

— *А то, что вы стали писать стихи, печататься, издавать книжки — это не мешало отношениям?*

— У меня настолько с людьми были хорошие отношения, что меня начальство за это недолюбливало. Я потом сам был маленьким, но начальством. Командовал соляной мельницей. К счастью, никого не заложил, не продал. Ведь у нас как было: четыре мужика на смену приходят, двое обязательно поддатые. Надо их как-то прятать. Нет, мне повезло с земляками. Они меня всегда понимали. Никаких гонений. Кроме благодарности ничего в душе нет. Очень жалею, что в свое время, когда башка работала, я не вел дневника. Я бы и о матери написал, что она испытала...

— *Мне кажется, лучший памятник вы поставили им своими стихами — и маме, и товарищам. Эти стихи будут жить гораздо дольше нас.*

— Пусть живут, но мне они не кажутся такими уж хорошими. Многие слова мне кажутся заменяемыми и это не утешает... Кажется у Кафки где-то: не дай мне Бог набить руку. Кажется, я уже набил... нет, запланированное что-то написать — не дай Бог...

— *Виктор Петрович Астафьев ставил вашу поэзию очень высоко и говорил о ней, мне кажется, точнее всех критиков...*

— Я ему очень благодарен... Вообще-то он был человек строгий. Я Витю знал еще до того, как был написан «Последний поклон». Помню, прочитал рассказ «Конь с розовой гривой» и настолько очаровался, что ходил как помешанный... А потом он уехал на Высшие литературные курсы и вернулся с них уже не Витя, а как мне один наш общий приятель написал: «Это уже не Витя, а какая-то глыба, человечие...» Что-то невероятное, непредсказуемое с ним случилось буквально в год-два — в смысле высоты, красоты его прозы. Последнее письмо получил от него прошлым летом, книжки свои прислал, еще сам подписал...

— *С кем в современной литературе вы ощущаете родство?*

— У меня непостоянный, переменчивый характер. Помню, нравились мне очень Ахмадулина, Вознесенский — любил их с первых стихов, а потом привык, остыл... Очень люблю Арсения Тарковского, Николая Панченко, Владимира Корнилова, недавно ушедшего. Очень меня потряс когда-то Кузнецов Юрий, это было что-то глобальное. Но это пока я Бродского не прочел, а Бродского прочел — тут уж надо как-то помалкивать.

— *Что значит помалкивать?*

— Поскромнее быть. Некоторые стихи у Бродского мог бы написать поэт и моего уровня, но есть такие недоступные вещи... «Темно, как внутри иголки...»

Когда-то друг отца, дядя Володя, о котором я уже вспоминал, передал через кого-то мою книжку Ахматовой. Не знаю до сих пор, успела она ее взять в руки или нет... Анну Андреевну в ее последние годы настолько все любили. Помню, как прочитал ее «Реквием», переписанный кем-то. Я после этого ходил с дрожащими руками. Необычайная вещь. И одновременно — доступная, народная...

— *Вам никогда не хотелось поменять свою судьбу на что-то полегче?*

— Я бы не хотел. Ведь это значит, что и детство свое отдать, а я ни на что его не сменяю...

— *Свое голодное, сиротское детство?*

— Прекрасное... Это сейчас у меня все время какие-то фальшивые претензии. Нет, ни лимузин, ни особняк... А вот чтобы выпить никто не мешал. Или недоволен чем-то. А в детстве настолько ты благодарен солнышку, звездам, что и ночь наступает — хорошо, и утро — хорошо. За все ты только благодарен бесконечно. И дальше эти дни становятся еще драгоценнее. Они помогают переживать сегодняшний возраст... Когда жил в Хабаровске, Амур от нас был в трех шагах, наш дом стоял в Портовом переулке. Дух перехватывает, видя ширину этой реки!.. Когда приехали на Каму — я еще не видел ее, а мы только шли к ней — впереди были густые сосны, они закрывали реку. Но на меня, семилетнего, что-то нахлынуло. И я как рванул на эти сосны!.. Долго бежал, минут десять, а потом мне открылась Кама, распахнулась передо мной... Вот такое у меня было предчувствие воды. Ни разу не был на море, но что такое власть воды, я знаю...

— *Даже по писательским путевкам на море не ездили?*

— Как же — я поеду, а мать и маленькую племянницу оставляю?.. А то, что можно было вместе — этого даже не представляли. Денег у нас не было...

— *Какой у вас праздник любимый?*

Новый год. Самый хороший праздник... Каждый год у нас с Тamarой удивительные истории происходят с елками. Было в Перми время, что елки не достать. И вот уже тридцать первое, а у нас елки нет. Идем через центр города мимо главпочтамта, оперного театра... и тут видим: стоит в снегу елка роскошная, как пихта, и нет следов к ней. Кто, зачем ее там поставил? Взяли на плечо, принесли домой, ахнули... Второй раз еще лучше. Так же, под Новый год, идем мимо Дворца культуры имени Дзержинского, а туда елку привезли, такую огромную, что верхушку рабочие отрубили и бросили на крыльце. А верхушка-то — это же самый блеск. Взяли, принесли... А третий раз вот тут уже, в Екатеринбурге, смотрим: рядом с булочной стоит в сугробе шикарная елка — красота. Но мы не стали брать — пусть кому-то другому достанется. У нас уже своя дома стояла.

— *Вы пятый год как в Екатеринбурге. Какое ощущение у вас от города?*

— Я к любому городу равнодушен, к размаху его... Правда, кроме булочной и пивной почти никуда не хожу. Люблю вот сарай видеть в окошко, деревья... Всю жизнь мечтал о деревне. Астафьеву повезло, у него была Овсянка и он там как на дрожжах поднялся... А я глаза закрою: Амур вижу. Лучше нет реки на свете.

Екатеринбург, вечер 14 января 2002 г.

— А вы сейчас посмотрите. Здесь ведь немного, — настаивает автор.

— Ну что я вам сразу могу сказать? Нужно внимательно прочитать, подумать, нужно время, чтобы не ошибиться в оценке, — увещевает Решетов. — Вам же больше пользы будет.

Однако автору не терпится.

— Ну вы хотя бы бегло просмотрите. Я ведь самодеятельный композитор и пишу тексты для себя. Ничего здесь сложного нет.

Решетов с покорным вздохом надевает очки и начинает разбираться в рукописи. Почерк корявый, некоторые строчки зачеркнуты и сверху еще более мелкими буквами — варианты.

— Не знаю, как насчет музыки, но стихи явно на уровне плохой самодеятельности, — наконец говорит Решетов. — В каждой строке — штампы, трафареты, абсолютно ничего нового. Думаю я, что это все не более чем для домашнего пения.

— А может, если поправить, то пойдет, — в голосе звучит надежда.

— Хорошо, попробуйте, хотя я не вижу, как это можно поправить, — следует откровенный жесткий ответ.

— Я переделаю и снова принесу, — посетитель складывает свои листочки и раскланивается.

— Заурядный случай, — Решетов разминает свою «Приму», но прикуривать не торопится. — Поверьте, за пять лет работы я встретил только двоих одаренных людей, да и то познакомился с ними не здесь. Талант — штука редкая. А консультацию при Союзе писателей, по моему убеждению, нужно закрыть. Ведь нет никакого толка от нее. Если автор не самостоятелен, не может оценить свою продукцию, то разве помогут ему чьи-то, пусть распрекрасные, наимудрые советы? А для неуверенных в своих способностях либо слишком самоуверенных — бывают и такие — необходимы платные консультации.

Не знаю, как в других странах, но у нас — подлинная эпидемия писательства. Творят все — от пионера до пенсионера, и большинство не отдает себе отчета, что написать стихотворение, повесть, рассказ может только человек, обладающий не просто знаниями, но и способностями к профессии литератора. Именно профессии, ибо любительство здесь, впрочем, как и в любом другом деле, противопоказано.

Кажется, чего проще — открыл «Поэтический словарь» Квятковского, изучил все термины, все правила стихосложения на приведенных примерах творчества больших поэтов древности и современности — и создавай свои нетленные произведения.

И вот такое произведение написано. А литконсультант дает ему отрицательную оценку. Но подавляющее большинство пишущих на любительском уровне в этом убедить очень сложно, если не сказать — невозможно. «Как же так! — восклицает автор в справедливом негодовании. — Ведь у меня и рифма точная, и сравнения есть, и метафоры, и гиперболы, и литота! Чем же мои стихи хуже других?» Странное дело — если у человека нет, скажем, голосовых данных или

слуха, он и не подумает претендовать на роль оперного певца. А вот сочинителю — и малограмотному, и высокообразованному, но лишенному врожденного чувства слова, у которого, по образному выражению Павла Петровича Бажова, «суконная варежка на язык надета», — никакие доводы не указ. Даже термин «поэтическая глухота» он относит к кому угодно, только не к себе.

— *Алексей Леонидович, — прерываю я, — но ведь существует и такое явление, как редакторский произвол, субъективизм оценки, органическое неприятие человеком, ответственным за судьбу произведения, нового, еще необычного в поэзии. А вдруг к вам придет гений — и вы его «зарубите»?*

— Что ж, такая ситуация вполне вероятна. Литконсультант не бог, тем более, когда речь идет о такой тонкой материи, как искусство. Здесь неизбежен некоторый субъективизм в оценке. Но кроме твоего индивидуального взгляда, вкусов, привязанностей, существует и масса объективных критериев художественности того или иного произведения. И оттого, скажем, что Л. Н. Толстой не разглядел в творчестве великого драматурга и поэта Вильяма Шекспира ничего великого, разве пострадала репутация Шекспира?

Не заметить талант невозможно, ибо оценка его — результат мнения многих, а не одного, пусть даже гениального писателя или высококвалифицированного редактора. Притом настоящий редактор никогда не довольствуется своим личным впечатлением от прочитанной рукописи. Прежде чем окончательно решить судьбу рукописи, он, как правило, отдает ее на рецензирование профессионалам и только затем, сравнивая их оценки со своей, принимает решение. Это, конечно, в том случае, когда речь идет о спорной рукописи. Их, как показывает практика, не так уж и много. А в основном грамотному редактору, профессионалу в своем деле, сразу же, как представителю госприемки на производстве, виден явный брак. Только измерительный инструмент приемщика литературного произведения — редактора, литконсультанта — его знание основных законов художественного творчества, его чувство языка иллюзорны для автора, совершенно уверенного в своей непогрешимости.

— *В третьем номере журнала «Юность» за 1987 год опубликована полемическая статья А. Еременко «Двенадцать лет в литературе». В ней, в частности, он говорит о «захороненности» целого поколения поэтов и заговоре молчания о поэтах «новой волны». Что вы думаете по этому поводу?*

— Все время поднимаются волны. То одна, то другая... Но волны, как всегда, утихнут, мусор утонет, и останется чистое, незамутненное море поэзии.

О группе непризнанных — Паршикове, Жданове, Еременко... много довольно говорила в последнее время критика. Но стихи этих авторов публиковались крайне редко. Поэтому несведущим оставалось только гадать — а вдруг?.. Но вот в той же «Юности» наконец-то появилась довольно объемная подборка их стихов. И все встало на свои места. Ничего нового «нововолновцы» не открыли. Нова ли в поэзии ирония, у многих густо замешанная на метафоре, откровенное щеголяние позицией безнравственности, в которой эти поэты не так уж и виноваты, — уроки безнравственности им преподали.

Вообще отношение к этим поэтам-«метафористам» (или «праметафористам»), или как их еще там называют, у меня достаточно противоречиво. Они великолепно владеют формой, но настолько порой переусложняют, что разгадка бывает утомительна. А когда расшифруешь — то часто просто разочаровываешься. Пустота. Игра.

Но вот, например, стихи пермского «метафориста» Виталия Кальпиди, опубликованные в девятом номере журнала «Урал», были рекомендованы мной. Они, на мой взгляд, должны быть интересны для читателя.

Некоторые из этих авторов, безусловно, талантливы. И если у них появится настоящая боль за свое время, появится литературная судьба, они, уверен, уберут все наносное и впадут в неслыханную простоту. Стихи не терпят кавалерийского наскока. Со словом надо научиться обращаться бережно, ответственно.

— *Вы, Алексей Леонидович, наверное, часто думаете об этом. Недаром же во всех ваших книгах есть тревожные стихи-размышления о судьбе родного языка. Вот, например, такое восьмистишие:*

В заповеднике лани,
В заповеднике рысь...
Как нам быть со словами,
Чтоб не перевелись?
Мы так часто трубили
В чистом поле стиха —
Столько слов истребили,
Извели впопыхах.

— Больше всего эти упреки я отношу к себе. Жаль, что только с некоторым опытом приходит осознание своей торопливости, желания высказаться как можно скорее, увидеть свои стихи опубликованными.

Сейчас за свою поспешность мне неловко, да что поделаешь. Остается надеяться — читатель поймет и простит.

— *И еще два вопроса. Приходилось ли вам писать стихи по заказу? Много ли ваших стихов переложено на музыку и стало песнями?*

— Стихи по заказу писал сдуру. Только ничего хорошего из этого не получилось. Здесь, видимо, требуется определенная способность, умение быстро вживаться в чуждую тебе ситуацию. У меня таких способностей нет, хотя я не отрицаю их у некоторых профессиональных поэтов.

Что же касается песен — на мои стихи писали музыку многие хорошие композиторы. Но песни исполнялись два-три раза и не приживались. Не знаю, чья в том вина. Вероятно, не было необходимого в таких случаях синтеза двух родственных направлений в искусстве, вот и получились хилые дети.

В заключение оговорюсь: не все мои слова нужно принимать как бесспорные и неопровержимые истины. Многое, возможно, и спорно. Одно только утверждаю — истинный талант не удержат никакие искусственные рогатки, не затоп-

чут солдафонские сапоги. Истинный, но не мнимый!

...Я шел по обледеневшим дорожкам пермского городского сада, мимо печальной облупившейся «Ротонды» с деревянными колоннами и изъеденными беспощадным временем ступенями, под сводом которой побывало немало литературных знаменитостей и общественных деятелей, среди них и Антон Павлович Чехов, путь которого лежал через Пермь на каторжный Сахалин.

Вокруг звенел смех маленьких розовощеких лыжников, за ними с улыбкой наблюдали бабушки и мамы, уместившиеся на спинках занесенных снегом скамеек.

И воробы, дерзко шмыгая у самых ног, бойко чирикали свое вечное: «Жив-жив-жив!»

И на память приходило решетовское:

Я не собой озабочен!
Господи, как мне милы
Добрые лица рабочих,
Давних свиданий углы,
Этот рябиновый скверик
Где, не боясь детворы,
Скачет воробышек серый,
Как поплавок из коры...

Уральский следопыт. 1988. № 1

Эльвира Гатауллина

«... Я бы написал роман о калийщиках»

В гостях у Алексея Решетова

Большая часть творческой биографии известного поэта Алексея Решетова связана с Березниками. Сюда приехал он с братом после войны к матери Нине Вадимовне. Здесь электромехаником на солемельнице начинал свой трудовой путь. Первые стихи и проза Решетова публиковались не только в городской, но и многотиражной газете калийщиков. В 1982 году поэт с семьей переехал в Пермь. С тех пор прошло 12 лет...

— *Как живется Вам, Алексей Леонидович?* — С этого вопроса и начался наш разговор в доме поэта. А вернее, в небольшой скромной квартире в центре Перми, где нас приветливо встретили хозяева: Алексей Леонидович и Тамара Павловна, а также добрейший пес Милорд.

— В общем-то, живется нормально. Сейчас всем, наверное, неважно приходится в этой жизни. Самая же большая моя ошибка в том, что я уехал из Берез-

ников. Переехать в Пермь мне предлагали давно, с тех самых пор, как вступил в Союз писателей. Тогда еще и друзья мои были живы. Теперь их уже нет, а новых заводить трудно...

А с Березниками связано все: и места любимые, и улица, по которой ходил на работу, — все осталось там. Можно было бы и вернуться, но переезжать с места на место тоже не просто. Я не один, у меня семья. Это мое личное желание — жить в Березниках. Часто езжу туда на кладбище — там у меня бабушка, мама и брат...

— *Алексей Леонидович, большая часть вашей жизни связана с Березниками. Здесь прошло отрочество, юность. Здесь впервые пришли на работу на Первый калийный. В поэзии раннего творчества у Вас есть простые, искренние строки, посвященные труду горняков. Ныне Первое рудоуправление, с которого началась Ваша трудовая биография, отмечает полувековой юбилей. Чем запомнился Вам Первый калийный? Какие воспоминания связаны с ним?*

— Мне повезло на хороших людей. В Березниках я окончил горно-химический техникум, это был 1956 год. Пришел на Первый калийный горным электромехаником. Что я тогда умел делать? Всему научили меня там, на солемельнице, за что и благодарен людям, с которыми свела меня судьба. До сих пор, по-моему, там работает Богдан Павлович Лисаник, электрик отделения размола. На нем, собственно, и держалась тогда вся электрочасть... То есть встречается в коллективе такой один человек, который научит тебя и руками работать и головой соображать. Мне в основном пришлось работать с женщинами. Прекрасные все люди. Самоотверженно, причем за копейки, работали. Очень добросовестные. Вот их и вспоминаю.

Я знал уникальных людей, неповторимых, таких, как Лев Александрович Кондратов. Он у нас в техникуме преподавал, я потом у него диплом защищал. Когда пришел работать на солемельницу, Лев Александрович был ее начальником, потом он возглавлял горный цех, а далее до «Союзкалия» дошел. При встрече он мог не только работой поинтересоваться, но и спросить, почему настроение скверное, не болеет ли кто. Причем часто люди, задающие такие вопросы, слушают ответы уже спиной. Но этот человек был не таким. Вот Ольга у меня сильно болела, врачи не брались за ее лечение, руками разводили. И он, будучи уже высоким начальством и узнав о проблеме, написал записку какой-то врачихе. Иди, говорит, к ней, пусть она посмотрит: она не только врач, но и настоящая коммунистка. Признаться, от этих слов меня покорило. Но он-то в своей партийности не притворялся, видимо, убежденным был коммунистом в лучшем смысле этого слова, не в теперешнем. Не карьерист, боже упаси! И несмотря на свои высокие должности, очень простой. Жаль, погиб он при странных обстоятельствах...

Интересно преподавал у нас геологию — потом я с ним встречался по работе — Николай Константинович Чудинов. Интереснейшая личность, человек, который открыл анабиоз в калийных удобрениях. За рубежом он был бы уже академиком.

Если бы я был врожденным прозаиком, обладал даром Андрея Платонова, я бы написал прекрасный роман об этих калийщиках.

Вспоминается и другое. Будучи на практике на 2-м или 3-м курсе, чтобы как-то подзаработать, устроился помощником бурильщика. Был такой Лоскутов — бурильщик, здоровый мужик, за словом в карман не лез. Была Шура Негодина — хорошая, ловкая взрывница. Зарядила она забур, свистнула, и надо было всем в одну сторону убегать, я же метнулся в обратную по комбайновой выработке. Так вот, этот старый шахтер бросился за мной и буквально вырвал меня оттуда. Нас все-таки засыпало рудой, но уже самой мелочью. Встали, отплевались, он мне и говорит: «Теперь ты будешь жить, не погибнешь». Он всего-то раз меня видел — я собирал в шахте какие-то ящики, и вот с первого взгляда готов был жизнь отдать за человека. Под землей я встречал таких людей, на земле подобных им мне не удалось видеть. И это не какая-то литературная приписка. Горняки действительно очень интересные люди. Поэтому я очень люблю прошлое.

— *Потому так светлы и искренни Ваши стихи, когда Вы пишете о людях. Наверное, весь секрет в том, что Вы умеете видеть в человеке хорошее, необыкновенное!*

— Тут и отыскивать не надо. Не менее тысячи человек я знал, работая в течение 26 лет на солемельнице. Но подлеца встретил одного. И он не только для меня был плох, он был плох для всех. Да, бывали люди с недостатками и трудным характером, но отпетого негодяя знал одного на тысячу. Так что считайте, кого на свете больше? Если бы хороших людей было меньше половины всех живущих, то земля бы перевернулась. Добра в принципе всегда больше...

— *Алексей Леонидович, всю жизнь Вы трудились на Первом калийном, на солемельнице. Не было желания уйти, поменять работу, целиком посвятить себя творчеству?*

— Я мог уйти и, наверное, ушел бы, отработав сколько положено после учебы, в ту же редакцию газеты «Березниковский рабочий». Но, увы, меня туда не очень-то приглашали. Да и биография у меня такая, что в то время не подходила для работы в газете: год тридцать седьмой виноват. А в редакцию я бы ушел, конечно, с большой радостью.

На солемельнице работать стал не по призванию. Пошел учиться из-за большой стипендии. Мать, работая на том же калийном, получала 600 рублей, а у нас стипендия была 380.

А поступал я на специальность «геологоразведка» — потянуло на романтику. Но когда пришел в первый день на учебу, мне сказали, что на это отделение приняли только девушек-десятиклассниц. «Хочешь, иди на электромеханику». Я и пошел.

В техникуме начинал рассказы писать, в «Молодой гвардии» печатали. А потом уже появились стихи. Сейчас стихи редко пишу. Я и в хорошие-то времена стихов десять в год писал. Сейчас меньше. Другим стал. И потом, понимаете, с возрастом появляется уже другая самооценка.

А вообще пишу давно, лет 40 во всяком случае. Раньше я хотел художником стать. Рисовал для себя, тут же стирал нарисованное — мне очень нравился этот

процесс. Однажды я купил в Ленинграде очень хорошие краски, и от этого было такое настроение, что на обратном пути с поезда хотелось соскочить и скорее начать рисовать! Но пришел домой и... забросил этюдник — как отрезало, больше к нему уже не притронулся. Ну никакого желанья... Если бы я стал художником, рисовал бы, наверное, натюрморты...

*Поэзия! Странная штука:
Кому-то шутя, с кондачка,
Кому-то с немислимой мукой
Дается любая строка —*

Это из Вашего стихотворения. А Вам стихи легко «давались»?

— Да, в отличие от прозы. Сложность прозы в том, что первую фразу напишешь, а она уже начинает тебя коробить. Уже видишь — не то. Первый писатель в Березниках Андрей Ромашов — он музеем нашим заведовал — учил меня главному в прозе секрету. Например, надо тебе написать: «Я пошел в кино». Возьми ручку, обмакни в чернила и напиши. А ты макнешь и выведешь: «Я направился в кино». Так вот, главное, чтобы не было этой вычурности, а была простота и ясность в изложении. Есть и такие методы: напишут стихи, ножницами искромсают написанное, начинают улучшать, доводить до ума — а я так не могу, мне неинтересно.

— *Алексей Леонидович, когда мы по телефону договаривались о встрече, Вы сообщили, что занимаетесь рукописью...*

— А это вот «Тихое слово»². Пока, правда, не известно, какой тираж будет. Новые стихи войдут в этот сборник.

— *Как-то прозвучала у Вас интересная фраза, что в общей сложности ваш рабочий стаж в сумме превышает возраст. Не могли бы пояснить ее?*

— Учеба в техникуме и работа на солемельнице — это уже 30 лет. И примерно столько же пишу. В целом получается 60 лет, а мне 57. Можно сказать, что еще до рождения я начал трудиться. Стажу больше, чем возраста — парадокс.

— *Среди этих профессий предпочтение, наверное, отдаете последней?*

— Если бы меня взяли работать в газету, я бы стал просто журналистом. Но уж тогда бы наездился по белу свету. Потому что отец был одержимый журналист — он был сотрудником газеты «Тихоокеанская звезда» в Хабаровске. И может быть, тогда и характер был бы у меня другим.

— *Если бы вдруг пришлось «жизнь писать по-новому», с чего бы начали?*

— Во-первых, уехал бы из Перми. В городе бы не жил, а поселился бы в деревне. И только в деревне! А там видно было бы... Почему деревня? Там все естественно, не надо ничего придумывать, притворяться. Там стихи можно писать «с природы». И в людях просыпаются такие чувства и состояния, которые совершенно немислимы в городе. А во-вторых, женился бы значительно раньше...

² Позже книга получила название «Иная речь».

— *Алексей Леонидович, Вы знали много интересных людей в Березниках, в Перми, в других городах. Вас связывала искренняя дружба с Радкевичем и Давыдычевым. Но, к сожалению, сегодня «иных уж нет, а те далече». Не возникало желания написать воспоминания?*

— Я бы, конечно, написал о прошлом. Собственно, я жив только прошлым. Но если бы у меня были дети, я бы не посоветовал им литературой заниматься. В искусстве из тысяч один выходит на орбиту, но из-за этого ломается вся жизнь человеческая.

Что же касается поэзии, не сомневаюсь, что куда бы ни катилась Русь, придет изумительной силы поэт, который за всех нас, нынешних, скажет то, чего, может быть, мы не сумели сказать...

Соль земли. 1994. 28 июля

Владимир Киршин

Божий должник

Встреча с поэтом Алексеем Решетовым

Есть поэты, которые репетируют интервью непрерывно. И стихи-то их — не стихи вовсе, а бесконечные коммюнике о себе любимом. С ними легко: речь их логична, образ идеально кругл.

И есть Алексей Решетов, разрушающий схемы бесконечной и бескомпромиссной ревизией. Он неустанно вслушивается во что-то, с чем-то себя сверяет — и всегда недоволен результатом. Всегда заветное что-то остается вне слов, не попадает в их сети. И сам поэт ускользает от нашего понимания. Нам он только кажется.

Общеизвестные факты: Алексей Решетов — русский поэт, 1937 г. рождения, с 1945 года живущий на Урале — Боровск, Березники, Пермь. Написал десять сборников стихов и одну повесть о детстве «Зернышки спелых яблок» — все они получили сердечное признание читателей.

Мы встретились с поэтом накануне Дня памяти жертв политических репрессий и предполагали поговорить именно об этом. Но разговор сразу же принял неожиданное направление.

— *Алексей Леонидович, Ваши родители были репрессированы. Чувствуете ли Вы себя жертвой?*

— Никогда! Я всегда был верноподданный. Такой и сейчас. И мать моя, отсидев в лагерях, в день смерти вождя не могла работать без слез.

— *Получается... и она не была жертвой?*

Решетов пожимает плечами. Он болен. Он сидит на кровати, худой, седобородый, курит и сквозь дым, хрип и кашель читает свои новые стихи. Мы обсуждаем знаки препинания, и кажется, стихи рождаются прямо сейчас.

Не плачьте обо мне:

я был счастливый малый.

Я тридцать лет копал подземную руду.

Обвалами друзей моих поубивало,

А я еще живу, еще чего-то жду.

Не плачьте обо мне.

Меня любили девы.

Являлись по ночам, чаруя и пьяня

Не за мои рубли,

не за мои напевы, —

И ни одна из них не предала меня.

Не плачьте обо мне.

Я, сын врагов народа,

В тридцать седьмом году

поставленных к стене,

В стране, где столько лет

отсутствует свобода,

Я все еще живу —

не плачьте обо мне.

— *Сильно.*

— Пафосу много, — морщится Решетов. — Скромнее надо как-то. Нет поэзии, нету. Поэзия из стихов исчезла, превратилась в какую-то... Слова все вокруг да около.

— *Пафос можно было поубавить...*

— А не по силам, значит! Слабо. Может, я и не поэт вовсе... В сочинительстве — какое-то притворство: будто хочешь кому-то понравиться. Будто не для себя пишешь. Мученье. Потому что нет у меня собственной потребности, не хочу писать, не хочу.

— *Почему же пишете?*

— Не знаю. Не буду! Я в юности был увлечен живописью. Однажды понял, что не мое это дело, и — забросил краски. И стихи надо туда же. А какое тогда мое дело? Не знаю...

Художник может и не рисовать,

Не прикасаться кисточкой

к палитре,

Сидеть себе и водку попивать,

И утверждать, что истина

в поллитре.

Но он — художник.

Стало быть, должник

Не наш с тобой, не мэра Иванова,

Но — Господа. Он Божий ученик,

Он Божья длань

в известном смысле слова.

Ну ты хоть согласен со мной или нет, — обрывает себя Алексей Леонидович. Ему не нужен монолог, он ищет беседы. Роль мэтра ему претит.

— *Алексей Леонидович, Ваши стихи традиционны, в них нет формалистических изысков, они написаны простым, понятным русским языком. Как Вы относитесь к авангардистам, поэтам так называемой «новой волны»?*

— А что такое «авангардисты»? Есть талантливые стихи и неталантливые — это я понимаю. Все остальное — деление «наши — не наши», эпатаж, взаимные счеты — все это шелуха. Любой даже самый авангардный экстремист несет в себе традицию. Хотя бы затем, чтобы оттолкнуться от нее в своем прыжке в «незнаемое». И если он выполнит свой прыжок талантливо — он скоро сам станет традиционным, никуда не денется. Так и живем.

Алексей Леонидович жарко цитирует Брюсова, Клюева, Кальпиди, из пермских — хвалит рассказ Горлановой «Пейзаж вокруг зоны», который он скороговоркой называет «Лагерная любовь».

— *Кстати, о пейзаже. Алексей Леонидович, есть ли на свете место, по которому Вы скучаете?*

— Я родился в Хабаровске, там Амур... Мальчишками мы купались в его холодной воде, и лучше той воды — не было. Там мое детство...

Его взгляд останавливается на книгах, упакованных для переезда.

— Вот: зовут в Березники, там я начал писать стихи. Зовут в Свердловск, там живет моя жена. А в Перми обещают издать мою новую книгу... Не знаю...

Алексей Леонидович умолкает. Тема исхода, прощания — одна из главных в его творчестве. Давно хочет уехать — но куда?..

В подъезде раздается требовательный лай собаки. Алексей Леонидович вскакивает, поспешно идет открывать дверь.

Вбегает рыжий «дворянин», весь в шрамах и репьях, мельком здоровается, залезает под кровать, растягивается там и немедленно засыпает.

— Устал Милорд, — смеется Алексей Леонидович. — Набегался за девками. Знатный пес, особой породы — лайка городская. А как поет! Ну-ка, Милорд, давай вместе: в лу-у-ун-ном сия-а-ньи-и...

Милорд, как ошпаренный, выскакивает из-под кровати и пронзительно воет на лампочку.

Алексей Леонидович молодо хохочет и треплет блохастого по холке:

— Наш человек!

III

**Избранные публикации
и рецензии Алексея Решетова**

**Избранные стихи
Алексея Решетова**

Избранные публикации и рецензии Алексея Решетова

Пишем «избранные публикации» лишь потому, что в данном разделе книги помещены сохранившиеся в архиве поэта материалы. Вообще, Алексеем Леонидовичем по доброте душевной написаны сотни отзывов, рецензий, заметок и рекомендаций по поводу произведений разных авторов¹.

«Разговор о счастье» (о книге В. Радкевича)

Счастлив тот, кто идет непроторенным путем к победе. Счастлив тот, кто не боится трудностей, встречающихся на этом пути. Советская молодежь, воспитанная в духе коммунистической морали, находит свою радость в радости коллектива, видит свою победу в общей победе. Советский народ верит в дружбу, а дружба, расцветая, дает прекрасные плоды и приводит людей к счастью.

О таком настоящем и большом счастье рассказывает читателю поэт Владимир Радкевич в своем сборнике стихов «Разговор о счастье», который недавно выпустило в свет Молотовское книжное издательство¹. Первое же стихотворение «Березка», которым поэт начинает свой разговор с читателем, надолго остается в памяти:

Кто смел и молод,
пусть с любовью
Путь трудный в жизни изберет...

Эти слова звучат как призыв, заставляют задуматься о своих трудовых делах, о своем «пути в жизни». Тепло, с большим лиризмом автор нарисовал образ молодой стройной березки, стоящей на откосе над Камой. Она, «упрямо крону наклоня», стойко встречает сильные порывы ветра и тянется своими ветвями к солнцу.

...Не так ли нужно
Стоять ветрам наперекор,
Не ждать безоблачного счастья,
Подаренного нам судьбой,
А пробираться сквозь ненастье
И знать, что солнце — над тобой!

— говорит поэт.

¹ Здесь и далее — примечания Т. П. Катаевой.

² Молотов — название Перми в советское время.

К «жизни такой, чтобы с бурями слиться» призывают и другие стихи Владимира Радкевича: «Над Камой-рекой», «На ферме», «В дороге», «Призвание». Ярко рисует автор простые будни трудящихся, показывает, как люди в труде находят счастье. В. Радкевич умеет несколькими штрихами подчеркнуть особенности характера человека. Герои его стихов — не схемы с приклеенными к ним постоянными эпитетами, а живые люди. У каждого из них своя речь, свои радости и свои переживания.

В стихотворении «Соседки» автор показывает «двух милых женщин лет тридцати». Одна из них, «одетая просто, в костюме, что ею самую пошит», торопится утром на работу. Вернувшись домой, она наскоро готовит ужин, проверяет уроки у сына-школьника и, с трудом уложив его в постель, пришивает ему пуговицы к пальто. В эту минуту она украдкой вздохнет о муже-геологе, который «опять что-то ищет в тайге»... Другая соседка, услышав «гудка переливы», отправляется на базар. Все ее счастье заключается в приготовлении обеда для мужа, в беспечной болтовне с подругой. Ее не интересует, как работал муж. Ей достаточно зарплаты, которую он регулярно приносит. Эти женщины живут рядом. Но как далеки они друг от друга по взглядам!

Автор понимает, что залогом счастья в жизни, залогом созидательного труда на благо любимой Родины является мир. Поэтому в сборник стихов «Разговор о счастье» включены такие стихи, как «Каска», «Вступающему в мир» и другие. Они разоблачают поджигателей войны, стремящихся к новому кровопролитию, желающих направить людей «по старым дорогам... к новым погостам».

Читатель с большим интересом прочтет стихи Радкевича.

А. Решетов³

Березниковский рабочий. 1955. 31 мая

Поэт, солдат, патриот

(о поэзии Иосифа Уткина)

В ноябре 1944 года трагически оборвалась жизнь Иосифа Уткина, поэта-патриота. Сквозь боевые бури Иосиф Уткин пронес белозубую улыбку и большую любовь к людям. Именно эта любовь делает его произведения такими человечными, такими душевными.

О стихах Уткина можно сказать просто и точно: «они согревают». И когда закрываешь книгу, все, о чем рассказал читателю поэт, становится очень близким — и курные хаты, сгорбившиеся под метелью, в которых живут непокоренные люди, и желтые сосны над курганом, и русоголовая медсестра, склонившаяся над раненым...

³ Внештатный — член семьи врагов народа — корреспондент газеты «Березниковский рабочий».

Иосиф Уткин мастерски передает пейзаж. Он очень любит родную природу. Он умеет «подслушать» разговор белоствольных берез, умеет любоваться морозным утром, радоваться свежему ветру. Вот как удачно передана грустная красота зимней ночи в стихотворении «В дороге»:

Ночь и снег, и путь далек;
На снегу покатом
Только тлеет уголек
Одинокой хаты.
Облака луну таят,
Звезды светят скупю.
Сосны зимние стоят,
Как бойцы в тулупах.

Разговор о стихах поэта нужно начать с того, что Иосиф Уткин — поэт-воин. Он участвовал и в гражданской и в Отечественной войнах, очень много пережил, очень многое видел. На наш взгляд, как Аркадий Гайдар в прозе, так и Иосиф Уткин в поэзии сумел найти очень нужные, сердечные слова и сказал их идущим на смерть товарищам. И когда читаешь стихи Уткина, уверен, что они написаны не за письменным столом, не в кабинетной тиши.

Уткин писал на передовой. Писал, прислушиваясь к недалёким разговорам, к дыханию засыпающих после трудного дня однополчан. Читая Уткина, представляешь, как где-нибудь у землянки сидит пышноволосяный мечтатель — человек суровый и нежный. Сидит он, положив на колени блокнот, смотрит на звезды: то хмурится, то улыбается — и пишет. Именно так, только так могли родиться волнующие строчки «Заздравной песни»:

Что любит, чем дышится,
Душа чем ваша полнится,
То в голосе услышится,
То в песенке припомнится.
А мы споем о родине,
С которой столько связано,
С которой столько пройдено
Хорошего и разного!

Именно так появились гневное «Врагам!» и задушевное «Петлицы». В последнем очень ярко проявилось мастерство поэта в незначительном, на первый взгляд, случае увидеть большое умение простыми словами рассказать о радостях и переживаниях людей:

Не могли ли вы, сестрица,
Командиру услужить?
Не могли бы вы петлицы
На шинель мою нашить?
Может быть, вдали, в разлуке,
Невзначай взглянув на них,

Я с волнением вспомню руки,
Нашивавшие мне их.

Закрывая книгу «Стихи и поэмы» Уткина, с полным правом можно сказать, что он — один из лучших поэтов в ряду «хороших и разных». Он сумел «приравнять к штыку перо». Стихи его не стареют.

*А. Решетов
Березниковский рабочий. 1956. 31 окт.*

Город на ладони

Первая книга о березниковской комсомолки (В. Михайлюк «Сражение за мечту»)

У русского народа есть загадка о книге: не куст, а с листочками... Верное сравнение! Молодые, клейкие от типографской краски книжные страницы со временем желтеют, но, если книга настоящая, никогда не становятся прахом. Корни ее глубоко входят в «почву и судьбу» народа, плоды и соки приносятся многим поколениям.

Мне хочется поговорить здесь именно о такой книге, предназначенной для долгого, а не разового чтения. Называется она «Сражение за мечту», автор ее — Владимир Михайлюк.

В уральской печати В. Михайлюк известен как журналист, много лет по-рыцарски защищающий родную природу, особенно милую Каму.

Все чаще выступает он рассказчиком. В рассказах Михайлюка люди занимаются вечными земными ремеслами, сеют хлеб, строят избы, а надо — берут в руки винтовки. Панорамное изображение событий не мешает ему видеть каждое человеческое сердце, а традиционная форма подробной хроники отнюдь не противоречит обостренной совестливости писателя-современника.

Вот этот автор и написал первую о Березниках, о березниковском комсомоле книгу.

Теперь, когда наш город и комсомол носят высокие награды Родины — ордена Трудового Красного Знамени, в самый раз подытожить ратные и трудовые подвиги, оглянуться на пройденный путь, наметить новые цели. Сделать это и помогает книга Михайлюка.

У него была невероятно трудная задача: не «засушить» и не «разжижить» повествования, он выбрал самый правильный для публициста путь: вместо тройных сальто-фантазий, скрупулезно собрал редчайшие документы, бережно перенес в книгу забытые письма, ездил, беседовал с людьми, вглядывался в дымчатые любительские снимки, листал дневники — пока не заговорила сама полувековая история.

А начинается она торжественной прелюдией — сказом об «Уральском мандате». Его от имени содовиков, солеваров и ремонтников Усольской шахты в 1907 году привез делегату Пятого Лондонского съезда РСДРП В. И. Ленину Иван Дальний (К. Н. Бассалыго). Уже тогда уральцы связали свою судьбу с Ильичом...

Далее следует грозная, величавая песнь «безумству храбрых». Вот они — герои-деменевцы, «горстка красных бойцов, окруженных почти двухтысячной армией белых».

Юный разведчик Паша Поляков, зверски замученный врагами; такой же молодой Костя Шалахин, взорвавший бронепоезд, чтобы он не достался врагу. Иван Деменев — наш уральский Железняк — наш коммунист, матрос с Балтики. Еще одна «морская душа» — Ваня Шерстобитов с корабля «Рюрик», балтийцы Ямов и Дружинин, штурмовавший Зимний Федор Деменев. Наконец, вся ленвенская молодежная ячейка.

Хотели ленвенцы, чтоб их ячейка, «развивалась и процветала», а «процветать»-то и не пришлось. Выпало в огненном кольце отбивать вражьи цепи, на смерть стоять без надежды на помощь в жестокой зимней тайге.

Но 7 декабря 1918 года в Перми командарм 3-й армии Берзин напишет приказ: «...Преклонитесь же все, как преклоняюсь и я, перед павшими в этом бою, ибо их подвиг — прекрасное безумство и великая жертва, принесенная на алтарь трудового народа. Только жертвуя всем, можно получить все! Вечная память павшим в неравном бою! Вечная слава живым!»

ТАК девятый вал гражданской войны качал колыбель березниковского комсомола. Он не захлестнул, а вынес ее на «березовый остров», на первые стройплощадки Химграда.

«Прыгающие пустые вагоны по Луньевской ветке — топи не топи — промерзали насквозь, шляпки железных гвоздей внутри вагона похожи на пампушки хлопка». Так ехали к нам в 29-м году первые добровольцы.

Вот что вспоминает бывший председатель комсомольской коммуны, бригадир и комсорг, ныне известный кинооператор Яков Константинович Сморнов:

«...А наши мальчишки (после трехдневной непрерывной работы, когда бетонировали очистку) до того устали, что те, кто решил отдохнуть, сразу же уснули мертвецким сном. Мы остановили свободные подводы, уложили спящих и повезли домой». «Великой эпохи нагрузка» — так писал в «Ударнике» один безымянный поэт.

Обаятельный образ Человека с большой буквы — первого секретаря Березниковского райкома партии Вагана Пирумовича Щах-Гильдяна дан в начале повести.

«Рассказывают, что от него никогда не слыхали прямого и тем более резкого приказания. В беседе с ним всегда создавалось впечатление, будто он не вмешивается в твои дела. Просто иногда слегка поправит, с кем-то согласится, с чем-то нет. Но в результате дело оказывалось решенным так, как надо, и решение вытекало из совместных рассуждений».

Его бессонницам, отваге бригад Вотинова и Ардуанова и обязана молодая советская химия...

Читая первые главы, невольно тревожишься, сможет ли автор хоть как-то уравновесить ярчайшие судьбы и яростные прекрасные характеры времени гражданской войны делами и образами первостроителей?

Тревога эта напрасна. На смену «деменевцам» в тех же таежных местах появляются «коноваловские ребята». По медвежьим трущобам, по гиблым топям, где воздух густо наперчен гнусом, по всему Верхнекамью они без всяких средств, «на одном энтузиазме» ищут сернистый кальций, медь, известняк...

И пишет неугомонным березниковцам Николай Островский: «Привет вам, мои молодые товарищи, вы деретесь не хуже нас. И когда надо будет взяться за оружие, то вы покроете себя неувядаемой славой».

Он хорошо видел, этот слепой писатель. Грянула Великая Отечественная война, березниковский характер, чья главная черта — идти без приглашений в самую круговерть событий, — остается верен себе.

Из давнишнего разговора автора книги с Сергеем Никитичем Трудовым:

«Если бы вы видели, что творилось в военкомате и в горкоме партии во время войны! Паломничество. Люди уходили на фронт целыми семьями. Я никогда не забуду: подходит ко мне в коридоре один парень и требует справедливости. “А в чем дело?” — спрашиваю. — “А в том, — отвечает — что моего дружка так приняли в армию, а он слепой, а у меня, видите ли, плоскостопие нашли”. Братья Красноборовы, Вера Бирюкова, Сергей Даньшин... Нет цены, нет забвения этим людям...»

В наши дни Березники — город всесоюзных ударных строек. Его комсомолия не покладает рук, не сбавляет шага. Город думает не только о себе — это он помог Таганрогу залечить военные раны, это его сыны строили Варшавский дворец и Димитровский химический комбинат.

Впрочем, интернациональной дружбе березниковцев — много лет. Как маленький драгоценный камешек, мерцает в книге легенда о бойце интернационального отряда Иштвине Мишко и женщине с русским именем Ольга... «С тех пор, как убили ее мужа, который, говорят, играл на скрипке, каждый вечер она берет ее в руки...

Уже полвека играет скрипка. О чем же она рассказывает, о чем поет? О любви, которая вечна? О тех, кто отдал жизнь, сражаясь за счастье?»

Одной из лучших глав кажется мне дурыманский дневник автора, лично покорявшего соль земли. В нем какой-то обоюдоострый взгляд — и в себя, и на окружающую действительность. Представьте себе, меж личностью и обществом нет распрей, как нет проблемы между детьми и отцами. Одно у нас дело.

Не все золотые имена вошли в книгу, но автор — один ради многих — проделал колоссальную работу.

Бывали ли вы на шкивных площадках? С высоких шахтных копров котлы с

асфальтом — не больше кофейных чашечек, груды белого кирпича кажутся горсточками рафинада. И весь город — как на ладони. Таков он и в книге Михайлюка.

*А. Решетов
Советская Россия. 1971*

Только детские книги читать...

(о книге Ирины Христулюбовой «Загадочная личность»)

«Только детские книги читать...» — эти изумительные мандельштамовские строки то и дело приходили на память, когда читал я книгу Ирины Христулюбовой «Загадочная личность», недавно вышедшую в свет в Пермском книжном издательстве.

Название этой книги и сразу, а тем более по ее прочтении, показалось мне не столь ироничным, сколько серьезным, несущим в себе глубокий смысл.

Да, героиня всех рассказов Христулюбовой Маша Веткина, двенадцати-тринадцатилетний подросток, действительно личность — загадочная, незаурядная, сложная, с тончайшими, как бы перламутровыми переливами настроения; равновеликие сомнения и убеждения делают эту натуру цельной и гармоничной.

Героиня смотрит на мир ясными, неутоленными глазами и, пожалуй, куда более нас, взрослых, верит в предназначение человека творить добро, в чистую силу любви и дружбы, и самое главное — не только в возможность, но и неизбежность чуда.

Именно с мечты героини начинается первая книга Христулюбовой:

«Хорошо бы стать невидимкой. Но это невозможно. А еще лучше — инопланетяжкой! Все думают, что я Маша Веткина, ученица 5 «в» класса, а на самом деле я инопланетянка. У меня в голове совсем другое, чем у всех. Но инопланетяжкой стать тоже невозможно».

Безнадежность это или стойкость веры, веры истинной, далеко не всегда подкрепляемой действительностью, очевидностью? Невозможно одно чудо — возможно другое! Можно стать «загадочной личностью», чтобы в черном развевающемся плаще скакать, погоняя коня, кому-то на выручку. Можно стать «прославленной вольтижеркой в прославленном цирке» и летать высоко под куполом, как мальчик Ромео. Ах, и этого нельзя? Ведь родители решили за тебя, что ты будешь экономистом. Тогда можно — хотя бы во сне! — плавать вместе с Рыжиковым в Северном Ледовитом океане — «не на теплоходе, не на лодке, а как рыбы...».

Быть не как все Маше Веткиной хочется не из худых побуждений, не из глупого тщеславия, которое обуревает, например, ее одноклассника Кошкина. Главный пункт ее «загадочности» — защита угнетенных.

Если Кошкину «негде было проявить свои душевные качества», так как убежавший мышонок больше не угрожал любимой учительнице, то для Маши ежеминутно, на каждом шагу открывается возможность творить добро в этом не совсем устроенном мире.

«Мне давно хотелось иметь компас. Но мама сказала, что я и так не заблужусь. А по-моему, очень важно узнать, что если вот по этой тропинке идти, идти, идти, то придешь на Северный полюс. Или на Южный».

Чуткое сердце лучше всякого компаса. Жалость, милосердие интуитивно подталкивают Машу к острым социальным проблемам.

В рассказе «Старший брат Геня» девятиклассники шефствуют над теми шестиклассниками, у которых нет братьев и сестер. Шефы становятся их названными братьями и сестрами.

И вот торжественная первая встреча. «На следующий день девятнадцать (!) детей-одиночек из нашего класса собрались в актовом зале... Почему-то сестер было гораздо больше, чем братьев...» Право, есть тут над чем призадуматься не только Веткиной...

Но все-таки кто же эти «все», на кого не хочет походить Маша?

Это мы с вами, взрослые люди, со своими лобовыми назиданиями, своим поверхностным вниманием или назойливым попечительством, убежденностью в своей непогрешимости и прозорливости, в своей педагогической гениальности, так надоевшие детям, что им поневоле хочется стать инопланетянами.

Все — это двоюродная тетя Олимпия с ее расхожими сентенциями вроде «цирк — искусство миллионов», это «мыслитель» сухарь Сергей Афанасьевич. И, конечно, примкнувшие к ним старички и старушки, вроде прирожденного начальника Кошкина и «депрессированной» девочки Тани («Я даю слово, что мой портрет будет висеть на Доске почета!»). Все — это люди, незыблемо убежденные, что $A + B = C$. Маша в этом далеко не уверена, за что и получает двойку.

— Что же это за героиня? — спросите вы. — Она только мечтает, сомневается, занимается самокопанием.

Но еще Сократ призывал познать себя, т. е. заниматься «самокопанием». Ругайте заодно и его! Он ли в чем-то не сомневался? Но ведь сомнение — двигатель прогресса. Самоанализ — путь к воспитанию чувств, к нравственному совершенству.

Мечтательность не мешает Маше Веткиной совершать решительные поступки. Ведь прыгает же она с высоченного сарая, рискуя жизнью, как это требовали условия, казалось бы, шуточной «дуэли»!

В лучшем, на мой взгляд, рассказе «Улетают мои вольтижеры» Маша Веткина записывает на промокашке свои первые стихи:

Улетают мои вольтижеры,
Ловиторы не ловят меня.

Не так ли исчезают наши мечты и надежды, отдаляются и тускнеют идеалы, и некому поддержать тебя в трудную минуту?

«Моя качель ждала меня. Моя качель, моя трапедия под куполом цирка! Вот я раскачиваюсь — раз-два, раз-два — и лечу! Лечу высоко над куполом. Как птица. Раскинула руки — и лечу!» (Опять мне припомнились строки Мандельштама: «Я качался в далеком саду на простой деревянной качели...») Какое счастье, какой непритворный душевный кризис теперь у этой веселой в общем-то героини!

«И тут я представила, как всю жизнь качаюсь на качели — одна, в этом забытом всеми сарае. Лет пятьдесят уже прошло, уже Капустин с палочкой ходит, уже сестра Дуся по ночам кашляет, моя первая любовь Валька Кошкин знаменитым начальником стал, а я все качаюсь на этой качели...»

Но мне, прочитавшему уже всю книгу, хочется утешить Машу: погоди, скоро появится у тебя старший брат Геня. И вы с ним окажетесь вдаль от суеты и шума в старом парке у маленького озера. И вы будете лежать на земле, внимая таинственному шепоту природы, и не будет людей счастливее вас в мире.

«И сразу стало так хорошо. Лежу, смотрю на небо сквозь желтые и красные листья. Небо высоко. И чувствую, что земля — шар. А я очень даже мало места на нем занимаю. Он плывет себе в пространстве, а я лежу на нем, покачиваюсь».

Не это ли тот самый «восторг от созерцания бесконечной жизни мира», о котором говорил Циолковский? Он же говорил, что «знание жизни Вселенной, понимание себя, как ее части, дает человеку радость и спокойствие»...

Пермской детской литературе всегда везло. Вспомним хотя бы книги В. Астафьева, Л. Давыдычева, Л. Кузьмина, А. Домнина. И вот еще одна замечательная книжка — «Загадочная личность».

В книжке Христороубовой нет ни заданной морали, ни нарочного вымученного юмора, она умеет искренне удивляться тому, что взрослыми давно уже открыто, но, к сожалению, забыто, у нее такой же зоркий «незаболоченный» взгляд на вещи, как и у ее героини... Думаю, что ее книга понравится и запомнится детям. А мне, человеку далеко не молодому, она не только понравилась. Она помогла мне «из глубокой печали восстать» на какое-то время.

*А. Решетов, член Союза писателей СССР
Березники. «Молодая гвардия». 1982. 5 мая*

Откровения в час Сатаны

(о книге Нины Бойко «На тот большак»)

В издательстве «Пермская книга» благодаря спонсору — акционерному обществу «Метафракс» — совсем недавно вышла в свет книга Нины Бойко «На тот большак».

Я внимательно прочел эту книгу и от души порадовался, что на нашей уральской земле появился новый талантливый прозаик — неведомая женщина из Губахи, из поселка Северный.

И в аннотации о ней как-то снисходительно-осторожно говорилось: «Автор книги — не профессиональный литератор. Взявшись за перо, она не ставила своей целью удивить мир...» Не знаю, как мир, но меня она удивила двумя гранями своего дарования — исключительной правдивостью и высокой простотой повествования.

Героиня ее повести Анна «вышла за Петю из-за сиротской тоски и неприкаянности». После «целонедельной кабалы за швейной машинкой», как о чем-то несбыточном, она мечтает посидеть на лесной полянке.

Война. Барачное детство, голодуха, холодина, смерть чахоточной матери, ранний труд на заводе: «И зарабатывали они (Анна с братом. — *А. Р.*) свой хлеб, стуча по гвоздям и по пальцам до радужных кругов перед глазами». «Фабрика дала крупу, белые мешки из-под сахара, сделала гроб» (это когда умерла мать).

Муж Анны — Петр часто изгаляется, бьет жену, норовит по губам, больше. Штрафбат во время войны, десятилетний лагерный срок за тыловую крысу — сделали его зверем. «Петр, не раз чудом убереженный от смерти, сам не понимал, была ли щедрой судьба, спасая его, или смерть стала бы избавлением...»

«Самой, что ли, повеситься? Выйти будто в уборную и на коровьей веревке удавиться?» — мечтает о таком же избавлении Анна.

А мальчик, заживо сварившийся в кипящей бурде, заводских отходах, которые для скотины брали поселковые жители?..

А свекровь Анны, чуть не закопавшая восьмого, грудного ребенка в овраге, чтоб избавиться от лишнего рта?

Что это — все «лишние люди», как они сами себя в отчаянии называют? Что это — простолюдины, чернь, обыватели, массы, дно людское — как они именуется в словарях?

Что же тогда ядро человечества? Почему поверхностный слой — знать, избранники народа, выходцы из народа, почему они высасывают последние силы из этого ядра?

Покладистый читатель примирительно скажет: — Но ведь была война, был культ личности. Зато теперь...

Что происходит теперь, буквально с 87 года по сей день, показано с бесхитростной прямоотой в другом произведении Бойко «Камни на Лысой горе». События совершаются в Грузии, отделившейся от России. Автор — не сторонний наблюдатель: он сам и участник, и жертва событий, Все факты, все катаклизмы роковой перестройки, конечно, сохраняются в пожелтевших подшивках газет. Но живые человеческие чувства окаянного времени открываются лишь в подобных книгах. С каждым днем возрастает их историческая ценность. Мы-то, современники, сами кое-что видели, знаем. А вот читатели нового века за такие книги уцепятся.

У Нины Бойко были великие предтечи — Андрей Платонов, Михаил Булгаков, Шукшин, Высоцкий, наконец. Они не скатывались до угодливого соцреализма и не позволили сделать это Бойко. Но несмотря на свою суровую правду, которая перестраховщикам может показаться чрезмерной, переизбыточной, книга очень поэтична.

Летняя «теплая тишина», осенняя «ранимая тишина». «Толстые пушистые шмели, как козлята, радостно блеют, зарываясь в цветы, в нектар». «Воздух голубой, видимый...» «Как швейные машинки, строчили лягушки в канаве». «Я обрывала листочки остроконечные, с очаровательными хвостиками». Так она иногда видит мир, «растворяясь своей молодостью в огромном и вечном».

Увы, мажорные ноты исчезают, хотя поэзия остается:

«Я кусала косточки на сжатых кулаках, мне было жутко»; «Тоска заранее облепила сердце, как сырая глина»; «Боль снова обнажила волокна нервов — как дерновый пласт перевернули».

«Ты думаешь, я овца безропотная?» — гневно спрашивает она обидчика и признается: «Если бы я захотела вырваться из клетки, то подставляла бы свой лоб и ломала бы свои зубы...»

Она так и делает, не прячась за чужой спиной, не выжидая, чья возьмет, прямо говорит, что перестройка по своему кровопролитию, по обнищанию народа, бездомности, неуверенности в завтрашнем дне — очень напоминает Великую Отечественную...

— Хорошо-то как! Родина слаще меда! — такой сладкий вздох вряд ли вырвется у кого-то теперь, в «час Сатаны». Скорее прозвучит гневный вопль:

— Почему Россия, жемчужина, изгажена по уши, почему людидохнут от химии, едят черт знает что, да и то по нормоталонам?..

«Человеку, говорят, высший разум дан, только к чему он, если нет совести?»

*Алексей Решетов
Звезда. 1996. 10 апр.*

Рецензия на стихи А. Манжосова (из неопубликованного)⁴

В Березниках с поразительной быстротой вышли в свет две поэтические книги А. Манжосова — «Зодиак» и «Монологи» (издательства «Элита» и «Уралвест»). К обеим книжкам написаны восторженные бурно-пламенные и не совсем грамотные предисловия. Одно из них написал И. Тюленев — «поэт, член Союза писателей России, лауреат Всесоюзного конкурса им. Н. Островского» («лауреат многочисленных всесоюзных литературных премий»), как он сам себя представляет в собственном сборнике «Небесная Россия»). Вот фрагменты из тюленевского напутствия:

⁴ Данная рецензия не была опубликована из этических соображений Алеши и по его доброте душевной — из-за его нежелания затронуть самолюбие своих березниковских и пермских друзей-соратников по перу. Но очень хотелось. Помню, как он в Перми «бурлил» по этому поводу.

«Творчество поэта А. Манжосова весьма разнообразно... Выдержано в духе классических традиций... создает особый индивидуальный стиль... знатоки поэзии смогут заметить... его творения (?) гармонично вписываются в нашу современность.

...Для значительной части сборника характерна склонность к философским обобщениям и медитации *при доступной простоте* изложения, многие стихи индикативны, аллегоричны. Имеют глубокий подтекст.

Несмотря на то, что поэзия А. Манжосова *доступна пониманию* основной массе читателей, *она рассчитана на любителей поэзии зрелого возраста*, где талант поэта обретает круг постоянных и верных почитателей».

Я не такой «знарок поэзии», от имени которых говорит Тюленев, но, безусловно, «любитель поэзии зрелого возраста». И весьма «своеобразное» творчество Манжосова меня заинтересовало. Тем более, что и другой поэт, П. Петухов, не менее восторженно пишет о том же самом: «Постепенно поэт постигал индивидуальные особенности *своего* таланта, *свою* манеру, *свой* стиль... которые позволяют поэту обращаться с материалом свободно и вдохновенно».

Примеры такого «свободного» обращения с материалом хочется здесь привести. Чтобы вы могли сами судить, как «кропотливо анализировался опыт великолепной плеяды... производились попытки изобрести магический сплав поэзии будущего». Вот эти гениальные попытки — в сравнении с «несчастливыми и убогими первоисточниками». Наберитесь терпения.

Максимы А. Манжосова (1993 г.) и максимы Франсуа де Ларошфуко (середина XVI века):

Разлука студит сильный жар,
Но сильную любовь укрепит.
Вот так свечу погасит сильный ветер,
А из огня раздует он пожар.

(Манжосов — «Зодиак», стр. 156)

«Разлука ослабляет легкое увлечение, но усиливает большую страсть, подобно тому, как ветер гасит свечу, но раздувает пожар».

(Ларошфуко, максима (далее — м.) 276, стр. 65, издательство Х. Л. 1974 г.)

Пороку одному не отдавайся долго.
Не забывай — ведь у тебя их много.

(Манжосов, стр. 157)

«Всецело предаваться одному пороку нам обычно мешает лишь то, что у нас их несколько».

(Ларошфуко, стр. 55)

Герои есть у зла и у добра —
Жизнь наша всесторонняя и мудра.

(Манжосов, стр. 157)

«Зло, как и добро, имеет своих героев».

(Ларошфуко, м. 185, стр. 54)

Порок души похож на рану:
Она готова, сколько не лечи,
Открыться, поздно или рано.

(Манжосов, стр. 159)

«Пороки души похожи на раны тела: как бы старательно их не лечили, они все равно оставляют рубцы и в любую минуту могут открыться снова».

(Ларошфуко, м. 194, стр. 55)

Нам бог благую гордость дал,
Чувствительное к счастью сердце,
Чтоб как-то устранить печаль
При мысли о несовершенстве.

(Манжосов, стр. 157)

«Природа, в заботе о нашем счастье, не только разумно устроила органы нашего тела, но еще подарила нам гордость — видимо, для того, чтобы избавить нас от печального сознания нашего несовершенства».

(Ларошфуко, м. 36, стр. 37)

Мы любим ближнего судить
Не для того, чтобы исправить,
А чтобы собственную святость
В глазах виновных утвердить.

(Манжосов, стр. 157)

«Не доброта, а гордость обычно побуждает нас читать наставления людям, совершившим проступки; мы укоряем их не столько для того, чтобы исправить, сколько для того, чтобы убедить в нашей собственной непогрешимости».

(Ларошфуко, м. 37, стр. 37)

Ты никогда не будешь ловок,
Поскольку хочешь быть *таковым*.(?!)

(Манжосов, стр. 159)

«Желание прослыть ловким человеком нередко мешает стать ловким в действительности».

(Ларошфуко, м. 199, стр. 55)

Влюбленным некогда скучать, —
Ведь о себе они друг другу
Без передышки говорят.

(Манжосов, стр. 159)

«Любовники только потому никогда не скучают друг с другом, что они все время говорят о себе».

(Ларошфуко, м. 312, стр. 69)

Услужив неблагодарному, не уронишь ты лица.
Больше нет несчастья страшного,
Чем услуга подлеца.

(Манжосов, стр. 156)

«Невелика беда — услужить неблагодарному, но больше несчастье — принять услугу от подлеца».

(Ларошфуко, м. 327, стр. 69)

Каясь в мелких недостатках,
Убедить желаем свет,
Что больших пороков нет.

(Манжосов, стр. 160)

«Признаваясь в маленьких недостатках, мы тем самым стараемся убедить окружающих в том, что у нас нет крупных».

(Ларошфуко, м. 327, стр. 70)

Труднее верность сохранить
Не той, которая нас мучит,
А той, что счастье нам дарит.

(Манжосов, стр. 160)

«Труднее хранить верность той женщине, которая дарит счастье, нежели той, которая причиняет мучения».

(Ларошфуко, м. 331, стр. 71)

Закон приличья — о себе ни слова.
Но каждый скажет о себе.

(Манжосов, стр. 159)

«Всем достаточно известно, что не подобает человеку говорить о своей жене, но недостаточно известно, что еще меньше ему подобает говорить о себе».

(Ларошфуко, м. 364, стр. 74)

— Что лучше, — женщину спросили, —
Красивой быть, немолодой,
Иль молодой, но некрасивой?
Вздыхнула женщина в ответ...
И до сих пор ответа нет.

(Манжосов, стр. 156)

«Быть молодой, но некрасивой так же неутешительно для женщины, как быть красивой, но не молодой».

(Ларошфуко, м. 497, стр. 88)

Кто позволил Манжосову обезображенные, искалеченные максимы Ларош-

фуко выдавать за свои собственные? Восторженные и безответственные рецензенты? Художественный редактор Ю. Марков?

Но продолжим наши сравнения. Они ясно говорят не только о низком поэтическом даровании березниковского сочинителя, но и о его слабых читательских возможностях.

Куда б стезя нас не вела,
Она к началу возвращалась.
В конце Добра — начало Зла.
Где Злу конец — Добру начало.

(Манжосов, стр. 155)

«Где конец добру, там начало злу, а где конец злу, там начало добру».

(Ларошфуко, м. 519, стр. 93)

На старости любви, как и на склоне лет
Еще в скорбях живут, но наслажденья нет.

(Манжосов, стр. 160)

«На старости любви, как и на старости лет, люди еще живут для скорбей, но уже не живут для наслаждений».

(Ларошфуко, м. 430, стр. 81)

Мы помним, что случилось с нами,
Но не запомним, сколько раз
Об этом мы вели рассказ.

(Манжосов, стр. 160)

«Почему мы запоминаем во всех подробностях то, что с нами случилось, но не способны запомнить, сколько раз мы рассказывали об этом одному и тому же лицу?»

(Ларошфуко, м. 313, стр. 69)

Невинность покровителя найдет,
Но преступленье — десять обретет.

(Манжосов, стр. 161)

«Насколько преступление легче находит себе покровителей, нежели невинность!»

(Ларошфуко, м. 465, стр. 85)

Очень трудно среди женщин
Отыскать на свете ту,
Все достоинства которой
Пережили красоту.

(Манжосов, стр. 161)

«Мало на свете женщин, достоинства которых пережили бы их красоту».

(Ларошфуко, м. 474, стр. 86)

Наш ум ленивее, чем тело,
И он всегда у сердца в дураках.
Уж лучше от своих ошибок пасть,
Чужая воля — худшая напасть.

(Манжосов, стр. 161)

«Наш ум ленивее, чем тело».

(Ларошфуко, м. 487, стр. 87)

«Ум всегда в дураках у сердца».

(Ларошфуко, м. 10, стр. 44)

В данном случае Манжосов не только курочит смысл и форму Ларошфуко, но и переставляет местами его максимы и группирует их на свой вкус и лад.

Прекрасные творения должны
Нести в себе чуть-чуть несовершенство.
Творенья идеальные скучны!

(Манжосов, стр. 159)

«Иной раз прекрасные творения более привлекательны, когда они несовершенны, чем когда слишком закончены».

(Ларошфуко, м. 627, стр. 107)

Ах, как тонко и алогично с Ларошфуко мыслит и автор предисловия к «Монологам» П. Петухов: «Это был период поэтического усовершенствования, поэтому и написано неровно, но эта неровность как раз и оживляет общий фон книги, ибо ничего нет мертвее, чем идеальное произведение, завершенность которого, не дает возможности двигаться вперед»...

Философ царствует над будущим и прошлым.
Сегодняшнее царствует над ним.

(Манжосов, стр. 160)

«Философия торжествует над горестями прошлого и будущего, но горести настоящего торжествуют над философией».

(Ларошфуко, м. 22, стр. 35)

Сломить нас может личная беда.
Несчастье ближних вынесем всегда.

(Манжосов, стр. 155)

«У нас у всех достанет сил, чтобы перенести несчастье ближнего».

(Ларошфуко, м. 19, стр. 35)

Нельзя в упор смотреть
На солнце и на смерть.

(Манжосов, стр. 155)

«Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор».

(Ларошфуко, м. 26, стр. 36)

«В неодолимой жажде к внутреннему самоусовершенствованию» Манжосов «преобразует» не только максимы Ларошфуко, но и мысли Паскаля, создавая неувядающие «цветы ренессанса»:

Есть праведник, который полагает,
Что он в грехи сплошные погружен.
И грешник есть, что искренне считает,
Что праведнее всех один на свете он.

(Манжосов, стр. 155)

«Люди делятся на праведников, которые считают себя грешниками, и грешников, которые считают себя праведниками».

(Паскаль)

В своем предисловии Петухов пишет:

«Автора в городе не знают! Настолько мы глухи к душевным проявлениям в жизни общества, что не подозреваем о существовании рядом с нами активно действующего в течение многих лет замечательного поэта, которым город может гордиться».

Не знаю, может ли город гордиться своими литературными жуликами, ворами, плагиаторами. Но знать о них должен... Пахнут воровством и все «даосизмы» Манжосова...

А. Решетов

Избранные стихи Алексея Решетова

Знакомая запевочка
Слышна издалека,
Неведомая девочка
Идет от родника.
А ветер вьется около,
Горят цветы кругом...
В одном ведерке — облако
И солнышко — в другом...

1958

Дворик после войны

Мирный дворик. Горький запах щепок.
Голуби воркуют без конца.
В ожерелье сереньких прищепок
Женщина спускается с крыльца.
Пронеслось на крыльях веретешко —
То есть непоседа стрекоза.
Золотая заспанная кошка
Трет зеленоватые глаза.
У калитки вся в цвету калина,
А под ней — не молод и не стар —
Сапогом, прошедшим до Берлина,
Дядька раздувает самовар.

1960

Настали дни суровые,
И спрятаться спешат
Под шали под пуховые
Сережки на ушах.

В лесу озябла клюквинка,
Меж кочек лед блестит,
И пар идет из клювика,
Когда снегирь свистит.

1962

Михайловское .

И не видать в окне Россию,
Всю погруженную во мглу,
И только перышком гусиным
Скрипит сверчок в своем углу.
И льются нянюшкины песни,
Как будто слезы по щеке,
И драгоценных женщин

перстни

Горят на пушкинской руке.
И на одной из стен лачужки
В глухом неведомом краю
Тень стихотворца

тенью кружки

Пьет участь горькую свою.

1962

Убитым хочется дышать.
Я был убит однажды горем
И не забыл, как спазмы в горле
Дыханью начали мешать.
Убитым хочется дышать.
Лежат бойцы в земле глубоко,
И тяжело им ощущать
Утрату выдоха и вдоха.
Глоточек воздуха бы им
На все их роты, все их части,
Они бы плакали над ним,
Они бы умерли от счастья!

1963

Все равно, в каком аду —
Этом или том.
Все равно под чью дуду
Быть шуту шутом.
Лишь бы ты меня ждала
С вечною тоской
И бубенчики рвала
Белую рукой.

1964

Я снова русской осенью дышу,
Брожу под серым солнышком осенним,
Сухой цветок отыскиваю в сене
И просто так держу его, держу.
Я говорю: отыскивай, смотри,
Пока не в тягость дальняя дорожка,
Пока вкусна печеная картошка
С еще сырым колесиком внутри.
А между тем зима недалеко,
Уже глаза озер осенних смеркли,
Лишь вены на опущенных руках
Еще журчат, еще перечат смерти.

1965

Нет, ты любовью не зови
То, что на самом деле было
Простым предчувствием любви:
Не замело, не ослепило.
Ведь на пустой осенний берег
И воду черную у берега
Сначала падает не снег,
А только слабый запах снега.

1965

Мама

Ты слышишь, мама, я пришел —
Твой милый мальчик, твой Алеша.
Нигде я, мама, не нашел
Таких людей, как ты, хороших.
Руками желтыми всплесни:
Какое солнце над востоком!
Не бойся, мама, мы одни
На этом кладбище жестоком.
Уж сколько зим — не знаю сам —
Скребется вьюга по окошку.
А ты все бродишь по лесам,
Сбираешь ягоду морошку.

1965

Сапожник допился до белой горячки,
Поэт дописался до белых стихов.
И белая пена в корыте у прачки —
Как белые овцы у ног пастухов.
И белые стены покрашены мелом,
И белый из труб поднимается дым,
И белый наш свет называется белым —
Не черным, не розовым, не золотым...

1965

Пора замаливать стихи,
Стихи замаливать пора мне,
Встав за кузнечные мехи
Или обтесывая камни.
Откуда знать, в конце концов,
Быть может, я ценою муки
И отыскал свое лицо,
Но потерял при этом руки.

1966

Родная!

Опять високосная стужа
Хватает за горло средь белого дня.
Пойди за меня, назови меня мужем,
Вдвоем веселее.

Пойди за меня!

Я буду вставать далеко до восхода
И ну — за работу, судьбу не кляня.
Я буду кормить тебя ивовым медом
И хлебом пшеничным.

Пойди за меня!

Не варит мне матушка зелья —
забыться,
Не дарит мне батюшка резва коня —
Лететь и лететь во весь дух —
и разбиться

О камень горючий.

Пойди за меня!

1969

На берегу дороги дальней,
Седой бродяга, блудный сын,
За голос матушки печальной
Я принимаю шум осин.
Я в черный день не без призора:
И в чистом поле небеса,
И во сыром бору озера —
Ее усталые глаза.
Я глажу реденькие злаки,
Внимаю шороху ветвей,
И хорошо мне, бедолаге,
С бессмертной матушкой моей.

1970

В гостинице, в номере «люкс»,
Сижу, завываю, как люпус¹,
И на передвижников злюсь:
Зачем увеличивать скуку?
Как славно написана рожь,
Как вольно она колосится!
Как жаль, что сюда не войдешь
В обнимку с молоденькой жницей.
Ты только что встал на постой,
Прилег на казенной постели —
Приходит Саврасов седой,
Грачи, говорит, прилетели.

1970

Скоро снега седенькие лягут,
Волки пьют вино из волчьих ягод,
И стоят осинки на ветру,
Красные,
как гибель на миру.

1970

Прозрачен купол небосвода.
Леса окрестные цветут.
Откуда жалоба удода:
Тут худо, худо, худо тут!
Быть может, семечком несладким
Он опалил свое нутро,
Или мальчишка из рогатки
Переломил ему крыло.
Но справедливая природа
В саму себя не влюблена,
И словно вещего юрода,
Удода слушает она.

1970

¹ Волк (лат.)

Опять зима, опять мороз.
Крахмальный скрип
 сухого снега.
Куржак на веточках берез.
Дымок над кровом человека.
И солнце —
 яркое до слез.

1973

От кирпичного завода
На кожевенный завод
Заунывная подвода
По лесам меня везет.
Вот и первые снежинки
Начинают угрожать:
Не сумели паутинки
Дней погожих удержать.
То исклеванный шиповник,
То нахохленный стожок.
И вздыхаешь, как виновник,
Будто мог, да не помог.
Будто эта холодина,
Эта дрожь листвы рябой,
Эта грустная картина
Нарисована тобой.

1974

Поздняя осень. Дожливо. Темно.
Только волшебный горшочек герани
Радует нас сквозь чужое окно,
Все остальное —
 терзает и ранит.
Солнце все дальше от знака Весов.
Вялые воды струятся все тише.
Вниз головой, как летучие мыши,
Спят отражения черных лесов.

1974

Я был пацаном голопятым,
Но память навек сберегла,
Какая у нас в сорок пятом
Большая Победа была.
Какие стояли денечки,
Когда, без вина веселя,
Пластинкой о синем платочке
Вращалась родная земля.

1975

Пускай себе шумная слава
Меня не задела крылом.
И я своей строчкой корявой
Пытался бороться со злом.
Пускай опускаются руки
И голову трудно поднять,
Но в черном предательстве внуки
Не будут меня обвинять.
Пускай не могу веселиться
Без доброй бутылки вина,
Но Пушкин в глазах не двоится
И родина в сердце одна.

1977

Заколочены дачи.
Облетели леса.
Дорогая, не плачьте,
Не калечьте глаза.
Все на свете не вечно —
И любовь, и весна.
Только смерть бесконечна,
Тем она и страшна.

1978

Ирине

Нежданная пирушка.
В кармане ни гроша,
Но так и ходит кружка,
От уст к устам спеша.
Хозяюшка — простушка,
Хозяин — вертопрах.
Но мудрая кукушка
Живет у них в часах!
И вот уже мы встали,
И вот уже ушли
В неведомые дали
Без неба и земли.

1986

Не сказка ли это?
Вино при свече,
Одна на двоих сигарета,
Твоя голова у меня на плече
И вьюга, поющая где-то.
И вот мы выходим под снег на балкон
Нагие —
 чтоб вновь удивиться,
Как может ни разу не снявшийся сон
Нежданно-негаданно сбыться.

1987

Собрать бы последние силы,
Склониться над белым листом
И так написать о России,
Как пишут о самом святом.
Она тебе зла не попомнит.
Попросишь прощенья — простит.
Настанет твой час — похоронит.
Придет пора — воскресит.

1988

На глазах у меня умирала,
Уходила на вечный покой.
Край у простыни перебирала
Непослушной прозрачной рукой.
Вот и все, что осталось от милой.
Только тело, подобное льду.
И стою я над свежей могилой,
Своего подселения жду.

1996

Снег лежит ещё, не тает,
Только снится нам трава,
И морозец доедает
Запасённые дрова.

<1996–97>

Виктору Астафьеву

Не плачьте обо мне:
я был счастливый малый.
Я тридцать лет копал подземную руду.
Обвалами друзей моих поубивало,
А я еще живу, еще чего-то жду.
Не плачьте обо мне. Меня любили девы.
Являлись по ночам, чаруя и пьяня
Не за мои рубли, не за мои напевы.
И ни одна из них не предала меня.
Не плачьте обо мне.
Я, сын «врагов народа»,
В тридцать седьмом году
поставленных к стене.
В стране, где столько лет
отсутствует свобода,
Я все еще живу. Не плачьте обо мне.

1997

Все меньше друзей остается.
Все больше уходит во тьму.
А сердце по-прежнему бьется,
Как будто не больно ему,
Как будто мне сладко живется
На свете, почти одному.

1998

Оле

Легкий крест одиноких прогулок...

О. Мандельштам

Где наши мысли бесстрашные?
Где наши светлые сны?
Где наши грезы вчерашние?
Вихрем каким сметены?

Господу Богу помолимся,
Твердо уверуем в том,
Что устоим, что не сломимся
С самым тяжелым крестом.

1998

У любви у нашей срок —
Как у спички огонёк:
Чиркнул, вспыхнула — и нет,
И иссяк волшебный свет.
Превратился светлячок
В жалкий чёрный червячок.
Но и он ещё во мгле
Пальцы жжёт тебе и мне.

27 июля 1998

Старею, брат, старею,
Как лист на деревьях.
Все чаще руки грею
В дырявых рукавах.
И все ж взываю к Богу:
Хотя бы на версту
Продли мою дорогу
Из этой жизни в ту!

2000

Бабочка петь не умеет.
Может, умеет она,
Только от счастья немеет —
Так в этот мир влюблена.

13 февраля 2000

Не хочу, чтоб жизнь закончилась
Вдруг, однажды, просто так.
Чтобы тело жалко скорчилось,
Сдвинув с места свой тюфяк.
Написать строку бессмертную,
Целовать подругу всласть
И, пройдя по снегу первому,
Неожиданно упасть.

18 февраля 2000

Ночь темна. На небосклоне
Только месяц сирий,
Будто вновь послал вороне
Бог кусочек сыру.

21 февраля 2000

Смакуйте прелести. Толкуйте
О каждой складочке.

А мне

Венеры мраморные культы
Напоминают о войне.

20 апреля 2000

Мне в окошко стукнул голубь.
Это был не благовест.
Это был безумный голод,
Наступающий окрест.
Я ему насыпал крошек,
А потом в течение дня
Вспоминал людей хороших,
Не оставивших меня.

25 декабря 2000

Страшно в царство тишины
уходить навеки.
Стать бы деревом лесным
с птицею на ветке.
Чтобы мог подумать я,
внемя песне нежной, —
Это женщина моя,
зов из жизни прежней.

2000

Пушкин, Лермонтов, Есенин,
Блок, Ахматова, а там
Никого... В какие сени
Спрятан Осип Мандельштам?
Принимайте, чаем с солью
Угощайте —
 он ваш друг,
Хоть его судьбой и болью
Не замкнётся тесный круг.

июнь 2001

О, не касайтесь участием мнимым своим
Тех закутков, где мы горести наши храним,
Скрипка рыдает, когда ее тронут смычком,
А без него она боль переносит тайком.

2002

Мы вчера совершили ошибку:
Мы фамильную продали скрипку.
Мы ее с чердака принесли,
Весь футляр был в столетней пыли.
И лежала она, недотрога,
Как царевна под чарами сна,
Но маэстро сказал:
— Мы немного
Поколдуем, и голосом Бога
Зазвучит во вселенной она!

2002

Зачем вы так рано меня погребли?
Зачем вы меня отпустили?
Там есть только небо, но нету земли,
Хотя бы такой, как в могиле.

2002

Содержание

Предисловие. Ю. Казарин	3
-------------------------------	---

I

Хроника жизни и творчества Алексея Решетова	8
Тамара Катаева. Мы растаемся навсегда... ..	47

II

О поэте. Воспоминания об Алексее Решетове	125
---	-----

<i>Александр Сутурин.</i> «Когда отца в тридцать седьмом...» Заметки об отце поэта	125
<i>Нина Решетова-Павчинская.</i> Из воспоминаний	127
<i>Е. Воловик.</i> Соль земли. Рассказ о рабочем и поэте Алексее Решетове	132
<i>Владимир Михайлюк.</i> Тогда, в Березниках... ..	137
<i>Игорь Неверов.</i> Алексей Леонидович Решетов	151
<i>Юрий Марков.</i> Ушел... и не с кем говорить	152
<i>Надежда Гашева.</i> Собеседник сердца	156
<i>Надежда Гашева.</i> Белый лебедь нашего предместья	166
<i>Ирина Христолюбова.</i> «Я жил далеко на Урале»	172
<i>Анна Бердичевская.</i> Взгляд Блока	176
<i>Владимир Чижов.</i> Алексей Решетов и музыка	177
<i>Михаил Смородинов.</i> Материнский причал	180
<i>Нина Горланова.</i> Ты рано открыл Ли Бо... ..	188
<i>Валерий Виноградов.</i> Божий человек. Штрихи к портрету поэта	188
<i>Александр Кердан.</i> Поэт, как ветер в чистом поле... ..	202

Избранные материалы о творчестве поэта

<i>Владимир Радкевич.</i> Стихи Алексея Решетова	205
Начало поэтического творчества А. Решетова	206
<i>Николай Кушум.</i> Опасные удачи	206
<i>Юрий Белаш.</i> Открытое письмо-рецензия	210
<i>Сергей Гравин.</i> «Возьми немного света моего...» О сборнике стихов Алексея Решетова «Белый лист»	211
<i>Борис Слуцкий.</i> Алексей Решетов	213
<i>Татьяна Макарова.</i> Покорение белого листа	214
<i>Борис Марьев.</i> Время и личность поэта	218
<i>Борис Марьев.</i> Глубины и плесы	220
<i>Галина Белая.</i> Современно? Давайте подумаем... ..	221
<i>Леонид Королев.</i> «Когда строку диктует чувство...» О книге Алексея Решетова «Рябиновый сад»	222

<i>Юрий Никишов</i> . Приникая к матери-земле	224
<i>Николай Кузин</i> . «Высоким помыслам сестра». О сборнике стихов уральских поэтов «Слова любви»	234
<i>Вадим Кожин</i> . Высокая простота. О стихах уральского поэта Алексея Решетова	234
<i>Станислав Лесневский</i> . При свете совести и сказки	238
<i>Леонид Королев</i> . Яблоко, съеденное в войну. Предисловие к книге, вышедшей 13 лет назад	243
<i>Юрий Никишов</i> . Книга пишется всю жизнь. О книге «Жду осени»	246
<i>Николай Гашев</i> . Виктор Астафьев: «Я писал Ельцину насчет Алеши...»	252
<i>Дмитрий Шеваров</i> . Легкие санки. Алексей Решетов (часть 1)	253
<i>Николай Кузин</i> . «Я приникаю к матери-земле...»	257
Из писем редактора Пермского книжного издательства Савватия Гинца Алексею Решетову. 1960–1969 гг.	260

Избранные интервью с Алексеем Решетовым

<i>Дмитрий Шеваров</i> . Легкие санки. Алексей Решетов (часть 2)	268
<i>Герман Иванов</i> . Алексей Решетов: «Непослушное перо. Ненасытная бумага» ...	272
<i>Эльвира Гатауллина</i> . «...Я бы написал роман о калийщиках». В гостях у Алексея Решетова	276
<i>Владимир Киришин</i> . Божий должник. Встреча с поэтом Алексеем Решетовым ...	280

III

Избранные публикации и рецензии Алексея Решетова

«Разговор о счастье» (о книге В. Радкевича)	285
Поэт, солдат, патриот (о поэзии Иосифа Уткина)	286
Город на ладони. Первая книга о березниковской комсомолки (В. Михайлюк. «Сражение за мечту»)	288
Только детские книги читать... (о книге Ирины Христолюбовой «Загадочная личность»)	291
Откровения в час Сатаны (о книге Нины Бойко «На тот большак»)	293
Рецензия на стихи А. Манжосова (из неопубликованного)	295

Избранные стихи Алексея Решетова

«Знакомая запевочка...»	302
Дворик после войны	302
«Настали дни суровые...»	302
Михайловское	303
«Убитым хочется дышать»	303
«Все равно, в каком аду...»	304
«Я снова русской осенью дышу...»	304
«Нет, ты любовью не зови...»	304
Мама	305

«Сапожник допился до белой горячки...»	305
«Пора замаливать стихи...»	305
«Фантастический флигелек...»	306
«Будь война — ушел бы на войну...»	306
«В эту ночь я стакан за стаканом...»	306
«Родная! Опять високосная стужа...»	307
«На берегу дороги дальней...»	307
«В гостинице, в номере “люкс”...»	308
«Скоро снега седенькие лягут...»	308
«Прозрачен купол небосвода...»	308
«Опять зима, опять мороз...»	309
«От кирпичного завода...»	309
«Поздняя осень. Дожливо. Темно»	309
«Я был пацаном голопятым...»	310
«Пускай себе шумная слава...»	310
«Заколочены дачи...»	310
«Любимая, стой, не клянись...»	311
«И когда мои очи уже остывали...»	311
«Эта первая любовь!»	311
«Нежданная пирушка...»	312
«Не сказка ли это?»	312
«Собрать бы последние силы...»	312
«Любимая, что ты наделала?»	313
«Зачем, поэт, словарь толковый...»	313
«Едет собака в трамвае куда-то...»	313
«На глазах у меня умирала...»	314
«Снег лежит ещё, не тает...»	314
«Не плачьте обо мне...»	314
«Все меньше друзей остается...»	315
Оле	315
«У любви у нашей срок...»	315
«Старею, брат, старею...»	316
«Бабочка петь не умеет...»	316
«Не хочу, чтоб жизнь закончилась...»	316
«Ночь темна. На небосклоне...»	316
«Смакуйте прелести. Толкуйте...»	317
«Мне в окошко стукнул голубь...»	317
«Страшно в царство тишины...»	317
«Пушкин, Лермонтов, Есенин...»	318
«О, не касайтесь участием мнимым своим...»	318
«Мы вчера совершили ошибку...»	318
«Зачем вы так рано меня погребли?»	318

Литературно-художественное издание

Алексей Решетов. Материалы к биографии

Корректор и редактор *Н. В. Чапаева*
Дизайн *Е. А. Ширяевой*
Верстка *Л. А. Хухаревой*
Ответственная за выпуск *М. В. Дудорова*
Директор издательства *Ю. П. Пятилов*

Подписано в печать 24.06.08. Формат 70 × 100 ¹/₁₆.
Бумага офсетная. Гарнитура Times. Печать офсетная.
Уч.-изд. л. 21,5. Тираж 500 экз. Заказ

Издательство «Союз писателей»
620075, Екатеринбург, ул. Пушкина, 12

